И.М.МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ



ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ





И. М. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ



ПИСЬМА
ИЗ МОСКВЫ
В НИЖНИЙ НОВГОРОД

Издание подготовил
В. А. Кошелев



Санкт-Петербург
"Наука"
2002

ББК 83.3 (2 Рос-Рус) 1
М 91

Ответственный редактор
Б. Ф. ЕГОРОВ

ТП—2002—I—307
ISBN 5—02—028512—9

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Расставаясь со мною на берегах Волги,[1] где мы вместе ощутили столько разнообразных чувствований, сначала уничижения, трепета, потом надежды и наконец полного торжества, ты поручил мне, друг мой, описать тебе состояние, в котором я найду Москву, и сообщить заключения о *будущем* ее в рассуждении населения, отстройки и вообще состава общества. Трудную ты возложил на меня комиссию, к которой я не знаю как приступить и не ведаю с чего начать.

Приезжай сюда сам, и увидишь, что русскому с русским сердцем и душою в обращенной в пепел Москве не так легко говорить о ней, как то нам казалось издали. Здесь — посреди пустырей, заросших крапивою, где рассеянные развалины печей и труб свидетельствуют, что за год до сего стояли тут мирные кровы наших родственников и сограждан, — здесь, говорю я, ненависть к извергам-французам* объемлет сердце, и одно чувство мщения берет верх над всеми прочими.

Когда душа наполнена столь живыми ощущениями, тогда язык не в силах выразить ее движений. Итак, друг мой, довольствуйся на первый случай не тем, чего ты требовал от меня, — довольствуйся не *описанием Москвы*, а описанием безо всякого систематического порядка впечатлений,[2] которые зрелище ее на меня произвело. Москва, по мнению моему,

---

* Нынешнее слово *француз* — синонима чудовищу, извергу, варвару и проч. такого рода: следственно, избегая *плеоназма*, я впредь буду употреблять которое-нибудь из них; во всяком случае оно будет значить: *нынешний француз*. — *Соч.* (**Далее, если нет специальной пометки, все пристраничные сноски и шрифтовые выделения текста принадлежат автору, а переводы с указанием языка — в скобках — составителю. Ему же принадлежат примечания к «Письмам» на с. 231—265.** — *Ред.*).

в виде опустошения, в котором она теперь является, должна быть еще драгоценнее русскому сердцу, нежели как она была во время самого цветущего ее положения. В ней мы должны видеть величественную жертву спасения нашего и, если смею сказать, жертву очистительную. Закланная на олтаре Отечества, она истлела вся; остались одни кости, и кости сии громко гласят: «Народ Российский, народ доблестный, не унывай! Доколе пребудешь верен церкви, царю и самому себе, дотоле не превозможет тебя никакая сила. Познай сам себя и свергни с могучей выи своей ярем, поработивший тебя — исполина! — подражания пигмеям, коих все душевные силы истощились веками разврата. Познай себя! а я, подобно фениксу, воспарю из пепла своего и, веселясь о тебе, облекусь во блеск и красоту, сродные матери градов Российских, и снова вознесу главу мою до облаков!» — Так я слышу глас сей...

А ты смеешься надо мною, что с самых первых строк я ударился в декламацию; но, друг мой, вспомни о том, что мы говаривали в Нижнем. Не соглашались ли мы в том, что нельзя теперь о России ни писать, ни даже говорить слогом обыкновенным? И как тому быть иначе? В событиях нашего Отечества все чудесно: как будто читаешь Ариоста.[3] Европа вся опрокинулась на нас. Полмиллиона (со времен Дария,[4] число людей невиданное под одними знаменами) вторгается в наши пределы под предводительством разбойника, пространство земли на тысячу верст потекло кровию, огонь и меч опустошают города и села, Москва — столица! — пылает, и злодей, осклабясь на зарево ее, мечтает: *нет более России!* Нет, злодей! Есть Россия, и будет, а твоих пятьсот тысяч рабов не стало: их кости рассеяны по земле, ими опустошенной, и ты, покрытый срамом и проклятиями, бежишь, во свидетельство пред вселенною, что слава твоя — лишь смрадный дым, а Россия, как скала гранитная, непоколебима, доколе пребудет верна Богу и себе!

Истинно все чудесно у нас! Какой народ! Какие в нем силы телесные и душевные! Пространство земли нашей — семнадцать миллионов квадратных верст; народонаселение — сорок четыре миллиона, из которых сорок миллионов одним языком говорят, одним крестом крестятся!.. И думают, что есть здравый смысл у человека, вздумавшего мерить такую империю, какова наша, тем самым масштабом, который он прикладывал к Пиемонту, Виртембергу, Саксонии и проч.?

Не могу не вспомнить при сем случае презабавного признания, которое мне сделал некто Господин П...., бывший американским посланником в М.... Он звал меня к себе обедать. На вопрос мой, кто еще будет у него обедать, он отвечал: «Весь дипломатический корпус: российской и англий-

ской посланники». — «Как? — прервал я речь его, — разве вы в дипломатическом сословии признаете только посланников русского и английского?» — «Почти так, — продолжал, улыбаясь, П...., — я, американец, привык взглядом на карту судить о державах; например: на древнем материке я вижу, что почти весь север его под Россиею, и говорю: вот исполин-держава! Она то, что мы в Северной Америке. Я вижу Китай — и это держава. Англия, хотя не велика пространством, но зато владычествует на морях и повелевает в обеих Индиях, в Африке и пятой части света — вот прямо держава! Испанию* я примечаю не в Европе, а в Мексике и Перу.[5] Португалии я бы и не доискался на карте, если б она не лежала последняя на западном краю Европы и не *смотрела* на Бразилию.[6] Прочее же все у вас (говоря о европейцах) обветшало, износилось; нравственный и политический *маразм*** истощил все душевные силы и довел до такого единообразного ничтожества, что, так как у всех покрой платья один, так точно и физиогномия характера одна же: эгоизм и рабство. При таких обстоятельствах *Бонька* (Boney, — так называл он Бонапарта) вздумал основать *великую империю* свою и глотает своих робких и малодушных соседей, но и ему, наконец, подавиться. Сила Франции — судороги, а гений властелина ее — не благоразумие, а дерзость, и так

Vis consilii expers mole ruit suà!***+[7]

Ты прав, Господин П...! И что здравый твой американский рассудок предузнал, то 1812 год оправдал в полной мере. На Бородинском поле погребена мнимая непобедимость французов; в Кремле *Бонька* сложил с буйной головушки своей оскверненный им венец, а пятьсот тысяч разбойников его обрели погибель от роковой для всех врагов наших Москвы, о которой можно с Клавдианом сказать:[8]

Hanc urbem insano nullus qui Marte petivit
Laetatus violasse redit nec numina sedem
Destituent**** — —

Не правда ли, друг мой, что сии Клавдиановы слова не столько Риму приличны, как Москве? — И в самом деле, кто из врагов, разо-

---

* Это было говорено в 1805 году.

** Так называется во врачебной науке *сухотка*, т. е. крайняя сухость и увядание всего тела.

*** Т. е. Сила без благоразумия сокрушается под собственною своею тяжестию.

**** Никто из напавших на сей город безумною бранию не возвращается, радуясь, что осквернил оный. Боги не оставят обители своей.

рявших ее, мог веселиться ударами, ей нанесенными? — Татара? Они под пятою России. — Поляки? Участь их всем известна. — Французы? Им-то, кроме сбывшегося, я предвещаю годину, противу всех врагов наших ужаснейшую. Позволь мне на минуту быть пророком. Вот! Я уже стою на треножнике; власа на главе вздымаются, изменяется цвет в лице; присутствие божества теснит дух в груди моей. Deus! Ecce Deus?* — Послушай! Не пройдет целого века, и французская нация исчезнет. Политическое ее чудовищное бытие, несовместное с целостию общества человеческого, уже двадцать лет как обрекло ее уничтожению и довело все племена, все роды до такого противу нее раздражения, что погибель ее соделалась почти необходимою для общего спокойствия. Приговор: delenda Francia!** +9 во всех сердцах, если еще не у всех в устах; он исполнится, и тогда развратнейший изо всех народов представит собою ужасное позорище на театре мира. Останки его, скитающиеся по свету, будут вопить, подобно Фезею в Вергилиевом аде:

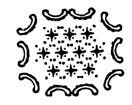
Discite justitiam moniti et non tempere Divos!*** +10

— и докажут примером своим, что без веры общество человеческое, как бы оно сильно ни было, долго существовать не может. — Жиды, хотя и без Отечества, но имеют некоторое политическое существование: религия служит узлом, связующим бродящее их общество; французам же не предстоит и подобного сему жребия.

Одно им остается — быть особливым родом цыган: старые меняют лошадей, ворожат, пляшут; новые будут делать помаду, чепчики и учить — танцовать, но не языку своему, которому честь пройдет чрез сто лет даже и у нас. — Верь пророчеству моему, и прощай!

---

* Бог! Это Бог! (*лат.*).
** Истребить Францию.
*** Научитесь (смертный!) творить правду и почитать Богов.



ПИСЬМО ВТОРОЕ

Нет, друг мой, я не в состоянии был ужиться в Москве. С утра до ночи иметь перед глазами развалины — не времени следы, но неистовства врагов наших; беспрерывно воображаю себе, что здесь они томили тяжкою работою несчастных наших сограждан, здесь оскверняли храм Божий, тут ужасными истязаниями вырывали последний кусок хлеба, последнюю надежду отчаянной матери с грудным младенцем ее, — там изнуренного болезнью и горем старца, мучили, допрашивая, где сокрыто мнимое сокровище, повсюду жгли, повсюду грабили... Нет, это такая пытка, которая ни с чем сравниться не может, и я, будучи не в силах долее сносить ее, решился выехать из города и поселился в Петровском.

Здесь я дышу свободнее; все по-старому, все на своем месте. Те же поля пред домом, тот же лесок налево, на тех же окнах ласточки свили гнезда свои: дела рук человеческих преходящи, а природа неизменна, как творец ее. Эта мысль оскорбительна для *Наполеонов-зажигателей*; им, конечно, хотелось бы и вселенную оставить по себе в развалинах; но для тех, кои только желают тихомолком перейти долину жизни, созерцание спокойной, не изменяющейся природы утешительно и отрадно.

Когда в безоблачную ночь я сижу на крыльце и любуюсь царствующей вокруг меня тишиною, с каким восхищением сравниваю я тогда спокойствие природы с мятежностию человеков! — Один Корсиканец Бонапарте удобен разрушить мир в целой половине земного шара, а в небесном пространстве несчестные миры катятся по эфирному своду, и один другому пути не препинает; движутся в безмолвии и повинуются вечным законам порядка. — Как Лаланд мог быть безбожником?[1] Я бы этому не поверил, если б сам не знал, что он точно был таков.

Когда третьего года явилась звезда, «*сыплющая с ужасных власов своих войну и мор на землю*», как говорит Мильтон,[2] — from his horrid hair shakes pestilence and war — или просто сказать, когда я в первый раз увидел комету, знаешь ли, какое странное чувство — не скажу: тревожило меня — а как-то *шевелило* мое сердце? Мысль о возможном разрушении вселенной казалась мне страшною потому, что я бы мог пережить, хотя на минуту, понятие мое о бесконечности мира и быть свидетелем начинающегося беспорядка на небе, где я привык видеть существенный порядок и почитать его вечным. — Из сего ты можешь заключить, что я не таков, как Поппе,[3] не жалуюсь на то, что после меня все пойдет так же хорошо, как и при мне шло: «что солнце так же будет ярко, так же светло небо, так же зелены луга».*

— — What if this face be seen no more
The world will pass as cheerful as before;
Bright as before the day-star will appear,
The fields as verdant and the sky as clear.**

Нет, я не таков! Напротив того, я утешаюсь мыслию, что чрез некоторое время, когда меня уже не станет, солнце будет греть и освещать поколение, противу нынешнего счастливейшее, которое не из собственного опыта, но только по преданиям будет проклинать *Наполеона—Пугачёва*.

Ты, друг мой, еще в Нижнем заметил мою меланхолию, которой прежде во мне не бывало. Это правда; она здесь усилилась, а началась с прошлого августа, как я приехал в Москву. И могло ли быть иначе! — Престольный древний град за три месяца назад вмещал 600 тысяч жителей спокойных и счастливых; я увидел вдруг его опустевшим, как после моровой язвы; видел улицы его и площади, покрытые ранеными собратьями нашими, лившими кровь свою за нас на Бородинском поле! Я видел... Нет! этого я никогда не могу вспомнить без ужаса — я видел зарево пылающей Столицы! —

Видел всю дорогу от Москвы до Владимира, усеянную гражданами, ищущими спасения в бегстве;[5] видел — с грудными младенцами, блед-

---

* Мысль эту выразил Поппе, не помню в каком-то письме, кажется, незадолго перед смертью его писанном; следующие же стихи из Элегии Уеста, Греева друга.[4]

** Когда этого лица больше не будет,
Мир будет так же весел, как и прежде.
Как прежде, взойдет яркое солнце,
Поля будут зеленеть и небо будет ясным (*англ.*).

ных матерей, в отчаянии подъемлющих к небу слезами наполненные глаза; видел на одной повозке целые семейства, вчера — богачей, сегодня — нищих, в рубищах и без пропитания; видел телеги, наполненные израненными, умирающими пленными, которые на трех или на четырех разных языках проклинали коронованного их разбойничьего атамана; повсюду видел уныние поселян, трепет жен и детей их; повсюду слышал стон, рыдание и вопль — одним словом, *нравственное зло* представилося мне в самых ужасных, отвратительных чертах его...

Всемогущий!.. Судьбы твои неисповедимы, и как могу я осмелиться их испытывать? но — ты милосерд, а я человек, творение твое, я стражду, я слаб — ты простишь мне, что я дерзнул тогда вопросить тебя: к чему зло в мире? — Сотри с лица земли тирана, проливающего с удовольствием кровь человеческую; карай богача, тебя забывшего, утопающего в неге, нечувствительного к состраданию: но бедный поселянин, коего целая жизнь труд и забота, который, кроме отдыха в усталости, другой роскоши не знает — этот чем мог прогневать тебя, долготерпящего? а я видел их целые тысячи, лишенных крова, пропитания, скрывающихся в лесах, в жилищах зверей — от подобных себе человеков, сделавшихся хуже диких зверей.

Ах! друг мой, видно, что со времен Троянской войны, о которой говорит Гораций:

Quiquid delirant redes, plectuntur Achivi* + [6]

— до нынешней поры люди все те же люди! Скажи, что за странное, непостижимое творение человек? — Разобрать его в *единстве* нет ничего совершеннее: что может быть глубокомысленнее Невтона,[7] мудрее Сократа, умнее Аристотеля, добрее Марка Аврелия,[8] великодушнее Екатерины! —

Потом рассмотри того же *человека* в *совокупности* — и выйдет совсем иное. Не говоря уже о черни, которая везде и всегда или волк, или вол, или овца, возьмём в пример таких людей, которых мы привыкли называть *лучшими*, воспитанием, дарованиями, одним словом, всем тем, что отличает человека в обществе; соберем таких сотню вместе и дадим им полную волю судить, рядить и управлять: что из того последует? Отборные люди наши сделаются хуже обыкновенных; рассудок их покорится страстям; дарование употребится во зло, и выйдет — Французское народное собрание. Странное противоречие! Человек сотворен для обще-

* Что б ни творили цари-сумасброды — страдают ахейцы (*лат.*).

ства — в этом нет сомнения, а в обществе-то он и заражается пороками, истребляющими общество.

Откуда произошла война?.. Война, скажут мне, во всей природе. — Да, между разнородными, а между подобными себе где она, кроме как у людей? Волк не давит волка; овца овцы не ест: один человек употребил все способности, приобретенные им в обществе, для того, чтобы усовершенствовать искусство истребления подобных себе человеков. В руках его война сделалась промышленностию. Тут никакая страсть не действует; итальянец, вестфалец, виртембергец приведены за несколько тысяч верст от домов своих, чтоб умереть на Бородинском поле: потому ли, что они были движимы мщением и ненавистью противу России? Ничего не бывало! — Все дело состоит в том, что Наполеон, фабрикант мертвых тел, имеющий на ежемесячный расход свой по 25 тысяч французских и союзничьих трупов, захотел сделать мануфактурный опыт и из оного узнать, сколько именно русских трупов и во сколько времени он произвести может посредством полумиллионной махины своей... Бедное человечество!

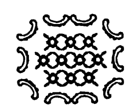
Из всех сих размышлений какие выведем мы заключения? — Одно то, что Провидению угодно было на все, принадлежащее человеку, положить явную печать необходимости в непосредственных сношениях его с Творцем — в сношениях, которые мы иначе называем *религиею*.

Сколь сей дар небесный ни изменялся, переходя от истины к заблуждениям и обратно, но цель его, от начала мира и до сих дней, одна и та же. Деизм, политеизм, исламизм — и сколько ни есть исповеданий, все они различествуют между собою по одному только наружному виду, в существе же они одно и служат к одному.

Посему-то мне кажется, напрасно говорят: *теократия была у одних евреев*, — нет! она везде, где есть правительство, а не насильство. Деспотизм, Монархия, Олигархия, Аристократия, Демократия, — назови, как хочешь, везде действующая первая пружина — Бог. Где он сообщается с людьми посредством религии, там процветают и все добродетели нравственные и гражданские: любовь к Отечеству, повиновение законам и властям; там правда в судах, мужество на поле брани, в трудах терпение, в правлении разум.

Одним словом: *Бог судия* и *бессмертие души* — тайное соглашение всех народов, основа всех религий от начала мира — вот понятия, которые служат узлом, связующим все общества человеческие. Послабнет узел, послабнут и связи общественные; расторгнется — и все станет кверху дном, как мы то видели и еще видим во Франции и по сей день.

Моя система, для меня по крайней мере, прочна и утешительна: *Галлева*, признаюсь, гораздо проще и решительнее. Если бы спросить этого черепослова-мудреца: зачем целые восемь лет кровь льется по всей Европе? Зачем полмиллиона разноплеменных воинов хлынули с запада на восток и пришли в Россию жечь, грабить и опустошать ее? Зачем древняя столица, Москва, стала жертвою пламени? Он бы на все эти вопросы отвечал наотрез: потому, что в 1769 году родился в Корсике некто Наполеон, у которого на черепе следующие приметы: желвак, как рог, на самой средине лба — знак неслыханной дерзости; на темени глубокая впадина — знак презрения и ненависти ко всему роду человеческому; у левого виска шишка — страсть видеть текущую человеческую кровь; между бровями два возвышения — знаки вероломства и... Постой, господин Галль![9] мне уже кажется, я все это вижу! — Ах! с каким удовольствием подержал бы я в руках своих Бонапартов череп!



ПИСЬМО ТРЕТИЕ

Ты упрекаешь меня, друг мой, в том, что я *слишком* сержусь, *слишком* браню французов: оно, может быть, и правда, и я готов буду признаться в *излишестве*, только с тем, чтоб ты сперва показал мне, как, в подобном случае, можно быть — *умеренным*. Слова, выражения мыслей, должны ли быть, сколько возможно, соразмерны с движением души того, который их произносит? — Буде оно так, то зачем почитать бранью, естьли я называю французов неистовцами, извергами, чудовищами? Я точно так же поступаю, когда называю розу — алою, свинец — тяжелым, перец — горьким: я говорю то, что чувствую, и вызываю все Академии в свете, даже Парижский Институт,[1] доказать мне, что я неправ. Укоряя меня в недостатке умеренности, ты, друг мой, забыл безделицу: забыл, что я живу в Москве, окружен памятниками злобы французов противу нас, где быть *умеренным* в чувствах к неистовейшим врагам нашим значит, по моему заключению, то же, что быть колодою, а не человеком. Боже упаси меня от такой *умеренности*, хотя бы она и добродетелью называлась! Но я скорее соглашусь с Дантом, который в аде своем выдумал особливой *лимб* для этаких холодных философов,[2] добрых, умеренных людей, которые могут не ненавидеть виновников гибели Отечества своего.

Не помню, кто-то умный человек сказал: «Возьми француза наудачу, перегони его в кубе, выйдет — парикмахер». — Я всегда соглашался с этою мыслию и с тех пор, как чувствую себя, презирал нынешних французов всеми силами души моей. Не говорю я о том, что они были при св⟨ятом⟩ Лудовике, о просвещении в век Лудовика XIV:[3] это для меня древняя история. С тех же пор, как я себя помню, французы представ-

лялись моим взорам то мятежными гражданами, то подлыми и низкими рабами. Сперва, в буйном исступлении самовольства, — поражающими друг друга; потом, сделавшись орудием тирана, ведущими неистовейшие войны противу всех народов, с тем, чтобы и их подвергуть тому же рабству, в котором они сами пресмыкаются. И все эти перемены произошли в течение 20 лет... Но что я говорю, 20 лет? — нескольких месяцев! Я сам был свидетелем перехода их от республики к тирании, сам был в Париже в то время, когда Корсиканец начал заносить ногу свою на трон Генриха IV[4] — видел, глазами моими, на публичных зданиях не стертые еще надписи: «Liberté ou la mort!»* — когда как горделивейшие из республиканцев начинали уже лизать Наполеону руку; когда *Мартышка-Сегюр***+[5] за щастье поставлял распоряжать этикетом нового *львиного двора*; когда знатнейшие породою барыни добивались чести служить Баррасовой наложнице;[7] когда люди*** — и это выговариваю с прискорбием — люди, которых отличала Екатерина Великая, забыв прежнее достоинство свое, ползали у ног разводной жены Леграна (Legrand), бывшей тогда еще не женою, а наложницею Талейрана.[8]

Никогда не забуду, что в то самое время, как только начинал составляться новый двор Царю-Тигру (тогда еще под званием первого консула), случалось мне повстречаться с Касти,**** с которым я был доволь-

---

* Свобода или смерть! (*франц.*).

** Сегюр, сын маршала французского, бывший посланником при нашем дворе, проповедник свободы во время республики, при Бонапарте удостоен был должности — Церемониймейстера. — Кто при этом не вспомнит забавного Касти?[6]

Tu poi creato gran-Cerimoniere.
Un grosso Bertuccion.
Si vuol, che desse guello scimiotto
Al cerimenial le leggi prime,
E avesse a certe regole ridotto
Quel mestiero scimiatico sublime,
E riposte etichette e riverenze
Nella categoria della scienze.

⟨Ты смог стать великим церемониймейстером,
Жирная обезьяна,
Нужно было, чтобы этот урод
Довел требования церемониала
До педантических правил.
Какое изысканное ремесло
Возводить церемонии и реверансы
До категории науки (*итал.*).⟩

*** Оба чужестранцы; один из них уже умер.

**** Сочинитель поэмы «Gli animali parlanti» («Говорящие животные» — *итал.*).

но коротко знаком. «Gli animali parlano!»* — сказал я ему, а он мне в ответ:

... e quante
Bestie per servir una bestia sola!**

Несколько веков разврата потребны были на то, чтобы приучить потомство Гракхов ползать у ног Тиверия;[9] во Франции это делается скорее: сего дня издается закон, которым осужден на смерть всяк, кто только осмелится предложить восстановление Монархии, а на другой день все стадо французское уже лежит у ног пришельца и присягает ему в вечном рабстве. — Каков народ? — Natio comoeda est!***[+10]

До сих пор я рассматривал нынешних французов со стороны их презрительности; теперь позволь взглянуть на них как на извергов, заслуживающих ненависть не только русского, но и каждого честного человека. Какими явились они в нашествии своем на нашу землю? Не ознаменован ли был каждый шаг их неистовством, ругательством над верою, над жертвами безоружными, беззащитными? — Но повторять здесь все то, что мы на этот щёт знаем, что слышали, что сами видели, было бы растравлять раны сердца, еще не закрытые: лучше опустить завесу и сокрыть от глаз наших сии предметы ужаса и мерзости. Дело теперь в том, чтобы решить вопрос: французы таковы по тому ли только, что они под начальством Бонапарта? — Конечно, нет! Наполеон в Италии был бы начальником *Бандитов*,[11] в Испании предводительствовал бы *Бандолерами*, сделался бы в Германии разбойничьим атаманом; в России — Пугачёвым;[12] *Гейвеманом* в Англии: в одной Франции он мог царствовать и — царствует. Раздраженное небо произвело его для французов, французов — для него.

Я на этих днях был в Донском монастыре; молился во храме, где за год пред сим безбожные враги держали лошадей своих. — «Разве не было конюшни?» — спросил я. — «Как не быть! — отвечал мне монах, — есть и очень хорошая, но французы *предпочтительно* хотели употребить церковь на стойлы лошадям». — Неужели и это Бонапартово дело? — Нет! не будем несправедливы, не станем отнимать, что следует каждому, по достоинству его. Наполеон злодей, в этом сомнения нет; а рабы его, хотя меньшего калибра, но также злодеи. Кремль взорван по по-

* «Животные заговорили!» (*итал.*).
** Сколько зверей, чтобы служить одной скотине! (*итал.*).
*** Это народ комиков (*лат.*).

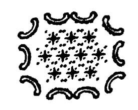
велению Бонапарта — за то сволочь его отличалась сожжением Москвы, осквернением святых храмов ее; одно и то же повторение тех же неистовств во всех пределах, куда только удалось разбойникам-французам ворваться с мечом в руках. С ним ли был Наполеон, когда, овладев Таррагонoю,[13] они забавлялись, толкая с городских стен в пропасть беззащитных, просящих пощады жителей? Не они ли, оставляя Бургос,[14] подорвали укрепления, не предостергши о том граждан, из коих несколько сотен подавлены развалинами замка? — Последний из подвигов в Гветарии[15] еще превосходнее всех вышеупомянутых: выходя из города, они оставляют зажженный фитиль, приведенный к пороховому погребу, около которого расставляют, для приманки народа, несколько бочек с вином... Вот утончение варварства и злости!.. Перо выпадает из рук моих. Ах! друг мой, и ты хочешь, чтобы я не *сердился*, т. е. чтобы я был равнодушным! Нет! ты не можешь этого хотеть: кто не ненавидит порока, тот близок к тому, чтобы не любить и добродетели!

Как в семье не без урода, так, конечно, и между французами есть честные люди; я сердечно сожалею о них, что они французы, а еще вдвое того жалею о (немногих, по щастию!) русских, которые до сих пор еще почитают французов примерами образованности и просвещения; предпочитают их литературу — нынешнюю! варварскую! — всем прочим, развращенные их нравы своим отцовским, чистым и непорочным; язык их — своему природному.

Я не могу не согласиться с теми, которые приписывают несказанное зло общему, между нами, употреблению французского языка: он отравил у нас главный источник общественного благоденствия — воспитание. Не говоря о важных последствиях сего злоупотребления, естьли только посмотреть на одну смешную его сторону, то можно сказать с Ювеналом,[16] что Юпитеру нельзя взглянуть на нас без сердца или без смеха. И вподлинну, воспитание большей части наших дворян и дворянок не заключалось ли до сих пор единственно в изучении болтать по-французски? — На это способы были для каждого состояния, так сказать, под рукою: сорванцов-французов всегда было у нас пропасть; которому не удастся расторговаться табаком или помадою, тот идет в учители; не пощастливится француженке делать шляпки, она принимается в дом — гувернанткою; и от такого рода наставников вот обыкновенно какие плоды: в 10 лет дети забыли то, что они научились русского языка от кормилиц своих, и до того, что даже Богу молиться не умеют иначе, как по французскому молитвеннику; за то, что поют *водвили*, танцуют *гавот* и, вытаращa глаза, храпят в нос тирады из французской трагедии, причем не-

жные родители их обливаются слезами радости... Обливайтесь, родимые! — Торжествуйте! вы нашли легчайший способ исполнять долг отцовский. К чему в самом деле служат школьное воспитание для мальчиков и прилежное образование девочки к будущим ее обязанностям хозяйки и матери семейства? Это все педантские бредни: ваша же цель состоит единственно в том, чтобы мальчика, как можно ранее, нарядить в офицерский мундир, а девочку, как можно скорее, вывозить на бал. — Два таковых поколения, и чего ожидать? — Того, что мы часто видим: русских не русских.

Отчего такое зло вкралось к нам? Давно ли стало укореняться? почему есть люди — умные и хорошие люди, — которые уверены в том, что нам нельзя обойтиться без французского языка? — Не это ли предубеждение причиною, что мы еще не далее на поприще словесности? — Вот вопросы, которые стоят того, чтобы решить их. Я за таковое решение не берусь, потому что оно свыше сил моих, а постараюсь вперед предложить тебе некоторые мнения мои о сих предметах, заслуживающих внимание всякого, кто любит Отечество свое. Посему-то желал бы я, чтобы занялись ими люди с дарованиями и беспристрастные, которые захотели бы рассмотреть заданные мною предложения со всех сторон и отвечать на них без *сердца* и без *брани*, в коих ты меня упрекаешь. Дай Бог, друг мой, чтобы и я имел причину сделаться на этот щёт умеренным! — До тех пор не мешай мне *сердиться*.



ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Голова моя была еще наполнена мыслями о том, что я писал к тебе, мой друг, в последнем письме моем, и я только лишь успел отправить его на почту, как в двери ко мне приятели мои Археонов и Неотин;[1] оба с детства мне друзья; умные, ученые люди, которые много читали, а того еще лучше — рассуждали о том, что читали.

— Кстати! Добро пожаловать, дорогие гости мои! — сказал я им. — Никто лучше вас не может решить задач, которые я, сейчас только, предложил одному приятелю моему; он, конечно, сделался бы и вашим, если бы вы с ним познакомились. — Тут я прочел им заключение моего к тебе письма.

«Решить такие задачи! — отвечал Археонов, — это легко сказать, а трудно сделать. Не сам ли ты говоришь, что *есть умные и хорошие люди* (это выговаривал он, глядя пристально на Неотина), *которые утверждают, что нам нельзя обходиться без французского языка*». — «Знаю, — прервал речь Неотин, — на чей счет ты это говоришь, и благодарю тебя за приобщение меня к *умным и добрым людям*: в этом сословии мне будет не скучно; с первым встречусь с тобою, и как с *добрым* всегда буду жить в ладу, хотя осмелюсь иногда и поспорить *с умным*. Впрочем, *спориться* не есть *ссориться*, и я не из чего так не познаю благости Провидения, как из того, что, основав нравственность на таких началах, о которых не может быть двух различных суждений, оно представило все прочее непостоянному решению пременяющегося вкуса. Если бы этого не было, если бы заключения наши о Расине, Фенелоне и тому подобном определялись в такой строгой точности, как аксиомы в математике, тогда бы, и с умом, оставалось только зевать в обществе».

От сего начала пошел между приятелями моими разговор живой и любопытный нащёт учебной методы в нашем воспитании; разговор, в котором Археонов утверждал, что нынешний образ учения должен быть совершенно отброшен, а Неотин — что он должен быть оставлен при некоторых только переменах. Не вмешиваясь в их речи, я был только что слушателем, и как под конец *французской язык* сделался единственным предметом их прения, то записав, слово от слова, все то, что они на этот счет сказали, я препровождаю к тебе их заключения, ничего к ним моего не примешивая, дабы ты хоть один раз похвалил меня за умеренность.

Неотин

Когда бы ты сказал, Археонов, что общее у нас употребление французского языка вредно, предосудительно, смешно, — я бы совершенно был согласен с твоими мыслями, но ты требуешь некоторым образом, чтобы французский язык был выброшен из круга нашего учения — и в этом я тебя оспориваю. — Так как можно быть истинным сыном Отечества и пить не брусничную наливку, а красное французское вино, так точно можно любить свой язык и предпочитать его чужим, не переставая зато учиться французскому, и именно для того, чтобы изящностями его литературы обогащать собственную свою. Не будем несправедливы; не станем смешивать двух разных вещей: народа и языка, которым он говорит. Первой нанес нам вред неисчислимый; кто в этом поспорит! — а второму — и это правда — мы обязаны почти всеми успехами, которые мы сделали на поприще словесности.

Кроме греков, которым небо определило быть изобретателями всего изящного в искусствах воображения, прочие все народы подражали друг другу: римляне грекам, итальянцы римлянам, испанцы итальянцам, французы тем и другим, англичане сначала наиболее итальянцам, и, наконец, немцы, явившиеся позже всех на поприще изящных письмен, могли похвалиться классическими творениями с тех только пор, как они покороче познакомились с французскою литературою. Ты согласишься со мною в этой, кажется, неоспоримой истине; итак, остается сделать один вопрос: поелику мы еще очень бедны в образцовых сочинениях и, следственно, должны искать их вне своего Отечества, то которому из всех помянутых народов должны мы преимущественно подражать? — Ответ самой простой: тому, коего литература, пред всеми прочими, изобилует примерными произведениями, а вкус в оной чище и обработаннее. — Во всех сих

отношениях, конечно, французам принадлежит пальма первенства, ибо они успели во всех родах словесности и показали путь, по которому, вслед за ними, можем и мы дойти до совершенства.

Изящнейшее, благороднейшее произведение ума человеческого — трагедия — нигде так не процветает, как во Франции, и ты, конечно, не назовешь мне никого, подобного Расину, Корнелю и Вольтеру. Мольера можно по справедливости назвать основателем истинной комедии, ибо до него, не исключая и древних, не комедия была, а игрище.

В Аристофане,[2] например, мы видим кощунство и личности, что при всем его прелестном аттическом языке не есть первое достоинство Талии. О Менандре мы не можем судить иначе, как по холодному его подражателю Теренцию,[3] в котором мы находим сплетение приключений, довольно живой разговор и чистоту слога, но ни одного настоящего комического характера.

Плаўт его повеселее;[4] но чтобы посудить о нем в сравнении с Мольером, стоит только взять характер скупого в латинском комике и сличить его с французским Арпагоном,[5] то и увидишь тотчас, на чьей стороне гений и истинно комическая сила. — Говорить ли тебе о Лафонтене неподражаемом,[6] и который сам никому не подражал — ибо апологи фригийского мудреца и подражателя его Федра[7] столько же могут почитаться подлинниками относительно к басням Лафонтена, как уродливая Кастрова трагикомедия «*Сидово молодечество*»[8] (Las moçedades d'el Cid) в рассуждении Корнелевой трагедии Сида.

Но как перечесть всех великих мастеров, прославивших век Лудовика XIV, которые, как теперь, так и навсегда, останутся законодателями вкуса? — Поэзия высокая, легкая, красноречие, слог повествовательный — во всех родах они сделались образцами: и мы тому языку, на котором они писали, перестанем учиться для того, что народ, им говорящий, сделался теперь нашим врагом непримиримым; для того, что нынешние французы не похожи на то, что они были прежде, и что они столько теперь отличаются варварством, сколько прежде знамениты были вежливостью нравов и образованностию ума! — Что нам до этого за дело! —

Народ одно, язык его другое. Пусть первой, подобно римлянам при последнем их упадке, погружается во мрак невежества и варварства, — язык его, подобно же латинскому, переживет народ, останется классическим и *должен быть таковым для нас*, поелику, случайностию ли или по выбору, но мы уже некоторым образом присвоили его себе; следственно, имея перед собою готовое руководство к усовершенствованию нашей ли-

тературы, бросить его и искать другого — нет никакой пользы. Французский язык может остаться у нас *школьным*, так, как все мертвые языки, безо всякой опасности для нравов. Взгляни на Пелопоннес: в Отечестве Ксенофана живут теперь Румелийцы;[9] мешает ли это эллинистам презирать рабов Дивана?[10]

Археонов

Очень бы мешало, друг мой, если бы нынешние греки, подобно нынешним французам, столько же были вредны, сколько презрительны, и если бы они говорили тем же самым языком, на котором писал Ксенофан, — но об этом в другое время. Исследование зла, причиненного (благодаря Бога, не России, но только так называемому у нас лучшему кругу людей) общим употреблением французского языка и французским театром, — само по себе такое обширное и богатое поле для рассуждений, что если бы я только вступил на него, то не осталось бы мне ни охоты о другом говорить, ни времени возражать на предложения твои, которые, если не ошибаюсь, заключаются в следующем: 1-е, французская литература, пред всеми прочими, изобилует образцовыми сочинениями; 2-е, вкус оной есть чистейший и самый обработанный, а поелику мы уже ознакомились с нею, то нам и незачем искать для себя другого руководства и — следственно — мы должны по-прежнему держаться одной французской литературы. — Я оспориваю оба твои предложения, и если буду прав, то заключение твое рушится само по себе.

Благоговея пред великими людьми, каковы Расин, Мольер и проч., я, однако же, во-первых, не соглашаюсь, что они между новейшими писателями заслужили пальму преимущества, и даже, признаюсь, ни в одном не нахожу того творческого гения, который один дает несомненное право на первоседалище во храме муз. —

Ересь моя так дерзка, что, может быть, и тебя испугает, не только что людей, у которых пружины языка проведены к ушам безо всякого сношения с мозгом; но перестанем, хотя на час, смотреть на вещи сквозь французские очки; сбросим с себя пелены, которыми нас с младенчества окутали наши наставники, и осмелимся, в этом одном отношении, — быть Космополитами. —

Ты первого называл Расина, и я с него же начну. Он прелестен — неоспоримо; но в чем состоит его очарование? — В искусстве подражать древним и в удивительном мастерстве владеть языком своим. Отними у

него то, что не его, что принадлежит Омеру, Софоклу, Еврипиду, Вергилию, Сенеке, и останется один прекраснейший механизм стиха, достоинство хотя и великое, но не то еще, которое требуется от гения-творца. Это насчет поэта; что же касается до хода трагедии, до связи ее, до характеров, до развязки, то в рассуждении всего этого мудрено еще сказать решительно, что *нигде трагедия так не процветает, как во Франции.* Тут дело идет не о том вкусе к изящному, который неизмеримо принадлежит вообще всем векам, всем просвещенным народам, но о том, который особенно составляется по характеру каждого народа, по нравственным его свойствам и по образу правления. Я сам, например, ничем так не восхищаюсь, как искусным представлением Расиновой трагедии, но вправе ли я от того заключить, что все непременно должны точно так чувствовать и мыслить, как я, и что напрасно предпочитают Расину — англичане Шекспира, немцы Шиллера, итальянцы Альфиери.[11]

Мое заключение, может статься, и несходно с истиною: кто уверит меня, что не действовало над ним сильное влияние привычек и предубеждений, с которыми нельзя справедливо судить о вещах? — Буде на это мне возразят, что привычки и предубеждения могут точно так же находиться и в других людях; тогда я изо всего этого выведу одно то, что насчет народного вкуса не должно никого ни винить, ни оправдывать; что всякий будет прав у себя и виноват, если вздумает судить о других по себе. Ипполит на сцене французской исторгает у нас, русских, слезы, а на Афинском театре греки бы расхохотались, если б услышали его открывающегося в любви к Арисии.[12]

Говоря о благороднейшем, изящнейшем произведении ума человеческого, о трагедии, ты, друг мой, забыл сказать о родной сестре ее, не менее благородной и изящной, — о эпической поэме. Она, конечно, есть у французов, ибо *они успели во всех родах поэзии*: назови ее. — Ты молчишь! — не смеешь и назвать уродливой рапсодии, холодной в стихах декламации, которой Вольтер хотел присвоить честь эпопеи.[13] Как же ты не постыдился сказать, *что во всех родах словесности пальма первенства принадлежит французам?* — Ты забыл — кого! — итальянцев, которым мы обязаны возрождением наук, письмен, художеств и вкуса ко всему изящному; ты забыл Данта, Ариоста, Тасса — трех исполинов, оставивших далеко позади себя всех новейших эпических поэтов, и которых нельзя сравнивать ни с кем, кроме как с учителями их — Омером и Вергилием! Положим, что творения Данта и Ариоста нейдут в число эпических поэм по точному определению имени сего — но что же ты скажешь о «Освобожденном Иерусалиме»?

Не согласишься ли, что Тассо единственный поэт, который может стоять рядом с древними творцами эпопеи, и что поэма его, в рассуждении плана ее и хода, равняется с «Илиадою», по характерам же героев превосходит «Энеиду». — Нельзя, конечно, не согласиться в том, что бóльшую часть характеров Тассо занял от Омера и что во многих местах не только подражание, но даже перевод Вергилия: но кто же не подражал отцу эпической поэзии и преемнику славы его в Риме? — Что же иное делал Расин? Не переводил ли он целых стихов из «Энеиды»? — Сожалею о тебе, мой друг, если, поверя Буало, и ты видишь в «Освобожденном Иерусалиме» одну только мишуру;[14] я нахожу в нем такое чистое золото, которому подобного нет и в самом Расине твоем.

О Мольере также не соглашаюсь с тобою, чтобы должно почитать его настоящим основателем истинной комедии; очистителем ее от кощунства — это правда, но и этого много. Что же касается до характеров, хода комедии и развязки, то он занял их отчасти у древних, отчасти у испанского театра. Кальдерон и Лопе де Вега были во многом его учителями; их действующие лица в руках Мольера приноровились к Парижским обычаям, перерядились во французское платье и сделались для французов оригинальными; нам же, русским, предпочтительно нравятся потому, что и мы приноровились к Парижским обычаям и перерядились во французское платье.

Если комедия есть живое в лицах представление господствующих нравов, то каждый народ должен иметь свою комедию, по той же самой причине, что каждой народ имеет свои собственные нравы и обычаи: Ифланд[15] на театре своем представляет немцов, Шеридан[16] англичан, а мы — *французов*; потому что мы по обычаям французы, и с такими французскими, т. е. нелепыми предрассудками, что не стыдимся называть пороком того, что составляет одно из главных достоинств в немцах и англичанах, что они не обезьяны, как мы.

То, что ты сказал нащёт Лафонтена, всего основательнее: он неподражаем. Однако же и он подражал: в рассказе его видны простота Федра, умышленное простодушие Боккачья, и если взять Ариоста и прочесть несколько вступлений к песням поэмы его,[17] то можно тотчас догадаться, что *манеру* его учился французский фабулист.

Будь же теперь справедлив и согласись, во-первых, что французы не во всех родах словесности успели: у них нет ни поэмы, ни истории, ни *живописной поэзии* (Poësie descriptive), ни пастушеской, ни даже романа своего; во-вторых, что если они могут гордиться своими Расином, Кор-

нелем, Буало, Мольером, а особливо Лафонтеном, которому много было до сих пор последователей, а соперника еще не нашлось, — зато другие народы имеют право хвалиться такими высокими умами, каковым нет подобных во Франции.

Не повторяя об итальянцах, — испанцы скажут: у нас Сервантес; англичане, и не упоминая о Шекспире, Мильтоне, Драйдене, Томсоне, выставят ряд историков, таковых, как Юм, Фергюсон, Робертсон;[18] немцы укажут на Виланда, Лессинга, Гете, Шиллера;[19] а мы, разве, не вправе гордиться нашим Державиным, которого природа одарила гением удивительным, а случайность предохранила в воспитании от робкого, изнеженного вкуса французов?

— Так точно, друг мой, я смело утверждаю, что Державин много обязан незнанию французского языка: опутанный цветками, подделанными из атласа и тафты, не размахнулся бы никогда наш богатырь!

Я осмелился сказать: *робкой, изнеженной вкус*, — и к этой смелости прибавлю еще дерзость: утверждать сказанное. — Все художества основаны на подражании природе: очарование их состоит в верности сего подражания, и тот художник наиболее выполнит необходимое условие, который, избрав предмет, будет уметь представить его взорам нашим в изящнейшем его виде, т. е. придав ему те украшения, которые сродны ему и естественны. Это французы называют embellir la nature, *украшать природу*: явная бессмыслица! ибо украшать природу невозможно; напротив того, лишним тщанием давать не сродные ей прикрасы значит портить ее; то, что французы же в художествах называют genre manièré,* а я — изнеженным, жеманным вкусом.

Что французы в живописи, скульптуре, музыке заражены сим несчастным и противуположным изящному вкусом, в этом спору нет, и сами беспристрастные французы давно в том уже признались. Где требуются глаза да уши, там более найдется судей, и самый поверхностный знаток в художествах не будет долго колебаться между «Преображением» Рафаэля и «Сабинками» Давида,[20] между Альбаном и Буше;[21] между памятниками Маршала Саксонского и Папы Реццоника; или между операми Монсиньи и Паизелла.[22]

Для того, чтобы сравнивать все эти предметы между собою, нет нужды знать ни по-французски, ни по-итальянски; довольно иметь неиспорченный вкус и верные глаз и ухо, но когда дело дойдет до суждения о разных литературах, то сам скажи, можно ли быть судьею в них и не

---

* манерность (*франц.*).

знать тех языков, коих произведения рассматриваются как предметы сравнения? — Невозможно, как бы они хороши ни были.

Спроси Воронихина,[23] постиг ли бы он величие храма Св. Петра в Риме по одним рисункам и моделям его; спроси Егорова,[24] познал ли бы он Рафаэля из Джиордановых списков? — Так точно и в общей литературе: хочешь ли иметь основательное понятие о свойствах, преимуществах и недостатках народов, наиболее в письменах отличившихся, — сперва учись их языкам; прочитай Данта на итальянском, Сервантеса на испанском, Шекспира на английском, Шиллера на немецком — тогда ты приобретешь некоторое право произносить над ними приговор, и тогда, конечно, ты не скажешь, подобно тому, что я читал в одном из наших журналов: «*Долго ли немцам быть педантами?*» — Долго ли нам быть невежами и бранить то, чего мы не разумеем! — Мы привыкли ко всему прикладывать французской масштаб и, что нейдет к нему в меру, отбрасывать как недостойное сравнения: таким образом и Шиллер провинился пред нами, и именно в том, что он не наблюдал необходимой (для нас только) благопристойности представить героев своих в виде французских маркизов.

Я так за это его не виню, и обращаюсь к тому, с чего начал, скажу, что вкус изнеженности у французов господствует везде, даже и в лучших их писателях. Не говоря о других, довольно сказать, что и Расин не избавился от заразы: Пирр в «Андромахе» его, Ахиллес в «Ифигении», Ипполит в «Федре», Нерон в «Британике», — не те идеалы, которые мы воображаем по начертаниям в Омере, Вергилии, Еврипиде и Таците.[25]

Они чрезвычайно хороши у Расина; можно сказать, прелестны, но все-таки из-под паллии или тоги выказываются у них французские красные каблучки. Когда же Расин, великой Расин, не ушел от упрека в *изнеженности*, то что же останется сказать о других: ума много, а изящной природы во всей очаровательной ее простоте — нет ни в одном. Везде натяжка; нигде нет цветов, которые мы видим в природе: наблюдатель строгой тотчас догадается, что картина простой сельской жизни писалась в парижском будуаре, а Феокритовы пастухи срисованы в опере с танцовщиков.[26]

И быть иначе не может! Французы осуждены писать в одном Париже; вне столицы им не дозволяется иметь ни вкуса, ни дарований; то как же им познакомиться с природою, которой ничего нет противуположнее, как большие города! — Напротив того, в немецкой земле писатели редко живут в столицах; большая часть их рассеяна по маленьким горо-

дам, а некоторые из них целую жизнь свою провели в деревнях: зато они знакомее с природою, и зато между тем, как Фосс начертал прелестную «*Луизу*» свою в Эйтине,[27] подражатель приторного Флориана[28] в Париже, смотря в окно на грязную улицу, описывает испещренные цветами Андалузские луга или пышно рисует цепь Пиренейских гор — глядя с чердака на Монмартр.

Вот тебе, друг мой, и возражение мое на твои заключения, и исповедь моя насчет французской литературы. — Мысли мои о ней не с прошлого года, а были таковы и до нашествия злодеев; следственно, политическая вражда никакого влияния над ними не имеет. Очень знаю, что новость моего заключения восстановит против меня тысячу земляков моих, которые ничего другого не читали, кроме французского, ничему другому не учились, как только по-французски: я противу них не употребляю никаких доводов; они были бы бесполезны, а осмелюсь только сделать одно сравнение, которое — признаюсь — хотя и взято из самого низкого рода жизни, но здесь так идет кстати, что не могу утерпеть, чтоб не сказать о нем.

Когда в малороссийском шинке прохожий козак напьется допьяна, то жид-шинкарь, чтоб заставить гостя своего заплатить вдвое против того, что он выпил, употребляет обыкновенно следующую хитрость: он ставит у изголовья усталого и пьяного козака мальчика, сына своего, который беспрерывно над ухом засыпающего напевает: *полтина! полтина!* — и до того твердит *полтина!* — что козак и во сне слышит ее, и, проснувшись, чувствует, что она еще жужжит в ушах его. Он сбирается в путь, спрашивает, сколько должен; ответ шинкаря, разумеется, *полтина*; и так, хотя козак уверен в душе своей, что не мог на столько выпить, но жиденок до того накричал ему голову *полтиною*, что, не веря собственному своему убеждению, он платит полтину вместо четверти рубля.

Государи мои! — простите меня великодушно за неучтивое сравнение мое, но признайтесь сами чистосердечно: не похожи ли вы на козака, а не узнаете ли вы в жиденке наставников ваших, которые вместо *полтины* так накричали вам уши *французами*, что вам, и проснувшись от сна младенчества, все слышится еще одно и то же: *французы* да *французы*!

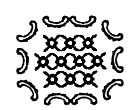
Дабы искоренить такое зло, надобно с того начать, чтобы переменить учебную нашу методу. Учиться новейшим языкам не только можно, да и похвально; но французскому оставаться у нас классическим, так, как он был до сих пор, — это значит то же, что убивать наши природные

способности, и доколе это продолжится, мы будем оставаться в сущем младенчестве на поприще учения. Ни одна из новейших литератур не усовершенствовалась, как ты утверждаешь, от подражания новейшим же: все они, без изъятия, почерпнули красоты свои в единственном и неиссякаемом источнике всего изящного — у греков и римлян. Для того и нам давно бы пора приняться за настоящее дело, и потому я смело скажу и всегда говорить буду, что пока мы не будем учиться, т. е. посвящать все время первого возраста, от 7 до 15 лет, на изучение греческого или по крайней мере латинского языка, вместе с русским, основательно, эстетически — до тех пор мы, большая часть толпы, будем не говорить, а болтать, не писать, а лишь марать бумагу.

Этими словами кончился разговор, а я себе на уме: и я грешный бумагу мараю. — Что же делать? Не я первый, не я последний:

Scribimus indocti doctique poemata pássim* + 29

* Мы, и ученые, и неученые, походя, сочиняем (*лат.*).



ПИСЬМО ПЯТОЕ

Разговор, который я тебе, друг мой, сообщил в последнем письме, возбудил в уме моем множество размышлений насчет учебного в Отечестве нашем воспитания. Слова Археонова: «*Доколе мы не будем учиться так, как везде учатся*», — наиболее привлекли мое внимание и заставили и меня рассуждать о причинах, по которым *мы не учимся так, как везде учатся.* — Поговорим и мы с тобою о том же; посмотрим, в чем состоит метода учения в других землях, а чтобы лучше, и, как бы сказать, одним взглядом увидеть разность, то сделаем сравнительную картину воспитания английского и нашего домашнего. Я возьму для этого двух мальчиков, уроженцев Петербурга и Лондона,[1] и буду следовать за ними от семилетнего их возраста по самое окончание воспитания. Вот какая представляется взорам моим картина.

Мальчик-англичанин в 7 лет отдается в школу, в Вестминстер или Итон[2] (Westminster-School, Eaton-College), где до 10 лет он учится, сперва только читать и писать по-гречески, по-латине и по-английски; потом грамматике трех языков, и когда проходит синтаксис, то начинает уже упражняться в легоньких, по летам его, сочинениях; читая же авторов, для низших классов определенных, разбирает их аналитически — и чрез то делает первый шаг к логике. — Гимнастические упражнения его: мяч, волчок, жмурки и подобные тому детские игры с сверстниками.

У нас к семилетнему мальчику приставляется француз-наставник, которому, вместе с питомцом его, отводятся покои как можно далее от родительских, с тем, чтобы мальчик поскорее отстал от отца и матери и прилепился всеми привычками к тому, который за 2000 руб. на год под-

рядился поставить в 8 лет совершенного француза. Два первые года мальчик исключительно учится болтать по-французски и забывать то, что знал своего языка. Главное попечение наставника состоит в том, чтобы ученик его правильно *ѓнусил*, выговаривая *n* в нос (*l'n nazale*)* — например: *mon dindon*** — и когда он в этом успевает, то заставляет его выучивать наизусть некоторые басни Лафонтена, и к тому еще обыкновенно Тераменов рассказ из «Федры». Эти первые успехи, как то легко себе представить можно, восхитительны для родителей, и первый опыт — настоящее семейственное торжество. Француз с важностию вводит в гостиную питомца своего, ставит его посреди кружка сродников и знакомых; мальчик нахмурит рожицу, выпучит глазенки, ножку выставит вперед, протянет ручонку, вздохнет и начнет: A peine nous sortions des portes de Trézène***[+3]

Громкие восклицания слушателей сопровождают каждый почти стих: C'est admirable! point d'accent! pas le moindre accent *étranger!*****

И надобно тут заметить, что слово *étranger* глубоко впечатлевается в уме малютки, которому с тех же пор представляется *чуждым* все то, что *не чисто по-французски* — первый шаг к выполнению условия наставника с родителями. — Гимнастические упражнения состоят в бильбоке, в игре волана с учителем; да к тому три раза в неделю танцмейстер начинает его образовывать, т. е. заставляет его ходить на цыпочках и приседать, выворачивая врозь колени.

Английской мальчик, с 10 до 13 лет, продолжает вышесказанное учение; но по мере успехов его в механизме языков он начинает уже вкушать плоды прилежания своего: знакомится с Омером, Плутархом, Овидием, Вергилием, Горацием, Цицероном, Титом Ливием и классическими писателями земли своей; толкует их, разбирает, переводит. Под руководством искусных профессоров здравая критика научает его судить о предметах искусства, сравнивая их между собою, а эстетический разбор образует вкус его, дает обильную пищу воображению и вперяет в него, с самых юных лет, привычку любить *изящность* и пленяться одною ею. В это же трехлетие начинает он заниматься отечественными историею и географиею и первыми основаниями математики. — Гимнастика вся та же; разве одно прибавляется к ней — плавание в Темзе.

---

* «N» носовое (*франц.*).

** Мой дурачок (*франц.*).

*** Едва мы вышли из ворот Трезена (*франц.*).

**** Это восхитительно! Никакого акцента! Ни малейшего иностранного акцента! (*франц.*).

Российский мальчик, зная уже то, чему мог выучиться от наставника своего, — чисто выговаривать по-французски, от 10 до 13 лет начинает раздавать билеты учителям, которые ходят к нему по часам преподавать мифологию, хронологию, математику, географию, историю и проч. и проч., да к тому, если француз его аббат, то он с ним читает и толкует французский катехизис. Когда случится, что наставник человек весьма ученый, то ученик, сверх всего упомянутого, занимается еще выписками из писем г-жи Севинье[4] и из Вольтерова «Siècle de Louis XIV»,*[5] — упражнение для русского чрезвычайно полезное, ибо оно знакомит его с изящнейшими умами и любезнейшими людьми века, прославившего Францию. Ко всему этому присовокупляется музыка, да к телесным упражнениям, сверх танцов, фехтованье. — Под конец этого периода редкой мальчик находит еще удовольствие в детских забавах; он почти образован: танцует *королевин менуэт* и *гавот*[6] — следственно может уже *играть свою маленькую ролю в свете*, и для того начинают вывозить его в театр, где развивают вкус его к изящному, и на балы, где он учится великой науке обхождения с людьми в свете: т. е. на балах.

Англичанин от 13 до 15 лет довершает в школе начальное, приуготовительное учение свое: риторика занимает его в стихотворстве и в красноречии. Весна жизни! прекрасные лета! когда прелестнейший дар природы, воображение, столь живо и столь опасно! — В них отрок, счастливо одаренный, искусно управляемый, обогащает память свою предметами, которые сверх того, что питают душу, располагают сердце к добру и украшают разум, — но еще и навсегда утверждают в них *вкус к изящному*, вкус, с которым человек никогда не способен предаваться страстям, отягчающим душу, отклоняющим сердце от добра и помрачающим разум. — Почему знать! может быть, выйдет из него Томсон или Гре,[7] а если готовится в нем будущий Веллингтон,[8] так и тому не мешает знакомство с музами, точно так, как не мешало младшему Сципиону восхищаться стихами Омера.[9]

Что же касается до *красноречия*, то в Англии оно необходимо нужно каждому, воспитанием образованному человеку. В каком бы то состоянии ни было, уметь владеть словом для того, чтобы убеждать в истине, утверждать в добродетели, отвращать от порока, защищать невинность, есть первое преимущество человека и первый долг гражданина; а поелику англичанин готовится быть человеком и гражданином *англий-*

---

* «Век Людовика XIV» (*франц.*).

ским, а не другим каким, то и неудивительно, что его учат всему тому, что ведет к предположенной цели.

Сверх того, история и география всеобщие и геометрия занимают последние годы пребывания его в школе, не столько еще как науки сами по себе, но как приуготовления к наукам. — Жизнь его и забавы все те же, что были в первом возрасте, а что всего лучше, не успели еще наскучить ему.

Русской от 13 до 15 лет оканчивает учение свое. — Ежедневно, как говорится, *берет уроки* от дюжины разных учителей и спешит как можно скорее выучиться: алгебре, геометрии, тригонометрии, артиллерии, фортификации, тактике; языкам: английскому, итальянскому, немецкому — только что не русскому; танцовать, фехтовать, рисовать, ездить верхом, играть на клавикордах, на скрипке и петь. Это все непременно входит в план так называемого *знатного воспитания*. Понял ли что мальчик в столь быстром и крутом учении — об этом не для чего спрашивать. 15 лет минуло? — Он должен быть образован, и пора идти в службу. Годен ли он в нее или нет — это опять вопрос посторонний, а одно, в чем нет ни малейшего сомнения, есть то, что француз-наставник выполнил во всей точности условие свое, следственно, ни от него, ни от ученика его нечего и требовать более. — Явное преимущество наше пред всеми в том, что мальчик у нас в 15 лет не мальчик, а уже настоящий *человек*.

Правду сказать, не зрел еще ни телом, ни умом; но ничто не мешает ему дозреть и после: в службе, как говорят, он натрется, а в обществе доучится. О образе жизни его в этом последнем периоде воспитания нечего и сказать отменного: все забавы общества ему позволены, и жаль одного только, что он начинает уже чувствовать в них пресыщение; может быть, оттого, что раненько начал пользоваться ими.

Англичанин в 15 лет оставляет школу и отправляется в Оксфорд,[10] где под присмотром и руководством какого-нибудь профессора ходит на лекции в университет. До сих пор учение его было некоторым образом одно приуготовление к настоящему учению: память и воображение были способности души его, которые наиболее призывали к себе попечение учителей в школе.

Теперь открывается поприще обширнейшее: рассудок юноши образуется, и он становится способным избрать, по склонностям, учение, необходимое к тому роду жизни, к которому он увлекается врожденными дарованиями. Из рассадника перенесенный в вертоград учености, он в первый год испытывает силы свои, способности и склонности и, узнав

единожды, к чему они наиболее стремятся, прилепляется преимущественно к одной части, не оставляя, однакоже, и прочих, ибо известно ему, что в круге познаний человеческих нет ни одного, которое бы не приносило пользы и не содействовало к общей цели просвещения.

Таким образом готовящийся защищать в Парламенте права народные предпочтительно учится отечественным истории и статистике, науке законодательства, и ежедневным упражнением подкрепляет себя в искусстве слова, столь необходимом для того, который некогда должен будет говорить, не приготовляясь, перед собранием, умеющим ценить усердие гражданина и дарование оратора. — Стремящийся идти по следам Нельсона[11] или Веллингтона обогащает понятие свое всеми знаниями, принадлежащими мореходцу и полководцу. Естественные и физические науки дают пособие свое тому, который посвящает себя искусству помогать страждущему человечеству — и так далее.

Четыре или 5 лет проходят в университетском учении, и англичанин не прежде как в 20 лет, или около того, оставляет святилище муз, где образовался для того, чтобы, став на ряду с гражданами, иметь право сказать Отечеству: «Я готов служить тебе; употребляй меня; и *вот та часть*, в которой я наиболее надеюсь быть тебе полезным».

Русской в 15 лет нередко оставляет и родительский дом: он уже в настоящей военной службе, и караульня довершает то, что недоставало к домашнему воспитанию: прощай навсегда не только ученость, но даже и охота к учению! Впрочем, на что было ему и трудиться по пустякам. Хвала французу, образователю его: он все знает и ничему не учась.

Природою привилегированное сотворение, мы — так рассуждает он — дворяне родились с такими способностями, с которыми, не ломая головы над книгами, всегда и на все готовы. Сегодня я предводительствую полком; а завтра — стоит мне только переменить кафтан — и я буду управлять гражданскими делами целой области. Сидеть ли за красным столом и подписывать определения, от которых зависит судьба, жизнь и честь сограждан моих, или *легкою ногою измерять зыблющиеся стези дворов* — я на все чувствую себя способным, и жаль одного: что не открыто нам поприще служения у олтаря; я бы тогда и с Филаретом поспорил в пальме духовного витийства.[12]

Сведем теперь вместе обоих 18-ти-летних, английского мальчика и русского совершенного мужа. — Первого я подхва́тил в Оксфорде и — волшебство ничего не стоит — перенес его мгновенно в Петербургскую гостиную комнату. Он в черной ряске, с четвероугольной бархатной шапочкой на голове: точно в том уборе, в котором сбирался идти на лек-

2 Зак. № 3250

цию. — Наш вытянут как стрелка, одет как куколка. Он сбирается на бал, где ожидает видеть отборнейшее общество, и для того нарядился в рейтузы, сапоги и шпоры.

У англичанина во все щеки краска: цвет молодости и здоровья. Нежный пушок, предвестник мужества, едва начинает проседать на усах, и рот его так свеж, так чист, как должен быть в его лета, когда неумеренность еще не отравляет источника жизни.

У русского цвет лица немного позавял, и причина тому, что он *живет* уже, между тем, как другой только что приуготовляется жить. На щеках его нет пушка: он выскоблил его, дабы принудить медленную природу преждевременно наградить его если не полною бородою, так по крайней мере бакенбартами и усами, без которых ему обойтиться никак нельзя. Рот его не чист и не свеж — и это от табаку, которым он с утра до ночи коптит себе зубы.

У англичанина можно заметить в глазах привычку к размышлению; в чертах лица его — стыдливость; в речах — скромность, и вообще в обхождении — застенчивость, сродную юноше, который, занимаясь книгами, не успел еще научиться обращению с людьми в обществе.

В этом преимущество неоспоримо на стороне нашего земляка: в глазах его блистает веселая рассеянность мыслей; в чертах лица стыдливость та единственно, чтобы не подумали, что он может еще чего-нибудь стыдиться. В речах дерзость, плод самонадеяния, и вообще в обхождении — та ловкая смелость, которой нельзя приобресть за книгами.

Наши юноши друг друга не понимают: русской англичанину кажется странным; англичанин русскому — смешным. Распустим их; пусть каждый стремится к предмету своих желаний: Оксфордский ученик на урок в университет, а земляк наш — на бал. — Идите, юноши, — Бог с вами! — идите путем, вам определенным! — А ты, соотчич мой! друг мой! не пеняй на меня; не думай, чтобы склонность к сатире внушила мне сравнение, для тебя не лестное; не думай, чтобы я предпочел тебе иноземца: люблю Отечество более всего на свете, и ты, кто бы ты ни был, — русской, брат мой, и потому близок к сердцу моему. Ах! и ты узнаешь цель мою, но поздно! На средине поприща жизни, когда чад молодости пройдет и опытность откроет глаза тебе, ты вспомнишь слова мои и скажешь, вздохнув: он правду говорил! —

Так, друг мой, сердце мое обливается кровью, когда я помышляю, сколько гениев у нас увядает при самом развитии цвета разума и не принеся никакого плода Отечеству! Сколько людей, одаренных способностями, осуждается жить для того только, чтобы бременить собою землю!..

И все это оттого только, что мы, по странному заблуждению, не следуем в воспитании путем, проложенным опытностию веков, по которому все просвещенные народы шли и будут идти, доколе станут предпочитать учение невежеству и истинное просвещение наружному блеску, который, подобно потешным огням, сверкнет, исчезнет — и все вокруг себя оставит по-прежнему в густом мраке.

Что за диковина! — Народ, наделенный драгоценнейшими дарами природы, наиспособнейший ко всем успехам ума, с сильною душою, с пылким воображением — добровольно ослепляется, отвергая дары природы и пособия Отечества. Скажем с признательностию: чего не делало правительство? Каких пожертвований жалело оно для того, чтобы повести нас путем истинного просвещения!

Все старания его до сих пор оставались тщетными. Отец Отечества, при первом воззрении на землю благодатную,[13] Провидением правлению его вверенную, увидел недостатки в народном воспитании — и исправление сих недостатков было одним из первых подвигов его царствования. Московский университет украшается новыми преимуществами. Новые университеты возникают в Харькове, в Казани, в Дерпте, в Вильне.[14] Гимназии и разные училища по всем губерниям учреждаются как рассадники, в которых бы юношество готовилось быть способным слушать университетские уроки.*

Что же из этого выходит? Чадолюбивый государь, помышляющий единственно о благе всех и каждого из подданных своих, чрез несколько лет принужденным находится объявить пред лицом Отечества, что он с прискорбием и негодованием видит, что отеческие его старания остаются бесплодными, что дары его не ценятся.

Вникая в причины нерадения, он усматривает, что *чины* — единственная цель, в которую метят родители, к которой стремятся юноши, — и по всей справедливости повелевает, чтобы *чины* служили наградою в успехах ума, предполагая, что самолюбие сделается тогда побудительною причиною к прилежанию в науках... —

Насчет учебных заведений мне случалось слышать пренелепые толки; иные говорят: *наши университеты еще во младенчестве.* — В каком смысле? — Если в том, что не успели еще прославиться, восприяв начало бытия своего лет с десяти тому назад? Так! это правда; но что тут общего между славою университета, которой он не успел приобресть

* Самые даже пансионы получают лучшее и сообразнейшее с правилами просвещения народного устройство законом, чтоб содержатели их знали русской язык и чтоб на оном преподавались в них все науки.

и никогда не приобретет, доколе не будут в нем учиться, — и основательным учением, которое в нем теперь уже преподается?

Сколь ни молоды эти университеты, но не лучше ли они наемников-французов, которые по большей части и собственного своего языка не знают? — Другие и того еще бессмысленнее судят, ибо они предполагают явное противоречие в намерениях правительства. — «Военная служба, — говорят они, — в России первый долг, к которому Отечество призывает дворянина; из сего следует, что юноше нельзя довольно рано вступить в нее, как для того, чтобы успеть скоро в оной отличиться, так и для того, чтобы заранее укрепить физические силы свои и сделаться чрез то способным к трудному ремеслу защитников государства». — Противоречие и бессмыслица!

Во-первых, правительство требует от дворянина познаний, необходимых к званию, которое он себе избирает, вследствие чего есть повеление и в офицерские чины не производить иначе, как с одобрения учебных мест. — Не из сего ли вы заключаете, что сыновья ваши должны быть совершенно образованы в 15 лет, что в такие нежные лета они могут быть угодными Отечеству слугами?

Нет, государи мои! Отечество требует от вас зрелых плодов, а вы, не внемля гласу его, торопитесь и как будто спешите с рук сживать детей, принося обыкновенное ваше в таком случае оправдание: *ныне дети все таковы — горят нетерпением служить и удержать их невозможно*. Рвение их прекрасно! но ваш долг уметь оное обуздывать до настоящей поры.

Дети всегда будут дети, всегда будут предпочитать барабан и мундир учению; всегда будут избирать и желать не того, что должно. Вам должно за них избирать и желать; вам оправдывать ожидания Отечества. Оно ожидает способного слуги: дайте же ему время образоваться; и старайтесь, чтобы он успехами заслужил одобрение. Тогда не в 15 лет — и в этом нет никакой потери — вы представите сына с убеждением, что долг родителя исполнен; и тогда пусть юноша идет проливать кровь свою; она не бесполезно потечет за Отечество: он будет знать, чем ему обязан. —

Отпускать мальчика в 15 лет на службу для того, чтобы заранее укрепить физические его силы! — Это все равно, что сказать: дабы ускорить созрение плода, должно не давать ему времени созреть — бессмыслица! — Но положим, что оно так; положим, по вашему мнению, что Отечеству нужны богатыри, во что бы они ни стали и что оно не жалеет о потере девятерых сыновей своих, лишь бы из десяти один, вынеся

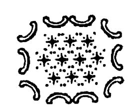
трудный опыт, вышел из оного с телом, крепким, как закаленное железо; я все еще спрошу: что нужнее Отечеству, богатырь ли телом или богатырь душою? — Если первой нужнее, то нет нам надобности не только в университетах, но даже и в наемниках-французах: купать нас всех в крещенские морозы в прорубах, как Ахиллеса окунула матушка его в Стиксе,[15] и кто выдержит, тот и слуга Отечеству.

Буде же душа берет преимущество над телом и образование ее сил есть первый предмет родительского попечения в воспитании детей, в таком случае пора нам, и давно пора, образумиться и перестать воображать себе, что, научив мальчика болтать, как попугая, по-французски и нарядив его в 15 лет в мундир, мы исполнили все обязанности, которые возложили на нас Бог, природа и Отечество.

Meliora pii docuêre parentes!*

---

* Лучше родителей наставляют праведники (*итал.*).



ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Noch keine Nation in der Welt ist der Barbarey durch Mathematik entrissen worden,* — так пишет, не помню где-то, Шлецер,[1] и в этом изречении его заключается великая истина. Все народы, преходившие от невежества к просвещению, сперва знакомились с Омером и Вергилием, а потом уже с Эвклидом: так требует ход ума человеческого; ибо жизнь политическая народов, подобно человеку, имеет свои возрасты младенчества, юношества, зрелых лет и старости. Следственно: как изящные искусства наиболее приличны юношеству, когда воображение пылче и память свежее, так точно народам, возникающим к просвещению, должно начинать образование свое изящными искусствами, а не математикою. Примеры всех веков, всех народов делают истину сию неоспоримою: мы, с недавних пор, захотели переменить порядок вещей; не знаю, однако же, удастся ли нам, — природа не терпит прекословия.

Я это говорю, мой друг, насчет одного предубеждения, которое, по наблюдениям моим, лет с шесть тому назад как довольно сильно начинает уже вкореняться в *домашнем* нашем воспитании, — именно: исключительное предпочтение математики всем прочим наукам. *Математика!* — кричат во все горло те, которые, кроме математики, ничему не учились, — и *Математика!* — повторяет за ними толпа людей, которые и математики не знают, — *вот единственная наука, достойная человека! все прочее вздор!* — Конечно, крик сей не заглушит людей, имеющих основательное мнение о познаниях вообще; но, по несчастию, я замечаю, что он очень удобен сбивать с толку

---

* Т. е. ни одна нация не исторгнута из варварства математикою.

тех, которые или худо учились, или от природы с головами, коих понятия не весьма ясны. Я встречался уже не с одним отцом, который положил себе за правило ничему другому не учить детей, как только математике, и также случалось уже мне видеть и молодчиков, которым математика единственно служит епанчою, прикрывающею грубое их невежество во всем прочем.

Никто, конечно, не будет оспоривать пользу науки, соделывающей ум человеческий способным быстро замечать отношения величин и чисел: на все, однако же, есть время, всему есть место:[2] est modus in rebus.* Первые годы отрочества принадлежат исключительно памяти, воображению, а не холодному умствованию о истинах отвлеченных: зачем же мучить несчастного 12-ти летнего мальчика над a + b и принуждать его потеть, выкладывая Невтонов бином?[3] —

Признаюсь, я не могу смотреть на такого труженика без крайнего о нем сожаления: мне все кажется, что он или с ума сойдет, или ничего не поймет, следственно, потеряет время понапрасну, или выйдет из него такое странное метафизическое существо, которое и в нравственных отношениях будет всегда искать алгебраических уравнений. Этот последний род людей всех опаснее и всех несчастливее. Горе нам, если много таковых у нас расплодится!

Лучше оставаться при всех заблуждениях воображения, лишь бы они не были вредны, нежели толковать движения сердца человеческого по законам гидравлики и отвергать все то, что не может быть подвержено строгому доказательству математической методы. — И есть люди, которые в этом только видят *истину!*

Боже! упаси меня и племя мое от таковой *истины*, буде можно назвать истиною не науку (в таком смысле математика не есть наука), а одну лишь методу умствования в отвлеченных понятиях о величинах. В живых мертвый, я бы видел во всей природе одно грубое вещество и не сознавал бы в себе *нравственного чувства*, этого внутреннего сокровища, принадлежности духовного моего бытия, которое *видит* и ощущает прелесть мира сего и познает *истину, неразлучную с добродетелью и красотою*.

Знаешь ли, друг мой, мне кажется, что мы во всех заблуждениях наших обязаны одним французам: не говорю я теперь насчет выписных наставников наших, которых, право, нельзя обвинить ни в какой науке; а вообще о пагубном влиянии подражания нашего французам XIX века.

---

* есть мера в вещах (*лат.*).

Чему подражать! — В этом народе давно сердце *высохло*; не в состоянии более производить Расинов, он гордится теперь Кондорсетами[4] — хладной философией исчисления, которая убивает воображение и вместе с ним вкус к изящному, т. е. стремление к добродетели. Это такая неоспоримая истина, что, взяв в руки историю успехов ума во Франции, можно по ней одной безошибочно сказать: *такая-то степень просвещения принадлежит такому-то периоду политических событий* — и выйдет точно так.

Появляются Монтань, Малерб[5] — и ты скажешь: конечно, народ французской начинает исцеляться от ран, нанесенных ему варварством, невежеством, суеверием, междоусобием — и оно подлинно так. Возникает Корнель, Расин, Фенелон;[6] ты заключаешь, что французы достигли до высшей степени вежливости — и не ошибаешься. Никогда Франция так не процветала, как под державою Лудовика XIV, или, лучше сказать, под Министерством Кольберта,[7] коего гению надменнейший из монархов обязан всею славою своею. — Вскоре после него ты усматриваешь, что музы уступают место софистам (философов давно не бывало во Франции), с которыми на ряду становятся геометры Даламберт и Мопетрюи[8] — что ты скажешь? Пламенник гения гаснет во Франции — и оно точно правда. Меркнет свет истинного просвещения; дарования употребляются, как орудия разврата, и опаснейший из софистов, лже-мудрец Фернейский,[9] в течение полвека напрягает все силы необыкновенного ума своего на то, чтобы осыпать цветами чашу с ядом, уготованную им для отравления грядущих поколений. — Свершилось! неверие подъемлет главу свою и, опершись на Кондорсета, Лаланда[10] и подобных им, явно проповедует безбожие — и когда? — ужасайся! раскрывается пред тобою летопись революции, начертанная кровию человеческою!

Революция!.. И теперь еще продолжается она во Франции! и без нее не атаманствовал бы Бонапарте! — Светочи фурий не столько ужасны ему, как пламенник просвещения, и для того он употребляет все меры тиранства на то, чтобы сгустить мрак невежества над своими рабами и, если можно, распространить оной по всей земле: ибо он знает, что рабство и просвещение не совместны.

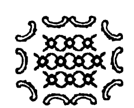
Когда, в бытность мою в Париже, я посетил политехническую школу и увидел, что *Поли*техния, несмотря на наименование свое, занимается преимущественно, или, лучше сказать, исключительно, математикою, я не утерпел, чтобы не изъявить моего в том удивления одному из предстоявших учителей. «*Чему вы удивляетесь?* — сказал он, — *первому консулу нужны инженерные офицеры, во что б оно ни стало:*

*удастся один из десяти, и слава богу! а прочих хоть в Шарантон**». — «Как в Шарантон?» — «*Видите этих студентов: они здесь каждый день, безвыходно и часов по осьми сряду, осуждены ломать себе голову над Лакруа;*[11] *от этого редкой год проходит, чтобы мы не отвозили отсюда человека по два и по три в Шарантон*».

Ты, друг мой, счастливый отец семейства; дети твои, подобно прелестному цвету дерева, обещают тебе сладкие плоды. — Бога ради! не учи их математике, доколе умы их не украсятся прелестями изящной словесности, а сердца их не приучатся любить и искать красоты, не подлежащие размеру циркуля, одним словом, образуй в них прежде всего *воображение* — тогда вредное, когда не направленное стремиться ко всему изящному в природе оно делается рабом страстей и порока. Украшенное, обработанное, оно освещает и самый рассудок. Оно дает гению силы и бодрость искать причины вещей; оно на крыльях своих возносит Невтона на те высоты, где, подобно Прометею, он похищает огнь небесный и озаряет им землю. Так точно: без воображения и Невтон, великий Невтон, был бы просто счетчиком, не проник бы таинства природы, не открыл бы законов тяготения, не рассек бы луча солнечного на первообразные цветы. — В великой картине мироздания *разум* усматривает *чертеж*; *воображение* видит *краски* — что же картина без красок! и что жизнь наша без воображения!

---

* В Шаратоне содержатся сумасшедшие.



ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Нескромность твоя, друг мой, и честь, оказанная мне «*Сыном Отечества*»,* завели меня в переписку с такими людьми, о которых бы мне и слышать никогда не удалось, если бы не познакомило меня с ними обнародование моих к тебе писем. Почти каждая почта приносит мне новое знакомство, и вот тебе письмо, которое получил я третьего дня из Рязани.

Рязан. губ. Пронского уезда, село Старожилово
Ноября 18 дня 1813.

Милостивый государь мой! Прочитав в «*Сыне Отечества*» пятое письмо ваше к приятелю в Нижний Новгород, я поражен был в нем обстоятельством, до вас еще никем не замеченным, которое очень близко до меня касается. Вы, конечно, не воображаете себе, чтобы обстоятельство это было: *старание, прилагаемое в нашем воспитании о правильном выговоре французского носового эна*. Не менее того, оно точно так, и если вы не поскучаете прочитать письмо мое, то сами увидите, что этот проклятый *носовой* — или, как я называю его, *гнусной эн* — столь близко до меня касается, что ни мало, ни много, от него, а не от чего другого решился навсегда жребий жизни моей.

Я сын очень хорошего дворянина, богатого рязанского помещика, который прожил целый век свой, не зная французского языка. На этот

---

* Поставив за правило не переменять ничего в доставляемых нам для помещения в журнале нашем статьях, напечатали мы и сии слова, как они изображены в рукописи, но это очевидная ошибка! Надлежит читать: честь, оказанная «Сыну Отечества» сообщением сих писем. По крайней мере, мы так понимаем. — *Изд.*

счет предубеждение отца моего было престранное; он говаривал: «На чорта мне французской язык! Я храбро и с отличием служил в военной службе, которую оставил вместе с правою моею ногою, погребенною на Франкфуртском поле, — и не знал французского языка. Приехал домой в Рязань, женился — и не зная французского языка. Родился у меня сын, для Отечества, с обеими ногами, с головою и с руками — и для этого не было мне нужды во французском языке. Был я исправным председателем в совестном суде — без французского языка.

В отставке теперь, живу в деревне, любим крестьянами моими, уважаем соседами — и для этого ни малейшей надобности не имею во французском языке. И так я жил и доживаю век, а пользы еще не видал во французском языке; когда же придет час воли Божьей, так и подавно обойдусь без него!» —

Такие правила, может быть, и похвальны сами по себе; но век, в котором батюшка жил, не похож был на тот, к которому я готовился, и вышло из того, что за отцовское предубеждение дорого заплатил сын: покуда здравствовал батюшка, никто бы не осмелился и предложить ему взять для меня француза в дом, а как его не стало, так и француз помочь мне был уже не в силах.

Мне было от роду 13 лет, как родитель мой скончался, и матушка, сколь горько ни оплакивала невозвратную утрату, не менее того поспешила отправиться со мною в Петербург, дабы там вознаградить потерянное в воспитании моем время, научив меня языку, без которого русскому человеку нельзя ожидать никакого успеха в свете.

Мы прибыли в столицу в 1782 году и, по милости родственников наших, въехали прямо в нанятой для нас дом, всем нужным снабженный, а более всего нужнейшим для меня — французским гувернером, который, и до приезда нашего, занимал уже назначенные для меня покои.

Сперва и матушка, и я не очень понимали слово *гувернёр*, в точном значении его; но когда, кое-как приискав его в лексиконе, мы увидели, что оно значит *губернатор*, тогда мы догадывались, что такое наш француз, и потом уже из опыта узнали, что он во всем пространстве смысла — губернатор. — Но увы! — как ни беспрекословно все в доме нашем повиновалось губернатору, как ни старались все ему угождать в малейших его желаниях, один несчастный нос мой оставался всегда преслушным воле его и никак не хотел ему повиноваться! — Сколько ни трудился наставник мой, принуждая меня с утра до ночи твердить: Din-

don! dindon!* — проклятый нос мой не соглашался на правильный выговор, и все выходил только чисто русской *дин-дон*.

Матушка была в отчаянии, учитель мой терял терпение, я был измучен — и все без пользы: *дин-дон!* да и конец всему*!* — Что делать! призвали штаб-лекаря осмотреть нос мой. Он, пожав плечами, сказал: «На 14-м году возраста носовые хрящи твердеют, и чрез то орган произношения становится неспособным к приобретению чистого выговора чужестранных языков (Ergo: ad rectam, linguae Gallicae pronunciationem, nasus hujus pueri semper erit inhabitus)».** —

Строгого сего приговора никто бы не понял, если бы, по несчастию, не вздумалося и французу моему похвастаться своею латынью: «*Назюс! Рюссюс! Барбарюс!*» — вскричал он, и слова эти, столь внятные даже и тем, которые незнакомы с языком Цицерона, поразили, как громовым ударом, бедную матушку мою и надолго лишили ее чувств.

Пришедши в себя, она тотчас спросила: нельзя ли сделать операции? — И я чуть не был осужден на исправление носовых хрящей моих способом хирургии; но, по счастию моему, воспротивился намерению сему губернатор мой, который тотчас смекнул, что выгоднее ему оставить меня с носом, каков есть, а себя с 1000 рублями жалованья, нежели подвергаться опасности потерять меня, а со мною и доход свой. — Этот расчет избавил ⟨от нее⟩ меня и нос мой.

Нет состояния на свете, как бы оно грустно ни было, к которому бы человек, наконец, не привык: точно так сбылось и со мною. Матушка перестала грустить о затвердении моих носовых хрящей; учитель перестал меня мучить, а я почитал себя наисчастливейшим человеком в свете, когда в 18 лет досталось мне в офицеры гвардии, и я в первой раз с эспонтоном в руках пошел на караул во дворец.[1] И как, казалось бы, не быть счастливым! Молод, недурен собою, богат, гвардии офицер — чего не доставало к благополучию моему? — Увы!.. Одного только, но без чего нет счастия человеку в большом свете, — чистого произношения французского языка!

С первых дней служения моего я мог уже догадаться, что затвердение хрящей носа моего наделает мне множество неприятностей и хлопот, и в этом я не ошибся. Сперва товарищи мои начали понемногу подтрунивать над моим выговором; потом стали явно насмехаться надо мною, и наконец, сделали из меня такой предмет общего кощунства, что я нигде

* Дурачок (*франц.*).

** Итак: для правильного произношения галльского языка нос этого мальчика всегда будет непригоден (*лат.*).

не мог показаться, чтобы какой-нибудь наглец не пристал ко мне с намерением забавлять мною общество.

Как я ни терпелив от природы, однако же гонение это в полку мне крайне надоело, так что я, наконец, сухо объявил сослуживцам моим, что впредь шутки их принимать буду не шуткою, а оскорблением. Это произвело, что один из товарищей моих, понахальнее прочих, вздумал испытать, правду ли я говорю: опыт сей стоил ему трех пальцов правой руки, а мне доставил уважение всех однополчан моих.

Перестали трунить, перестали смеяться надо мною; от этого, однако же, жить мне лучше не стало: вся молодежь убегала меня, как будто бы опасаясь какой заразы. В караульне, в обществе, в театре — везде оставляли меня одного, везде чуждались меня, так что, потеряв, наконец, последнее терпение, я вышел в отставку и поехал в Москву, предполагая, что в древней русской столице скорее, нежели в новой, можно русскому дворянину ужиться без чистого французского выговора; но и тут расчёт мой оказался ложным и, как сейчас услышите, весьма уничижительным для меня образом.

Живучи еще в Петербурге, я столько наслышался о Московском дворянском собрании, что не хотел пропустить и первого вторника: явился на бал, и что тут увидел — превзошло все мои ожидания. Людство, богатство нарядов, сотни прелестных лиц — все приводило меня в восхищение; но все это ничего еще не значило против очарования, произведенного во мне парою черных глаз, которые, взглянув раза два на меня, казалось, будто сказали: «От нас решится здесь жребий твой». — Подошед к одному знакомому, я спросил: кто эта черноглазая девушка, которая танцует отсюда в 3-й паре? — Это *Темира*, — отвечал он, — прекрасная и любезная девушка, от которой не у тебя одного кружится голова... — *Темира!* Как, она чужестранка... — Ничего не бывало! Русская.

При святом крещении ее назвали в угодность бабки ее Татьяною;[2] но это имя такое грубое, что ей никак нельзя было при нем оставаться, и для того, как в семействе своем, так и в городе, она слывет под именем *Темиры*. — Этакое перекрещение из русской Татьяны во французскую Темиру немного доброго обещало, и мне бы тут уже догадаться, что она не по моим затверделым носовым хрящам; но что может рассудок против заразы прелестного личика! Невольное побуждение влекло меня к *Темире*, как мотылька притягивает горящая свечка: долго я увивался около нее, хотел подойти и не смел; наконец, решился поднять ее танцовать и — бедный мотылек опалил себе крылья. —

Так как в контр-дансе более говорят глазами, нежели языком, то в этом разговоре мне так посчастливилось, что бал еще не кончился, а мне нельзя уже было сомневаться в том, что я Темире не противен. Каким прелестным мечтаниям предавался я, приехавши домой! Сон не сводил глаз моих во всю ночь; я не мог дождаться утра, и лишь день настал, я начал наряжаться, чтобы как можно щеголеватее явиться пред Темирою.

Знакомой, которой мне накануне сказал о ней на бале, под вечер представил меня отцу ее. Хозяином я был принят ласково, а дочерью еще вдвое того ласковее, и с тех пор не проходило дня, чтобы я не был у них в доме. В общем разговоре употреблялся между нами русской язык, по той причине, что Темирин отец, человек старинного покроя, ни слова не знал по-французски, — и этому я был чрезвычайно рад; когда же случалось мне пошептаться с дочерью, тогда я дерзал и на французской язык, но так тихо выговаривал и с такою осторожностию избирал речи, в которых как можно менее *носовых энов*, что хитрость моя удалась мне совершенно. — Не буду терять лишних слов, и скажу вам коротко, что чрез два месяца сватовства я объявил желание вступить в супружество с любезною; отец одобрил предложение мое; Темира, покраснев, дала мне руку, и я чуть не умер от радости. Близкой день нашего соединения был уже назначен; все к нему приготовлялось в доме, и, наконец, приспел девишник, долженствовавший быть кануном моего благополучия... Ах! и теперь тяжело мне вспоминать об этой несчастной вечеринке, которая навсегда решила судьбу мою.

Лучшее общество было собрано в гостиной у Темиры; девушки перешептывались между собою; молодые люди прохаживались взад и вперед мимо зеркалов, оправляя галстухи свои; Темира нежно глядела на меня; я, вне себя, ею чувствовал, ею дышал, ею одною существовал, — как вдруг, на беду мою, прийди в голову старику сказать: «Что это молодежь так приуныла! хоть бы в фанты...» «*В фанты! в фанты!*» — закричали все девушки в один голос, и вдруг выскочил молодчик с предложением играть в забавную и остроумную игру «*Je vous vends mon corbillon; qu'y met-on?!!*»* «*Corbillon! Corbillon!*» — возопили все хором. — Меня подрал мороз по коже: представьте себе, сколько *гнусных энов* в одной речи; но что было делать! оставалось только повиноваться. Пошла игра круговая; начали молодцы друг перед другом щеголять остроумием, кто кого забавнее прииищет слово, оканчивающееся на проклятый *on*; дошла очередь и до меня; спросила Темира: *qu'y met-on?* — А я, не придумав

---

* Я продаю вам свою корзиночку, что вы в нее положите? (*франц.*).

ничего слаще, в ответ ей: *бон-бон!*[3] — Боже мой! какой хохот раздался по всей зале! — Темира покраснела, опустила глаза; а я, в изумлении и в досаде на участь мою, проклинал мысленно затверделые хрящи моего носа. Этим игра прервалась; молодежь возвратилась к прежнему упражнению, перешептываться; а Темира, с видом унылым и смущенным, ушла в ближнюю комнату. Я за нею вслед, схватил ее руку, хотел броситься к ногам ее и открыться ей, что хрящи в носу моем затвердели прежде, нежели я начал учиться по-французски; но Темира, не допустив меня ни до каких объяснений, вырвала руку свою из моей и с видом холодным сказала: «Извините меня. Несносно голова болит — не только ужинать, но и оставаться долее в обществе я не в силах...» — и при сих словах она скрылась, затворя за собою дверь; а я остался на месте неподвижен, без дыхания, как человек громом пораженный. —

Не знаю, долго ли я был в этом положении, но помню только, что очутился дома, в постеле, и при мне лекарь, который рассказал мне, что внезапная болезнь невесты моей столь сильно меня поразила, что я лишился всех чувств и он привез меня домой и положил в постелю. — Я вспомнил тогда настоящее положение мое, но, скрыв его от врача и поблагодарив, уверил его, что чувствую себя лучше и в услугах его более нужды не имею.

Оставшись один, я предался мучительнейшим размышлениям, ожидая дня, чтобы идти к невесте моей и спросить ее о причине столь внезапной ее ко мне перемены. — День настал; уже я был одет и готов ехать со двора, как принесли мне письмо от Темиры. Сердце во мне затрепетало; надежда и страх вместе так сильно возмутили все чувства мои, что я насилу, дрожащею рукою, мог развернуть письмо. — Вот, что оно содержало в себе:*

«Я больна — теперь... никогда не должно более помышлять о нашем соединении. Простите мне откровенность мою: я со вчерашнего дня только узнала, что мы друг для друга не сотворены. Отдавая полную справедливость достоинствам ума вашего и сердца, должна я, однако же, признаться, что вижу в вас недостаток, для других, может быть, незначущий, но в моих глазах такой, что я никогда бы не могла жить счастливо за вами. — Вы меня разумеете... и мне остается только пожелать вам всякого благополучия. — Темира».

В каком я был положении, прочитав письмо, легче вам вообразить себе, нежели мне описать. Иногда в бешенстве хотел бежать к Темире с

---

* Письмо было написано по-французски.

тем, чтобы и ее, и себя вместе лишить жизни; иногда доходил до такого малодушия, что желал быть у ног изменницы и умолять ее сжалиться надо мною; приходила и такая мысль, чтобы идти к оператору и исправить во что бы то ни стало затверделые хрящи моего носа. Душа моя подобилась морю, ветрами колеблемому, и как после бури настает обыкновенно тишина, так точно кончилось и мое душевное волнение: я схлебнул жестокую горячку; в десятой день только опомнился; но с такою спокойною душою, с такими мыслями светлыми и веселыми, что не только не заботился более о Темире или Татьяне, но еще благодарил Бога за то, что он избавил меня от нее.

Весна и молодость поставили меня на ноги скорее, нежели можно было надеяться после столь сильной болезни, и лишь я почувствовал себя в силах вынести дорогу, то и в коляску, да в Рязань, на старое пепелище отцов моих.

Здесь, м. г. м., я живу 20 уже лет безвыездно; упражняюсь в хозяйстве, в чтении, а иногда для движения хожу с ружьем по болоту или верхом скачу по полю за зайцем. От такой жизни здоровье мое сохранилось так крепко, как в 20 лет, а оттого, конечно, что я не знаю здесь ни зависти, ни злословия, цвет лица моего почти таков же, каков был в тот год, как мне досталось в офицеры. Я счастлив... однакоже, признаюсь вам, чего-то недостает к совершенному моему благополучию: подчас я чувствую какую-то пустоту в сердце, от которой невольно обращаюсь на протекшие годы жизни моей и невольно проклинаю нос мой, лишивший меня сладостного дня каждого человека сообщества с единоземцами, равными себе. Сколько раз я собирался возвратиться в Петербург! Но размышление о хрящах носа моего всегда удерживало меня. Теперь — кажется, будто бы обстоятельствам должно быть поблагоприятнее для меня и подобных мне, и эта надежда побудила меня приказать готовить зимние повозки. Однакоже, чтобы не вышло по пословице: *поспешить да людей насмешить* — я решился вас, м. г. м., утрудить этим длинным письмом, с тем, чтобы, известив вас подробно о моем положении, осмелиться испросить себе вашего совета: *Могу ль я теперь без опасности пуститься опять в свет, или оставаться мне доживать век в деревне?* —

Заключение ваше о *гнусном эне* доказывает, что, живучи в свете, вы наблюдаете и самые мелочные обстоятельства, когда они имеют какое-нибудь влияние на общество; а ненависть ваша к французам утверждает меня в уповании, что вы не откажетесь дать ваш благой совет доброму, честному русскому дворянину, которого вся вина против общества в том

только и состоит, что по причине затверделости носовых хрящей он не может чисто выговаривать: mon dindon!

С отличным уважением и проч.

Африкан Назутовский,
Отставный гвардии капитан-порутчик.

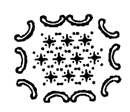
P. S. Позвольте спросить вас откровенно: каково вы сами произносите *носовой эн*?

Ответ

Милостивый государь мой! Дурно бы заплатил я за лестную вашу ко мне доверенность, если бы я посоветовал вам по первому пути выехать из вашего Старожилова; погодите немного, в том потери не будет. Благомыслящих людей у нас много; они сильно действуют над общим мнением, но привычка, как вы сами знаете, всего сильнее. Надобно дать ей время порасслабнуть, и кажется, что она уже начинает хилеть. Несчастие — великая школа не только для умных людей, но даже и для дураков!

Хотя французов до сих пор никакое несчастие не могло еще образумить, но надобно надеяться, что мы в этом будем их умнее. — Впрочем, ничто не мешает вам держать повозки ваши, как говорится, *на мази* и между тем жить спокойно, в уверении, что я ни минуты не замедлю отправить к вам эстафету, коль скоро только замечу, что вам смело можно явиться в общество, не подвергая себя вновь неприятностям, которые вы столько раз испытали от негибкости ваших носовых хрящей. Остаюсь и проч.

P. S. Худо ли, хорошо ли я произношу носовой эн, но поверьте, что личностей я не употребляю никогда, ни против эна и ни против кого на свете.



ПИСЬМО ОСЬМОЕ

Primum aliquid da
Quod possim titulis incidere.[1]
*Juven.**

Я заходил вчера к книгопродавцу моему и застал его в презабавном споре с одним здешним гравером, хотевшим навязать на него целую кипу разных портретов. — «Как можете вы требовать от меня, — сказал, наконец, книгопродавец, — чтоб я загромоздил лавку мою товаром, который, как и сами вы признаетесь, не сходит с рук!» — Последний сей довод поразил бедного гравера: он замолчал, потупил глаза в землю, покраснел, вздохнул, поднял тяжелую кипу свою и медленно понес ее укладывать на роспуски.[2] Мне стало его жалко. Я сказал себе на уме: он потупил глаза — это значит обманутые надежды; покраснел — это оскорбленное самолюбие художника. — Он вздохнул... Ах! может быть, у него жена и дети, которых он питает произведениями резца своего!.. И с этою последнею мыслию я выбежал за ним на улицу и спросил у него на 25 рублей портретов. — Каких? — Кутузова. — Все вышли. — Витгенштейна...[3] — И тех ни одного не осталось. — Ну так дайте же мне какие сверху лежат и поскорее: мне недосуг. — Гравер исполнил желание мое, и между тем, как развязывал кипу и вынимал товар свой, он расспросил меня о имени моем и жительстве. — Я удовлетворил ему ответами; но опасаясь, чтобы не вздумалось ему ко мне явиться с грузом портретов и чтобы избавиться неудовольствия оскорбить его отказом, я прибавил, что завтра же, рано поутру, еду в Подмосковную. — Мы тут с ним расстались. Я целый день провел вне дома и, возвратясь уже поз-

---

* Прежде дай что-то такое,
Что я мог бы вырезать на камне (*лат.*).
Ювенал.

дно, после ужина, нашел у себя письмо от гравера, с которого при сем препровождаю к тебе копию. —

«Я приметил, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, что, купив у меня на 25 рублей работы моей, вы желали не портретов, а способа помочь бедному человеку. — Благодарю вас душевно за себя, за жену и за детей моих. — Но когда вы отгадали, а я признался перед вами в том, что я *бедный человек*, то позвольте же открыть вам, почему я таков, дабы вы не подумали, что я навлек на себя заслуженное несчастие праздностию или распущенною жизнию.

Я питомец Академии Художеств. Дарования мои... что мне себя и вас обманывать! — мои дарования дюжинные. — Однако же и с ними я мог бы иметь хлеб насущный, ибо я учился прилежно, а в художествах то хорошо, что хотя прилежание и не награждает отсутствия гения, но оно еще достаточно для того, чтобы сделать человека не бесполезным обществу; одним словом, я мог быть — без хвастовства скажу — очень хорошим рисовальным учителем. С этого я и начал по выпуске меня из Академии. Выигрыш мой в Петербурге был изрядный, и холостым я мог бы и теперь так жить — но я женат; и по несчастию, нет более благодетеля моего! Нет друга Муз! Друга человечества! Графа Александра Сергеевича Строгонова!..[4] Ах, сударь, если б вы знали этого человека!..

Не стало моего благотворителя, и мне нельзя было оставаться в столице по причине дороговизны ее; я поехал искать себе пропитания по губернским городам. Прожил несколько времени в Калуге, Туле, в Рязани и в Тамбове; нигде мне не посчастливилось: платили мне мало, а требовали с меня много. В одном из сих городов рассердились на меня за то, что я начинаю учение рисованием глаз и носов: родители говорили, что благородным детям такою мелочью заниматься непристойно. В последнем месте пребывания моего случилося со мною еще хуже: я имел двух учениц, которых дарования обещали мне самые лестные успехи. Уже начинали они любить искусство, прилепляться к нему и видеть в рисунке более, нежели бумагу и карандаш, — как на беду мою появился в городе приехавший из Москвы танцмейстер для цыганской пляски. Я прихожу к ученицам моим раз — говорят: дома нет. — В другой мне отказывают, а между тем я из передней слышу: *За горами, за долами! — жги! говори!* — топот ног. — Не утерпел я, вошел в залу... Бедные мои Настя и Груша! Прелестные идеалы Ивии и Психеи![5] Они немилосердно кривлялись перед учителем своим; то пожимали плечами, то моргали и кивали глазами. Я сел, задумавшись в углу. Хозяйка подошла ко мне и с торжественным, веселым видом спросила: что, сударь, скажете на это? —

Ничего, сударыня. — Что? разве не прелестно? — Если говорить правду, сударыня, так нет. — А почему же? — Потому что я привык с малолетства заниматься прелестными *аттитудами*[6] и знаю, что к чему идет: например, дочерям Вашим следовало бы подражать Грациям, а не Вакханкам,[7] потому что *благопристойность* всегда неразлучна с *Грациями*. — Не знаю, поняла ли что матушка из моих слов, а кончилось тем, что дочерей с тех пор я в глаза не видал. — На другой день прислали мне деньги за билеты, которые еще были у меня, поблагодарили и объявили мне, что в уроках моих нет более нужды. Не за чем мне было долее оставаться в городе сем, и я переехал сюда с своим семейством. — Но как в разоренной Москве учениц и учеников еще мало, а жить чем-нибудь надобно, то и принялся я опять за свой резец и, ободренный удачною продажею некоторых портретов, возмечтал, что стоит мне только гравировать какие ни попало, и деньги будут сыпаться на меня дождем. В таком упоении обманчивой надежды я все, что ни оставалось денег у меня, употребил на медные доски, на станки и на прочие потребности художества моего; начал гравировать всех, кто ни попадется, трудился день и ночь без отдыха, почти лишился глаз и... вы видели сами, чем кончились мои ожидания.

Я более всего чувствую себя виноватым перед женою: она не заслуживает страдать за меня; тем более, что она лучше меня видела вещи и судила о них основательнее. „Эй! — говаривала она часто во время работы моей. — Эй! муж, остерегись! чтоб не было раскаяния! — Товар этот не то, что требование необходимости или моды: на башмаки да на шляпки всегда будут покупщики, а на твое изделие надобны охотники, и эти охотники, как сказывают, покупают портреты не по резцу, а по образцу. Эй! говорю, остерегись! вспомни, что Державин пишет про себя, да не о себе:

На смех ли детям представлять,
Чтоб видели меня потомки
Под паутиною в пыли..."[8]

Поздно уже теперь остерегаться. Я разорен, и если мне не поможет Бог, то придет⟨ся⟩ с детьми и женою идти по миру. Войдите великодушно в мое состояние, помогите мне и бедному семейству моему! — Я нечто придумал такое, от чего, если вы мне пособите, все портреты мои могут сойти с рук у меня. Вот в чем дело состоит: мне хочется выдать на будущий 1814 год „*Адрес-календарь*", в котором, до 8 класса включительно, на каждое имя будет портрет.[9] — Но, чтобы не вышло с кален-

дарем того, что последовало с портретами, то для безопасности моей нужна подписка, и в этом я полагаюсь на пособие ваше. Сделайте благодеяние, объявите публике о намерении моем; опишите оное красками, приличными предприятию, которому подобного ни у нас и нигде не бывало никогда. Скажите, как приятно будет с таким календарем не только знать имена всех чиновников в России, но даже судить некоторым образом о характере каждого, имея перед глазами изображение лиц. Случись кому, например, из Перми писать по делу в Москву или в Петербург, к такому человеку, которого он в глаза не видал и не слыхивал о нем: способом моего календаря он тотчас лично с ним познакомится; узнает по портрету, угрюм ли он или весел, задумчив или рассеян, и если к тому он еще будет иметь у себя Лафатера,[10] то смело можно ручаться, что дело будет в шляпе, лишь бы только умел проситель приладить слог свой к нраву того, к которому он пишет.

Буде вы одобрите намерение мое и не откажете мне вашего покровительства, то я снова примусь за работу, и к 1 январю обещаюсь отделать штатских всех, хотя в mezzo-tinto.* Вас же, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, особенно представлю с возможным рачением, и образ ваш останется врезанным в сердце моем неизгладимым резцом благодарности, с которою по гроб мой буду

Ваш покорный слуга

Архип Блифонов,

гравер.»

Вот еще тебе письмо, полученное мною сегодня:

«Вы, как я примечаю, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩ м⟨ой⟩, занимаетесь наблюдением в обществе предрассудков, внесенных к нам вместе с французским языком и французским воспитанием; это похвально, но позвольте сказать, что наблюдателю не мешало бы иногда замечать и те заблуждения и странности, которые, не будучи заняты от чужих, могут назваться у нас — *доморощенными*. Из первых таковых я смело назову принятое ныне барынями нашими понятие о *шалях*. — За 20 лет тому назад можно было иметь за 200 рублей порядочную шаль; можно было порядочной женщине и обходиться без шали; и тогда пятисотные и тысячные почиталися исключительно или преимуществом богатства, или знаком мотовства. Теперь же 4 и 5 тысяч рублей обыкновенная цена хорошей шали, да к тому еще предрассудок, которого прежде не бывало:

---

* Здесь: в сдержанной манере (*итал.*).

что женщина, не имеющая толь дорогого наряда, почти теряет право считаться в числе тех, которых мы на рус⟨ском⟩ языке определить не умеем, а по-французски называем: „Femmes comme il faut".*

Весьма бы я доволен был, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩ м⟨ой⟩, если бы вы взяли на себя труд вывести наружу: 1-е, что в течение 20 лет доходы наши не умножились в прогрессии от 200 до 5000. — 2-е, что женщина может быть очень порядочная или comme il faut, без шали, и самая беспорядочная или — comme il ne faut pas — с шалью в 10 000 рублей. 3-е, что лучшее украшение женщины, особливо матери семейства, есть — скромность и умеренность. И, наконец, 4-е, — что та, которая вздевает себе на плечи целый годовой доход, вместо того, чтобы внушать к себе уважение благомыслящих людей, производит в них одно только то чувство, о котором, говоря о прекрасном поле, я упоминать не смею.

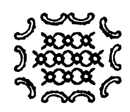
М⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩ мой! Не даром я восстаю противу шалей: я столько счастливых лет провел с женою и детьми в деревне! — Там никакие предрассудки не мешали нам жить по-своему, то есть следовать одним уставам природы и благоразумия. Сюда приехали мы для воспитания подрастающих детей наших — и все переменилось. Бедной жене моей вскружили голову; уверили ее, что без шали ей и в люди показаться нельзя. Она долго колебалась, но наконец годовой доход наш отправился в Царьград,[11] а жена моя облеклась в 5-тысячную шаль. Еще одна такая шаль, и жена моя, подобно Энею, понесет на плечах своих будущий жребий наших детей:

Attollens humero famanque et fata nepotum** + 12

С почтением пребываю и проч.»

На это последнее письмо отвечать я не хочу: в домашние сплетни и женские дела мешаться не люблю.

* «Порядочные женщины» (*франц.*).
** Принимая на плечи ⟨груз⟩ славы и судьбы потомков (*лат.*).



ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Зима выгнала меня из уединенного моего загородного дома, и я снова, друг мой, вращаюсь вихрем городской жизни, так что *визиты, обеды* и *бостон* суть колеса, на которых обращается механическое существование мое. Я всегда себя спрашиваю: возможно ли так жить? и никогда иначе не живал в городах.

Монтескье сказал, что *честь* — пружина всех новейших образованных государств.[1] В главных отношениях оно справедливо, но что касается до жизни нашей в обществе, то честь, или, лучше назвать, *честолюбие* не столько имеет действия над нами, как *страх*, чтоб не казаться *странными* или *смешными*. Ездить по гостям обедать, развозить по домам печатное имя свое, играть в бостон — тут нет ни чести, ни бесчестья, но если бы кто, живучи в городе, имея довольно обширный круг знакомства, вздумал сидеть дома, не рассылать визитных карточек, не играть в бостон — что бы сказали о нем? — Медведь! и это так *страшно*, что всякой скорее решится перестать *быть* человеком, нежели *слыть* медведем. Вот точно положение, в котором находится вся мыслящая часть городского общества, и ты, конечно, согласишься со мною, что в этом случае действует над нею не *честь*, а *страх* один и что если бы не этот *страх*, то ничто не понудило бы разумного существа посвящать из краткой и ненадежной жизни своей девяти десятых частей на упражнения, в которых нет ни чести, ни пользы, ни даже какого-либо истинного наслаждения.

На сих днях разбирал я тетради, которые еще в малолетстве писал в школе; первая, что попалась мне в руки, начиналась так: «Omnes homines qui sese student praectare celeris animalibus, summa ope niti decet, ne

vilam silentio transeant, veluti pecora».* Хотя я неоднократно читал Саллустия,[2] но тут, не знаю почему, слова его поразили меня, как будто бы я впервые услышал их. — Veluti pecora! — повторил я с некоторым негодованием. — Разве зависит от каждого человека *не безмолвно проходить* путем жизни, отличаться, одним словом, быть полезным? Разве обстоятельства?..

Признаюсь, для успокоения самолюбия моего хотелося мне убедиться в том, что обстоятельства, от нас не зависящие, много содействуют к тому, чтобы соделывать нас полезными или, против воли нашей, бесполезными. — Однако же умствование мое не успокоило меня, и я должен был признаться, что Саллустий прав и что каждый благомыслящий гражданин имеет три способа служить обществу: первый *делом*, вторый *мыслями*, третий *сердцем*.

Защитник Отечества, блюститель законов его, проповедник веры — служат *делом*. Писатель, открывающий современникам и потомству великие истины, сильно и живо выраженные, — служит *мыслями*: ибо, заставляя читать себя, он заставляет *мыслить* читателей и находить пользы свои, всегда с истиною нераздельные. —

Наконец, человек, который в тесном кругу частной жизни употребляет деятельность свою на то, чтобы помогать ближнему кошельком своим, состраданием, советами — тот служит *сердцем*; не столько гласно, как первые, однакоже с пользою для общества и со сладостным сознанием, что имя его останется в памяти людей, чтущих добродетель. —

Прав Саллустий! Нет человека мыслящего, которому бы не предстояли или какой-нибудь из двух первых способов, или по крайней мере последний, опричь весьма немногих исключений, которые потому и не послабляют правила. — Конечно, быть полезну *делом* не всегда в нашей воле: оно зависит от доверенности правительства, которую самый превосходный человек может иметь или не иметь по одному случайному сплетению обстоятельств. —

Полезну быть *мыслями* еще того менее зависит от каждого: ибо не довольно еще того, чтобы самому сильно чувствовать и постигать ясно истины; надобно к тому дарование выражать пером чувства, дабы сделаться писателем, заставляющим *мыслить* читателей своих. —

Но что мешает доброму человеку быть деятельно добрым? — Ничто, конечно: пока есть на свете люди беднее меня, непросвещеннее,

---

* Все люди, старающиеся превзойти прочих животных, должны пещись о том, чтобы не безмолвно пройти путем жизни, подобно бессловесным тварям.

пока есть такие, у которых все сгорело, тогда как у меня только часть, — я до тех пор буду иметь средства *пройти небезмолвно путем жизни*. Счастлив, кто так живет!

На сколько крат счастливее тот, который соединяет все три способа быть полезным Отечеству, современникам и потомству! — Таков был Цицерон,[3] и для того не было человека на свете, который бы величественнее представлялся воображению моему, как Римский консул-философ. —

Ревностный гражданин, он служит Отечеству, доколе оно было, с такою пользою, что приобрел священное титло *Отца Отечества*, не лестью данное, но Сенатом, тогда еще не порабощенным. Когда же не стало Рима, разумею Рима свободного, тогда Цицерон посвятил труды свои на пользу большего Отечества, рода человеческого, и оставил творения, которые прейдут во все роды, просвещая смертных внушением в них любви к добродетели.

Мои письма к тебе, друг мой, часто похожи на эти картинки, называемые quod-libet,* где представляются разбросанные на столе газеты, визитные билеты, оды на победы, карты и проч. — Так точно и у меня: я начал с бостона и привел к Цицерону. Тут, кажется, нет никакой связи: однако ж она была в голове моей. — Прочти приложенное здесь письмо, которое я получил вчера от неизвестного, и ты увидишь, что в голове моей *бостон* и *польза* могли иметь между собою связь самую тесную.

«М⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩ м⟨ой⟩. — Я провел целую жизнь мою в проэктах, и доказательство, что весьма упорно ими занимался, состоит в том, что от тысячи душ, которые наследовал я после отца моего, остались у меня только модели, махины и прекраснейшие теории: о превращении глинистой почвы в чернозем, о искусственных лугах, о делании сахара из капусты, водки из грибов, о извлечении поташных солей из битых стекол и питательных соков из старых подошв и проч. и проч. — Признаться одним словом, я до сих пор был *философ без огурцов*.[4] —

Не подумайте, однако ж, что неудачи мои отвадили меня от проэктов: нет, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩ м⟨ой⟩, каков я был в колыбельке, таков пойду и в могилку. Пусть кто хочет, ищет во всем своей собственной пользы, я всегда искал и буду искать общей. — Ошибусь в средствах, так и быть! — По крайней мере, доброе мое намерение останется всегда при мне. —

Цель всех экономических и политических про̀эктов не состоит ли в том, чтобы производить величайшее действие способами самыми просты-

---

* мешанина (*лат.*).

ми, легкими и удобными? — Буде оно так, то дело мое в шляпе; я напал на такую мысль, которая заключает в себе все необходимые условия: действие превеличайшее — вспоможение бедным, не временное, но постоянное; способ наилегчайший — *бостон*. — Точно так, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩ м⟨ой⟩, выслушайте меня терпеливо. —

Судя по владычеству бостона в обществе и по пространству нашей империи, ничего лишнего не будет, если мы положим, что в день играется в России 1000 бостонов, т. е. партий, каждая по 12 туров втроем и по 6 и по 4 вчетвером.

Я полагаю, чтобы игрок за каждую выигранную игру откладывал по одной фишке в особливое блюдечко для бедных. — Самый меньший выигрыш состоит из 20 фиш, половины ремиза и одной фишки за игру, и тут ничего не стоит уделить 1 фишку из 21. — Когда же выигрывается целой ремиз 40, да сверх того берется по 8 фиш за игру, всего 24, вместе 64 фишки (что еще не составляет самого величайшего выигрыша в бостон), тогда, я думаю, и Арпагон не приметил бы, что 1/64 его выигрыша отделяется на вспоможение бедным. — В этом состоит вся тайна моего проэкта, и стоит только, чтобы все захотели и положили непреложным правилом, *чтобы одна фишка откладывалась за каждую выигранную игру в пользу бедных*, а я отвечаю, что от этих *крупиц* насытятся миллионы; что и готов доказать математически.

В бостон играют у нас по 10 рублей фишку и по 5 копеек. — Если из 1000 бостонов 200 превышают 1 рубль, да 200 ниже 10 копеек, то можно смело сказать, что остальные 600 бостонов играют по 25 копеек. — Итак, я принимаю *четвертный* за средний пропорционал, и если ошибусь в расчете, то, конечно, уменьшая, а не увеличивая.

Бостон играют в 12 туров втроем и в 6 и в 4 тура вчетвером, т. е. в 36 сдач, в 24 и в 16, — но бостон без ремизов вещь столько же редкая, как писатель без самолюбия или красавица без кокетства: следственно, тут и нейдет простое арифметическое счисление, а должно руководствоваться аксиомами, основанными на познании сердца человеческого; ибо из 10 проигранных бостонов или записанных ремизов в 9 игрок должен пенять не на счастие, а сам на себя: что также весьма легко доказать. — Против одного искусного и воздержного игрока, т. е. такого, который если поставит ремиз, так это от того только, что никакая человеческая предусмотрительность не может предохранить бостониста от ударов слепой богини, должно полагать 9 таковых:

1. Незнающий игрок.
2. Невоздержанный игрок.

3. Сердитый игрок.
4. Нетерпеливый игрок.
5. Задумчивый игрок.
6. Болтливый игрок.
7. Спесивый игрок.
8. Больной игрок.
9. Влюбленный игрок.

Против одной разумеющей и воздержной в игре барыни можно бы насчитать множество таковых, которые должны непременно ставить ремизы; но поелику я взял уже пропорцию 1 : 10, то и буду продолжать ее:

1. Барыня, плохо играющая в бостон.
2. Барыня, не считающая козырей.
3. Барыня, делающая от скорости ренонсы.
4. Барыня чувствительная.
5. Барыня говорливая.
6. Барыня, которой соседка ее не нравится.
7. Барыня, которой сосед ее нравится.
8. Барыня, томная, от расстроенных нервов.
9. Барыня, влюбленная (всегда, разумеется, в мужа своего).

Из сего исчисления я вывожу следующее заключение: поелику из 1000 бостонов 900 не проходят без ремизов, то без всякого увеличения я могу принять за основание бостон в 6 туров, и говорю: в 6-турном бостоне 24 ремиза законных — следственно 24 выигрыша, за каждый выигрыш по фишке в блюдечко для бедных, партия бостона принесет 24 фишки, т. е. 24 четверти, или 6 рублей.

Бостонов я положил 1000 на день: умножаю 1000 6-ю, произведение будет 6000 рублей на день.

В году простом дней 365, число, которое я умножаю, 6000, что дает мне 2 190 000 рублей в год. —

Два миллиона сто девяносто тысяч рублей! — М⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩ м⟨ой⟩, писав эту строку, я насилу усидел на стуле от радости, что открыл такой легкий способ произвести столь славное дело. — Подумайте, ежегодно *два миллиона!*.. Сколько слез отрется! — Сколько сердец, сжатых чугунною рукою бедности, распустятся, как злак весною от благотворных лучей солнца! —

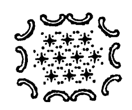
Ах! Если б проэкт мой был принят! Если б только три или четыре барыни (из таковых, каких я знаю в Москве и в Петербурге, да только назвать не смею), милые, любезные барыни — если б они, говорю я,

только захотели показать пример *заведением у себя в домах платежа по 1 фишке за каждую выигранную игру в пользу бедных,* — то я ручаюсь, что подражание им распространится по всей России, от Тобольска до Митавы, от Холмогóр до Севастополя. — Тогда я не буду жалеть о потере моих 1000 душ; все модели, махины и теории мои даром раздам по экономическим и филантропическим обществам. Воздвигну себе монумент хотя из карт, но прочнее меди и пирамид;[5] имя мое навсегда останется неизгладимо на дне каждой коробочки с фишками. — Non omnis moriar!* — Какое торжество! какая слава! М⟨милостивый⟩ г⟨осударь⟩ м⟨ой⟩, не будучи проэктистом, вы не можете и постигать чувств моих; но имея добрую душу, каковую я полагаю на вас, я надеюсь, что вы не откажетесь обнародовать мой проэкт. — Удастся: и вам миллионы скажут спасибо; не удастся: попытка не шутка, а спрос не беда. — Эта неудача будет для меня не первая и не последняя, потому что я никогда не отстану от проэктов.

Ваш и проч.»

---

* Не весь я умру (*лат.*).



ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Я был уже в дворянском собрании, мой друг, и сердцем восхищался, воображая, что, где с небольшим тому за год видны были смущение и ужас, — теперь тут радость и беспечность, где раздавалися вопль и стоны, тут гремит музыка и шумит веселье. — Сколько причин благодарить Провидение! Сколько причин гордиться именем Русского! — От сих торжественных размышлений я неприметно перешел к другим: то же собрание, хотя не в том же доме, напомнило мне приключение доброго моего приятеля Африкана Африкановича Назутовского. — Мне захотелось испытать, не пора ли его вызвать из Старожилова. — Я стал посреди залы; волны людей шумели около меня, но увы!.. Шумели все по-французски. — Редко, редко где выскакивало русское слово

Rari nantes in gurgite vasto!*[+][1]

Мне пришло на мысль, что я волшебным жезлом[2] вдруг переношу сюда человека, путешествовавшего по всей Европе, кроме России; ставлю его посреди собрания, даю ему несколько минут осмотреться и вслушаться и потом спрашиваю его: где ты? — Он мне отвечает: кажется, в Бордо или в Марсели. — Почему же так? — «Вот почему: общий язык здесь, как я слышу, французской, — следственно, я во Франции. — Судя по богатству и вкусу нарядов, по великолепной зале, должно бы мне заключить, что я в Париже, но выговор французского языка здесь не чистой: какая-то смесь, похожая на то, что я слыхал в Про-

* Редкие пловцы в пучине огромной! (*лат.*).

вансе и на берегах Гаронны — следственно, я не в столице Франции, а в каком-нибудь из главных ее городов; в котором именно, отгадать не могу». — Милостивый государь мой! ваши умозаключения прекрасны и все основаны на самых острых догадках; но со всем тем вы ошибаетесь: здесь нет ни Провансалов, ни Гасконцев, а все русские: вы — в Москве! —

Признаться надобно, мой друг, что на этот счет мы весьма несамолюбивы. — Изо ста человек у нас (и это самая умеренная пропорция) один говорит изрядно по-французски, а девяносто девять по-гасконски; не менее того все лепечут каким-то варварским диалектом, который они почитают французским потому только, что у нас это называется *говорить по-французски*. — Спроси же их: зачем это? — От того, — скажут они, — что так ввелось. — Боже мой! Да когда ж это выведется?

Посреди сих размышлений я приметил в толпе Археонова и обрадовался, что нашел, кому сообщить мою мысль. — «Пойдем, — сказал он, — отыщем два порожние стула; отдохнем и поговорим». — По счастию нашему, начался *польской*; все поднялось, и мы нашли, где присесть.

«Ты прав, — сказал мне Археонов, — утверждая, что мы на счет языка очень не самолюбивы. Если бы девяносто девять человек изо ста захотели только понять, что всякой благоразумный француз не может слышать их без сожаления, без презрения или, по крайней мере, без смеха, — то этого одного, я думаю, было бы довольно, чтобы вылечить их навсегда от несчастного упрямства целой век говорить и не договаривать. — Тогда бы ввелось в обществах наших употребление собственного своего языка, а от сего произошли бы две весьма важные выгоды: 1) собственные свои мысли, а не занятые; 2) составился бы язык *размышления* и *умствования*, или, просто сказать, *язык книжный*, которого до сих пор у нас еще нет, да и быть не может, потому что, сколько бы Академии ни потели над словарями и грамматиками, проза чистая, логическая не составится, доколе она сперва не обделается в обществах, образованных вежливостию и просвещением. — Язык разговорный к языку книжному точно то, что рисованье к живописи. — Не будет первого, не будет никогда и последнего: ибо вес и значение словам дает употребление, а не определение академиков. — Оттого-то все эти толстые словари кажутся мне похожими на арсеналы, в которых тьма древних и новых оружий, развешанных по стенам в систематическом порядке. — Войди в них, и с первого взгляда покажется тебе сокровище необъятное: но как дело дой-

дет до вооружения, так и не знаешь, за что и как приняться, потому что оружие знакомо тебе только по одной надписи, которая висит над ним, а не по ручному употреблению».

«Как же у нас составиться *разговорному языку?*» — «Так невозможно, как нельзя было достроиться башне Вавилонской. — Войди в любое общество: презабавное *смешение языков*![3] Тут слышишь нормандское, гасконское, русильонское, прованское, женевское наречия; иногда и русское пополам с вышесказанными. — Уши вянут! — Я тогда невольно вспоминаю третью Ювеналову сатиру[4] и нахожу, что мы с этой стороны удивительно как похожи на римлян, у которых под конец греки были точно то, что у нас французы. — К ним корабли с востока, вместе с черносливом и смоквою,* привозили греков всякого разбора — танцмейстеров, актеров и проч. и проч. и — учителей. — К нам, на Любских судах,[5] вместе с устерсами и Лимбургским сыром, приплывали целые грузы французов, — парикмахеров, поваров, модных торговок и учителей. — Ювенал жалуется, что эти подлые Гречонки (Graeculi), вкравшись в знатные римские домы, умели делаться душою хозяев, хозяек и наследников их:

Viscera magnarum dominium dominique futuri.**+6

У нас не плоше этого французёнки не только в столицах, но и по всему пространству России рассыпались и находили средства овладеть умами во многих домах, как знатных, так и незнатных. — Если же к этому взять еще Ювеналово описание гибкости греков и их искусства подбиваться и угождать, то подумаешь, что сатира эта писана не в Риме, а здесь и что в ней речь не о греках, а о французах. — Я помню это место наизусть: позволь мне только вместо Graeculus сказать Franculus, и ты сам согласишься, что это выйдет не в бровь, а в глаз:

Ingenium velox, audacia perdita, sermo
Promtus, et Isaeo torrentior. Ede quid illum
Esse putes? Quemvis hominem secum attulit ad nos:
Grammaticus, Rhetor, Geometres, Pictor, Alyptes,
Augur, Schoenobates, Medicus, Magus; omnia novit.
Franculus esuriens in coelum, jusseris, ibit.

---

* Advectus Roman, quo prima et coctona vento.
Тот, кто в Рим завезен со сливами вместе и смоквой (*лат.*).
** В недра знатных домов, где будут они господами (*лат.*).

Ad summam, non Maurus erat, neque Sarmata, nec Thrax,
Qui sumsit pennas, mediis sed natus Athenis.*+7

Кто же в наши времена первый полетел по воздуху? Француз Монгольфье.[8] — Далее:

Natio comoeda est. Rides? majore cachinno
Concutitur; flet, si lacrimas conspexit amici,
Nec dolet; iguiculum brumas si tempore poscas,
Acciput endromydem; si dixeris, aestuo, sudat.**+9

Сколько я видал на роду моем таких пройдох! Добрые наши отцы и матери, бывало, ими не могут нарадоваться: кто говорит — *у меня предорогой француз!* — другая — *моя француженка бесподобная!* Подлинно так: мы видим этому прекрасные плоды. — Дети ваши, вместо того чтобы изъясниться на своем природном языке, предпочитают болтать по-русильонски и бог знает как; да где же? на развалинах Москвы!! — Враги наши и рода человеческого пришли к нам, ограбили олтари, убили наших братий, смешали их кровь с пеплом сожженных наших жилищ, а мы — на этом самом пепле, еще не остылом, платим им дань уважения, говоря их языком. О!..»

Археонов мой — человек предобрый и никого умышленно оскорбить не в состоянии, но одарен от природы душою сильною, горячею, и потому выражения его соразмерны пылкости его чувств, без этой робкой осторожности, которая часто других заставляет опасаться, чтобы сказанное вообще не было принято на чей-нибудь счет особливо. — Зная его с этой стороны и опасаясь, чтоб он еще более не разгорячился и чтобы

---

* Ум их проворен, отчаянна дерзость, а быстрая речь их
Как у Исея течет. Скажи за кого ты считаешь
Этого мужа, что носит в себе кого только хочешь:
Ритор, грамматик, авгур, геометр, художник, цирюльник,
Канатоходец и врач, и маг, — все с голоду знает
Этот французик; велишь — залезет на небо;
Тот, кто на крыльях летал, — не мавр, не сармат, не фракиец,
Нет, это был человек, родившийся в самых Афинах (*лат.*).
(Перевод Д. Недовича и Ф. Петровского).

** ...комедианты —
Весь их народ. Где смех у тебя — у них сотрясенье
Громкого хохота, плач — при виде слезы у другого,
Вовсе без скорби. Когда ты зимой попросишь жаровню,
Грек оденется в шерсть; скажешь «жарко» — он уж потеет (*лат.*).
(Перевод Д. Недовича и Ф. Петровского).

его не подслушали, я решился пресечь нашу беседу: напомнил ему, что время уже за полночь, и мы расстались.

Приехав домой, я долго не мог заснуть, муча воображение мое для отыскания настоящей причины упрямства нашего *говорить языком чужим, а не своим*, и признаюсь, что все придуманное мною осталось для меня неудовлетворенным. *Привычка* — единственная отговорка, которая служить может, но как ни сильна власть ее над людьми, особливо когда воспитание ее вкоренило, все, кажется мне, не должно бы ей устоять противу действия двух причин, коих влияние столь сильно: именно *самолюбия* над каждым и *национальной гордости* над всеми вообще. Когда мне непостижимо, почему у нас так много умных людей, которые, вместо того чтобы изъясняться чисто и складно своим природным языком, добровольно осуждают себя на целый век лепетать нормандским или гасконским наречием, то еще менее того понимаю я, как русской с толикими причинами гордиться всем тем, что русское, может предпочитать французский язык, положим и чистой, хотя этого нет и быть не может, тому, которым говорят 40 миллионов народа, величественнейшего, удивительнейшего, доказавшего пред лицом вселенной, что доблести рода человеческого еще не истощились веками и что священные подвиги на полях Маратонских и в ущелье Термопил[10] не выдумки, а истина. На это мне часто возражают: *что общего между национальною гордостию и языком, которым мы говорим?* — Мне кажется, очень много. — Положим, будто бы пунической язык был в моде у римлян до нашествия Аннибалова:[11] неужели, по изгнании его, сенаторы и рыцари римские все бы еще продолжали говорить карфагенским языком, утвердясь на том, что они к нему привыкли? — Конечно, нет. — А мы? — И у нас вторая Пуническая война, и у нас был Фабий,[12] уничтоживший все замыслы злодея не в 16 лет, а в 16 недель. — И наш Сципион уже в Африке[13] — а мы? — Все-таки *по-пунически!* — Когда это кончится? — Желать, чтобы как можно скорее — должно; а ожидать — еще нельзя. Да, кажется, и надеяться невозможно во время нынешнего поколения. От воспитания будущего будет зависеть успех сего предмета общих желаний людей благомыслящих. — Если мужчины получат воспитание классическое, женщины будут учиться новейшим языкам с тем только, чтобы читать на них, а тот и другой пол говорить будут в обществе по-русски, — тогда и у нас будет свой язык, обработанной для всех родов словесности, орудие, готовое для людей, рожденных с *талантами.* — Сей ход, непременный для образования всех языков вообще, у нас еще вдвое необходимее по той причине, что мы не имеем того, что

3 Зак. № 3250

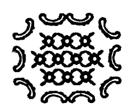
существует у всех прочих просвещенных народов: *состояния ученых людей*.

Везде, только не у нас, есть сословия писателей, к которым люди готовятся и в оные вступают точно так, как мы вступаем в военную или гражданскую службу; у нас того вовсе нет: мы все пишем, так сказать, ad libitum,* мы dilettanti, а не virtuosi;** точно то в сравнении с *писателями по состоянию*, что в музыке охотник к настоящему музыканту. Положим, что при рождении моем сам Аполлон благословил меня лирою; несмотря на то, если музыка не мое ремесло, то смычок в руках моих никогда не будет тем, что он в руках у Роде.[14] — Ко всему необходим навык, и употребление придаст механическую способность даже в действиях ума, которая хотя не заменяет таланта, но дает эту скорость в работе, эту легкую и ясную методу в расположении оной, без коих часто и гений, не только что обыкновенный человек, принимаясь за дело, не знает, с какой стороны начать и где кончить.

---

* по желанию (*лат.*).

** любители- виртуозы (*итал.*).



ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ*

Ты пеняешь мне, друг мой, — и я виноват: давно не писал к тебе. Сперва поездка в Петербург пресекла мою с тобою переписку, потом последние политические происшествия привели душу мою в такое сильное движение, что я долго не в силах был приняться за перо.

Ты требуешь заключений моих о последних происшествиях!.. Не ожидай их. Как в мыслях, так точно и в деяниях есть степень выспренности, на которую взирая все умственные силы столь крепко потрясаются, что дух в нас изнемогает от избытка восторга, радости и изумления: вот действие, которое произвело надо мною взятие Парижа.

Александр!.. торжество добродетели, мужества, великодушия!.. На это у меня есть слезы, а слов нет. Такой драмы, друг мой, еще не бывало на театре света. Забавники вправе сказать о ней, что она исчерпана в Шекспировском вкусе. И в самом деле: первое действие на *Немане*; второе в *Москве*; третие под *Лейпцигом*; четвертое за *Рейном*; пятое вне и в стенах *Парижа*, — и как ход трагедии, так и развязка ее самая неправильная: везде Deus ex machina.**

Катастрофы нельзя предвидеть до самого конца: в предпоследнем явлении кровь еще льется на высотах Монмартра, а в последнем торжественный въезд Завоевателя в Париж; радостные клики — побежденных, слезы — восторга и благодарности... Ангел-миротворец! лишь ты вступаешь во град отриновенный — и кажется, небо снимает с него прокля-

---

* Издатели считают обязанностию принесть почтенному сочинителю сих писем, именем читателей своих, искреннюю благодарность за возобновление сих приятных подарков.

** Бог из машины (*лат.*).

тие, 25 лет на нем лежавшее; слепотствующие чада Франции зрят снова свет истины, оплакивают гибельное свое заблуждение и возвращаются в объятия отца своего, столь долго томившегося в изгнании. — Великий! чье это дело? — Божие, конечно! и твое, ибо ты избран на то Провидением. — Нет, друг мой, не мне описывать такие события: орел прямо глядит на солнце, а мое слабое зрение не в силах снести блеска величия и славы, которыми Александр окружил себя и Отечество свое. Не только нам, современникам, но и в будущие времена трудно будет историку изобразить нынешнее происшествие.

Тит Ливий и Тацит мастерски описали[1] кровавые битвы, народные смуты, ужасы тирании: но удалось ли бы им в равном совершенстве представить потомству величественнейшую нравственную картину: торжество кротости над дерзостию, свободы над рабством; одним словом, всех небесных добродетелей над всеми пороками ада? Не думаю; человек как будто осужден иметь более способностей сильно выражать зло, нежели добро: от того легче писать будет историю Бонапарта, нежели Александра, и от того Дант удачнее пел об аде, нежели о рае...

Кстати, речь зашла об аде, чтобы поговорить с тобою в последний раз о Бонапарте. Не поздравляешь ли ты меня, друг мой, с тем, что этот человек оправдал в полной мере мои о нем заключения? Не отдаешь ли ты мне той справедливости, что я на счет его никогда мыслей моих не переменял, никогда в нем не обманывался? — что он в глазах моих никогда не был *великим*? — Сколько голосов было против меня!

От того, что большая часть людей смешивает вместе два понятия, различные между собою: *чрезвычайного* и *великого*, — не рассуждая, что человек может сделаться *чрезвычайным* единственно от обстоятельств, но чтобы истинно быть *великим*, надобно родиться таковым.

Никогда обстоятельства столько не благоприятствовали человеку, и никогда не бывало безумца, который бы так мало умел ими воспользоваться, как Бонапарте. От него зависело с 1801 года сделаться истинным героем, великим человеком, а он предпочел быть бичом рода человеческого.

Мудрено, кажется, будучи в полном уме, сделать такой странный выбор; и остается решить вопрос: умел ли Наполеон быть великим, да не хотел, или хотел да не умел? — Я склоняюсь на последнее и заключаю, что неумение его происходило от двух причин: 1-я, недостаток истинных дарований; 2-я, вскружение головы его от обстоятельств, слишком ему благоприятных, в которых, как говорится, он не умел найти себя.

Одним словом, он... (простят ли мне такую дерзость бывшие его обожатели?) он совершенно с ума сошел; точно так помешался на *всеобщей монархии*, как Дон Кишот на восстановлении странствующего рыцарства; с тою, однако же, разницею, что герой Ламанхский был истинно добрый человек, а он злодей, — что цель того была хотя мечтательная, но полезная, а этого мечтательная и пагубная, — что кастильянец был храбр, чистосердечен и великодушен, а корсиканец дерзок, лукав и подл, — что первый принимал кукол за людей, а последний людей за кукол, — и особливо с тою большою разницею, что, читая «Дон Кишота», нельзя не полюбить его, а вспоминая о Наполеоне, нельзя не содрогнуться и его не возненавидеть.

Я ищу в Бонапарте хотя одной черты истинного величия и не нахожу ее. Все то, что в течение последних 13 лет служило к поражению умов, принадлежит не ему, а обстоятельствам; или, лучше сказать, — этой политической горячке, которой от времени до времени бывают подвержены народы: все же то, что собственное его, носит на себе печать или безумной дерзости, или зверского свирепства, или самой низкой подлости. Первый шаг его на поприще власти ознаменован был трусостию; последний — подлостию. По пословице: *каков в колыбельку, таков и в могилку*. Если бы не брат его Луциян,[2] то не бывать бы ему никогда первым консулом, а если б не отец наш Александр, то он, может быть, и умер бы, оставя по себе людей, предубежденных на счет мнимого его величия: но Луциян поддерживал его, когда он струсил на пятисотном совете, а Александр, низложив тирана, осудил его — жить.

Then yield thee, coward,
And live to be the shew, and gaze osth'time.
Well have thee, as our rarer monsters are,
Painted upon a pole and under-writ;
Here may you see the tyrant!*

---

* «Macbeth». Act. V. Scene VII — *Перевод*: Тогда покорись, коварный, и живи только для того, чтоб быть позором и посмешищем современникам. Пусть тебя показывают, как редкого зверя, под вывескою и с подписью: здесь можно видеть тирана.

Рассуждая о нынешних происшествиях, я часто вспоминаю Шекспира; и это не удивительно: он был один из любимых моих собеседников во весь период, столь мрачно начавшийся и столь счастливо и славно для нас оконченный. Говорить, что этот исполинский гений был один из величайших живописцев сердца человеческого, — было бы повторять то, что всем образованным людям известно; но как он не всякому русскому читателю коротко знаком и многим, конечно, не попадался в руки, то вздумалось мне привести здесь отрывок сцены, в которой Шекспир довершает изображения любимого героя своего Генриха V.[3] Приложение всякий легко сделает. 〈Отрывок из сцены см. далее на с. 70〉.

Признаюсь, что мне было бы очень досадно, если бы это иначе кончилось, а теперь торжествую: конец увенчал дело, и Бонапарте, оставшись в живых после Монмартра, для того, чтобы писать историю свою, достойным образом окончил политическое свое бытие. С этим объявле-

---

Азинкурский победитель на самом поле сражения в сердечном умилении восклицает:

O! Cod thy arm was here!
And not to us, but to arm alone
Ascribe we all. When, without stratagem
But in plain Shock and even play of battle,
Was ever known so great and little lofs,
On one part and on th' other? — Take it, God,
Torit is only thine.

Exeter.

T'is wonderful!

K. Henry.

Come, go we in procession to the village;
And be it death proclaimed through our host,
To boast of this, or take that praise from God,
Which is his only.

Fluellen.

Is it not lawful, an please Your Majesty, to tell how many is killed?

K. Henry.

Yes, Captain; but with this acknowleggement,
That God fought for us. — —
Do we all holy rites;
Let there be sung: Non nobis and Te Deum.
The dead with charity enclosed in clay,
And then to Calais; and to English then;
Where never from France arrived more happy men!*

Перевод: *Генр.* О Боже! Се перст твой виден здесь! Итак, не себе, но единой деснице твоей мы все приписуем. Случалось ли когда, чтобы без козней, грудь против груди, в открытом поле, с одной стороны, была столь великая, а с другой — столь малая потеря? — Прими, Всесильный! се дело рук твоих.

Экзетер. Чудесно!

Генр. Пойдем, друзья; за крестным ходом вступим в селеиие. Да под смертною казнию воспретится войску нашему величаться сею победою и приписывать себе хвалу, единому Богу принадлежащую.

Флуеллен. Но позволяешь ли, государь, объявить хотя о числе убитых?

Генр. Позволяю с тем однако же призианием, что поборником за нас был Бог. — Пойдем, исполним священные обряды молебствия. Да воспоют: *Не нам, не нам, а имени твоему и тебе Бога хвалим.* По сем с христианскою любовию предадим земле остатки убиенных; потом в Кале, а потом отправимся в Англию, куда еще никогда не возвращались из Франции счастливейшие люди!

нием я навсегда с ним прощаюсь и благодарю его за то, *что он меня не жаловал.*[4] Я же с моей стороны как прежде его ненавидел, так и теперь от всей моей души презираю.

Вот, друг мой, все то, что я мог сказать в ответ на требования твои: говорить достойным образом о славе, которою озарил нас Александр, не по силам моим, а писать к тебе о политических обстоятельствах вообще или бесполезно, или рано; потому что если ограничить себя рассказами о том только, что происходит, то на это есть газеты, если же из соображений настоящего с прошедшим выводить заключения о будущем, то не только что рано, да и признаться, что я до сих пор ничего не вижу такого, почему бы космополит мог основательно питаться надеждою на постоянство блага.

Ты меня спросишь: почему это? — Я тебе скажу: потому что, если в 20 лет я, как и всякой другой, предавался прелестным мечтаниям воображения, зато переступив за 40, холодный рассудок сделал мне неприятную услугу — разрушил очарование и показал вещи не в том виде, в каком они кажутся, а в том, в коем они действительно суть; например: я вижу, что в умах еще очень много брожения, а не вижу еще того, что может произвести осадку и отделить вещества вредные от полезных.

Я вижу совершенно ослабшими некоторые пружины, которыми прежде в устройстве и порядке двигалось общество, а в замену сих пружин не вижу еще никаких других. Таким образом, и на счет французов я не спешу радоваться. Желаю им всякого блага, не по христианской добродетели, повелевающей за зло платить добром, но потому, что, занимая средоточие Европы, французы более других народов могут иметь непосредственное влияние на счастие или несчастие образованной части рода человеческого. Но желать одно, а надеяться другое: чтобы вдруг переродиться целому народу, на это надобно чудо, а пока оное не совершится, я до тех пор все буду видеть во французах то же легкомыслие, ту же любовь к перемене, ту же способность увлекаться мечтами из крайности в другую.

Благоразумия и умеренности Лудовика XVIII-го нельзя довольно выхвалить; но кто поручится в том, что подданные его будут уметь ценить эти добродетели?.. Итак, подождем еще делать заключения: в истекшем веке, между множеством дурных семян, посеяно несколько и добрых; теперь они заглушены репейником и время жатвы еще не приспело. Счастливы внучата наши, если они будут уметь выполоть дурные травы и пожать плоды добрые с земли, — удобренной кровию их предков!

Счастливы!.. как приятно желать этого и как трудно надеяться тому, которому История открыла, что род человеческий как будто осужден

всегда обращаться в круге заблуждений, из коего редко-редко кто заглянет за черту и то подобно Моисею, который видел только обетованную землю, а не вступал на нее.[5] Рим начался монархиею и подпал деспотизму. Тарквиний изгоняется,[6] власть делится, и выходит Аристократия, то есть: вместо одного тирана — сто. Против Аристократии борется Демократия, последняя одолевает первую и кончится — ужаснейшею тираниею. Все тот же круг, из коего Рим выбиться не мог. Но что я говорю о древних! Французы, острые, скорые французы, в 20 лет пробежали вверх и вниз лестницу, по которой римляне тащились 700 лет! Как буря на море то вздымает волны до облаков, то опускает их в бездну, так страсти волнуют мысли наши и не дают им остановиться на благословенной средине, равно отстоящей от обеих крайностей. От того мы видим, что заблуждения самые противуположные по пятам следуют друг за другом. Вчера жарили на кострах еретиков, жидов и детей, рожденных от брака чорта с колдуньями, — сегодня ничему не верят, — а завтра — кто знает? — может быть, и св⟨ятая⟩ инквизиция снова возникнет со всем прибором своих зеленых свеч и шапок с изображением чертей. — То век такой, в котором все мчится по неизвестным морям, за корицей и гвоздикой; то настанет век *сахарной* — т⟨о⟩ е⟨сть⟩ век, в котором химические лаборатории представляют избытки всего земного шара и *сухими извлечениями* заменяют торговлю обеих Индий.

Иногда полководцы в кружевных манжетах, а иногда и регистраторы в ботфортах. Должно, однако же, согласиться, что между костром инквизиции, между сахаром и свеклою, между лаптями и кружевом, конечно, есть средина: но вся беда в том только, что ее держаться не умеют. Природа говорит: *пользуйся, но с умеренностию*, а человек кричит: *дай все вдруг проглотить*. — От этой неумеренности во всем столько нескладицы, столько противуречия, даже и в тех стремлениях, коих предмет сам по себе хорош и похвален!

Не знаю, успею ли еще раз писать к тебе из Москвы: я сбираюсь в деревню. Погода стала прелестная, а теперь и в душе моей так же чисто и тихо, как на небе. Вергилиевской Latis otia fundis* ожидает меня.[7] Я давно им не наслаждался: и мог ли я чувствовать прелести природы, тогда как сердце мое ежечасно трепетало о судьбе милых ему! Когда я мог себе сказать: *ты наслаждаешься, а, может быть, в эту самую минуту роковой свинец*... Мысль ужасная! — Ах! спасибо и стократ спасибо ему... ему, который превознес, утвердил, прославил Отечество наше и завоевал — мир.

---

* Лотос обретает покой (*лат.*).

Я таких мыслей, что и позднейшее потомство будет благословлять его победы за то, что он навсегда испортил ремесло завоевателей, сделавшись на сем поприще неподражаемым. И в самом деле, положим, что родится человек с равными Александровым качествами;* что, подобно ему, он будет одарен великодушием, человеколюбием, кротостию, мужеством, твердостию, храбростию — даже и наружною красотою.

Но сколько еще потребно будет внешних, не зависимых от него обстоятельств, чтобы все сии достоинства могли во всем блеске своем явиться на позорище света! Надобно, чтобы он управлял таким народом, каков российский; чтобы Европа вся стенала под таковым же игом рабства. —

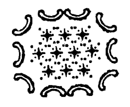
Возможно ли ожидать, чтобы все это могло опять встретиться вместе и так кстати, как в эпической поэме все части оной приведены к одной точке, к одной цели, с тем, чтобы выставить героя в самом выгодном и блистательном для него виде? —

Нет! Алкид наш на поприще славы воинской прошел до пределов возможности[8] и на краю поставил столпы, за которые никто далее не пойдет. Nec plus ultra:** почему и можно надеяться, что в будущие времена люди, рожденные с сильным стремлением к славе, познав, что на поле брани не только что превзойти, но и сравниться с Александром невозможно, оставят непреодолимое и будут стараться не оружием, а иным чем пролагать себе путь к бессмертию.

---

* Это дело невозможное! — *Изд.*

** Дальше нельзя (*лат.*).



ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

В школе, где я учился, был один Профессор, страшный охотник до афоризмов и ревностный почитатель Сенеки. Как наставник Нерона заключал письма свои к Луцилию каким-нибудь кратким нравоучением,[1] так наш Педагог никогда не пропущал, чтобы при выпуске из классов не потчевать нас какою-нибудь латинскою пословицею.

Однажды вздумалось ему подарить нас следующею: Ars longa, vita brevis.* С этим благословением при отпуске мы пошли играть, и когда к ночи возвратились в покои, чтобы по обыкновению отработывать задачи к завтрашнему утру, тогда классный товарищ мой, вместо того чтобы приняться за тему, сложил порядочно все свои тетради и книги, запер их в ящик и начал раздеваться.

Удивленный таким его поступком, я спросил: что это значит? — «Разве ты не слыхал того, что учитель сказал нам сегодня при выпуске из классов? Ars longa, vita brevis; не значит ли это: *наука долга, а жизнь коротка?* то есть: сколько ни учись, а жизни не станет на то, чтобы доучиться; ergo** — не для чего и ломать себе головы по-пустому, — а затем прощай, добра ночь!»

Афоризмы — *отделения* — или, как в общем смысле принято, краткие наставления опытности и мудрости, весьма хороши сами по себе, да только и приложение их требует большой рассудительности, а не то, по самой краткости и мнимой их ясности, они так удобны прикладываться криво и некстати, что нередко происходит от того удивительная в по-

---

* Искусство обширно, жизнь коротка (*лат.*).[2]

** следовательио (*лат.*).

нятиях кутерьма. Ничем не удачнее классного товарища моего, я часто слышал приложение следующего стиха:

La critique est aisée et l'art est difficile.*

Плавный стих сей другого смысла в себе не заключает, кроме того, что *легче находить пороки в других, нежели самому быть в искусстве совершенным*; но стих сей, не дидактической, а просто принадлежащий разговору комедии, у нас какими-то судьбами сделался афоризмом. Переводя его буквально, говорят: *критика легка, а искусство трудно*, и лишь примется кто за критику, то Цензор стоит уже за плечами у него, и, грозя пальцем, повторяет:

La critique est aisée et l'art est difficile.

Критика легка! — Что разумеют под словом критика? — Неужели злую насмешку, шпынство личности, кощунство, брань? — В этом смысле, конечно, критика легка, да и прибавить можно, что нет ничего на свете ее подлее.

Но такое понятие не есть определение, а бесчестие критики, которая по точному смыслу слова значит *суд*, производимый над каким-либо предметом искусства, в котором рассматривается художество отвлеченно от художника, с тем намерением, чтобы сделать справедливую оценку дарованию, показав красоты, но вместе и недостатки, тем вреднейшие, что толпа подражателей перенимает скорее слабые, нежели хорошие места. — Вот что есть настоящая критика!

Предводимая беспристрастием, очищенным вкусом, учением не поверхностным, а глубоким, она не только что *не легка*, но едва ли уступает в *трудности* и самому искусству. — Душевно желаю, чтобы такая критика возникла у нас как можно скорее, чтобы журналисты не трепетали от одного имени ее; чтобы писатели и художники видели в ней справедливую оценку своим дарованиям и чтобы актеры не сердились на нее, когда беспристрастный судья посоветует им словами Шекспира *не пилить воздуха руками*.**[+3]

По всему кажется мне, что нынешние французы почитают критику очень *легкою*, от чего происходит, что и самое искусство их сделалось очень *нетрудным*: стоит разложить перед собою бумагу, обмакнуть перо

---

* Критика легка, а искусство — трудно (*франц.*).

** And do not saw the air too much with your hand thus; but use all gently. («Hamlet 2». Act III, sc. 3.) — Всем питомцам Талии и Мельпомены советую как можно чаще перечитывать Гамлетово наставление актерам.

в чернила и писать все, что взбредет на ум, — и выйдет то, что по большей части пишут нынешние французы. От того теперь у них хотя стонут день и ночь типографские станки, хотя полки в Парижских книжных лавках ломятся от тяжести печатного товара, хотя стихи и проза сыплются градом, а книги — давно нет ни одной.

Взглянем же на росписи наших Глазуновых[4] и признаемся с сожалением, что и у нас печатают очень много — переводов с французского. «Так надобно, — скажут мне, — чтобы сперва было у нас много собственного своего, а потом критика возникнет уже сама собою». — Нет! где столько печатают переводов с французского, как у нас, там критика становится уже необходимою не столько для оценки дарований у себя, как для обнаружения дурного вкуса в тех, которым единственно мы привыкли подражать.

Лессинг, один из величайших критиков, возник в Германии прежде еще, нежели образовалась истинная немецкая литература, и сколько он принес пользы отечественной словесности! А мы почти в том же положении, в котором находились немцы, когда Виланд начал писать и предрассудок Фридериха II противу своего языка[5] действовал еще над многими умами. Но немцы, по крайней мере, всегда шли такою стезею, по которой рано или поздно должны были дойти до той степени совершенства, на которой теперь находятся: они всегда учились древним.

Мы же, напротив того, мало или вовсе не знакомы с настоящими подлинниками, приняли французский язык за классический, да хотя бы в нем держались одних мастерских произведений века Лудовика XIV, а то все без разбора принимаем, лишь бы оно было французское. От сего произошло то, что французы у нас одних до сих пор заменяют греков и римлян, а подлинниками нашими сделались французские переводы.

Поводом сих размышлений был попавшийся мне сегодня в руки французский перевод Клаудианова «*Похищения Прозерпины*».[6] Мне вздумалось, друг мой, заметить в нем некоторые только места, по которым ты будешь уже в состоянии судить, какой мы получим драгоценный подарок, если кому-нибудь вздумается перевести Клаудиана с *французского языка*. — Вот заглавие книги:

*Œuvres complettes de Claudien, traduites en français pour la première fois, avec des notes Mythologiques, Historiques et le texte latin. — A Paris, chez A. S. Dugour et Durand, Libraires, rue et Hôtel Serpente. Floréal, an XI.**

* Полное собрание сочинений Клаудиана, впервые переведенных на франц. язык, с мифологическими и историческими примечаниями и латинским текстом. — Издано в Париже, издателями А. С. Дюгуром и Дюраном, ул. Отель Сепрант. Год XI, месяц флореаль (*франц.*).

Такая вывеска обещает много; посмотрим:

— Бог ада посылает Меркурия к Зевсу, — *«вещает ему громовым гласом: все жители тартара вострепетали и умолкли»* —

....tunc talia celso
Ore tonat: tremefacta silent dicente tyranno Atria

— Il *veut* parler* (хочет: следовательно, не успел еще говорить; однакоже) au son de sa voix terrible, l'abyme se tait épouvanté — sa bouche tonnante vomit *alors*** (когда все замолкло, а он еще не говорил) ces accens; *Tome 1. P. 11****

Я в одиночестве, — говорит Плутон, — *между тем как ты, Зевс, блаженствуешь, окруженный счастливыми чадами своими.*

— *...Te felix natorum turba coronat.*

— A tes cotés *folâtre* un essaim d'heureux *nourrissons.*[4*]

Подумаешь, что он говорит о детях какого-нибудь мещанина в предместии Сент-Оноре,[7] а речь идет о *рое* первостатейных богов Олимпа. Как кстати тут употреблено слово *резвится,* folâtre! (Ibid.)

Клаудиан, описывая Прозерпину, говорит, что *она достигла лет, к замужеству зрелых; что многие ищут ее руки и что Марс и Феб соперничают в любви в ней.*

Jam vicina toro plenis adoleverat annis;
Virginitas: —
Personat aula procis, pariter pro virgine certant.
Mars clypeo melior, Phoebus praectantior arcu.

Déjà touchait a l'âge de l'hymen, Proserpine, *passée des bras de l'enfance dans les bras de la jeunesse.* —[5*]

Какая счастливая передача из рук в руки! но все это ничего против: —

Mille amans remplissent à l'envi son palais *de leurs soupirs.*[6*] Вот прямо французские любовники: и Марс, и Феб, без вздохов ни на час! — Page 15.[7*]

---

* Он хочет говорить (*франц.*).

** При звуке его ужасного голоса жители Тартара в ужасе замолкают — из его гремящих уст изверглись тогда (*франц.*).

*** Эти звуки; том 1, с. 11 (*франц.*).

4* Вокруг тебя резвится рой счастливых питомцев (*франц.*).

5* Прозерпина, перешедшая из рук детства в руки юности, уже достигла возраста замужества (*франц.*).

6* Тысяча влюбленных непрестанно наполняют вздохами ее дворец (*франц.*).

7* Стр. 15 (*франц.*).

Керера не хочет расставаться с дочерью, но, опасаясь похищения, скрывает ее в Тринаирии, где Киклопы сооружают ей жилище.[8] Тщетная предосторожность! Зевс определил Прозерпине быть супругою Плутона[9] и повелел Венере явиться, в отсутствие Кереры, к дочери ее, с тем, чтобы заманить ее из чертогов на поля Энны и чрез то доставить богу ада удобный случай похитить обреченную ему добычу. Венера, в исполнение воли отца богов, является к Прозерпине и приводит с собою Палладу и Диану,[10] не подозревающих матерь любви в коварных замыслах ее. — Тут Клаудиан описывает здание Киклопов: «*высокую железную ограду, железом окованные врата, заклепы стальные*» —

...stant ardua ferro
Moenia, ferrati postes: immensaque nectit
Claustra chalybs: —

Le fer *en soutient* les murs (du palais)* — (как будто контрфорсы) le fer *en forme* les *portes, barrières immenses,* que *fixent* des *gonds* d'acier.**

Этому французу можно сказать по-французски: D'abord, Monsieur, les portes (Postes) ne peuvent être *barrières,* mais ne sont jamais des barreaus; ensuite *ferrati postes* sont des portes *ferrées* et non pas *de fer*; et arpès tout les gonds ne *fixent* point les portes, mais servent à les faire rouler sur elles-mèmes, c.a.d. s'ouvrir et se fermer, ce qui est tout à fait le contraire de *fixer* une porte: d'où il s'ensuit que des *gonds* qui *fixeraient,* ne seraient au bout du compte que de méchans gonds, rouillés ou bien mal fabriqués, ce qui, certes, ferait peu d'honneur aux artisans des foudres de Jupiter. — Il y apparence qu'au lieu de *gonds,* vous avez voulu dire *battars.****

За сим следует в подлиннике описание, прекраснейшим поэтическим языком, трех главных предметов ковальной работы: 1) битья молотом, 2) раскаливания, 3) закаливания железа.

---

* Железо поддерживает стены ⟨дворца⟩ (*франц.*).

** Из железа сделаны двери, громадные заграждения, которые закреплены петлями (*франц.*).

*** Во-первых, сударь, двери ни в коем случае не могут запираться на *засов*; затем *ferrati* postes значит *двери,* обитые *железом,* а не *железные* двери; и кроме того, петли никак не *закрепляются* петлями, а служат, чтобы они могли вращаться, т. е. открываться и закрываться, что прямо противоположно *укреплению* дверей: из этого следует, что *петли,* которые *укрепляли* бы их, были бы в конце концов плохими петлями, проржавевшими или плохо сделанными, что, разумеется, сделало бы мало чести мастеровым, изготавливающим громовые стрелы Юпитера. — Создается впечатление, что вместо *петли* вы хотели сказать *щеколды* (*франц.*).

— 1) nillum tanto sudore Pyraenom Nec Steroepes, construxit opus; 2) nec talibus unquam Spiravere notis animae; 3) nec flumine tanto Incoctum maduit lassâ fornace metallum.*

Переводчик знал, что *flumen* по-латине значит *река*, а, по-видимому, не ведал того, что в поэтическом языке *flumen* принимается вообще за *воду*, из чего вышло у него собственное свое рукоделье: «*расплавленный металл, чугун*» — вот слова его:

On ne vit jamais Stérops et Pyraenum arroser leurs travaux d'une sueur plus abondante, les vents s'echapper avec plus de violence de leurs bruyans soufflets, et *les métaux fondus, couler* à plus grands flots du sein brûlant de la fournaise.**

В Ролленевы времена и 12-летний школьник не сделал бы такой ошибки; ибо, учась, как в старину во Франции учились, он, конечно бы, знал, что глагол madeo никогда ни значит *течь*, а *быть мокру, омочену, облиту* — page 23.

Уже богини Олимпа у Прозерпины; ночь наступает и — apportait le repos et *jonchait sur la terre les pavots* languissans du sommeil.***

Как бы осмелиться русскому варвару заметить варваризмы в просвещенном французе! но здесь он так глаза колет, что нельзя утерпеть и не сказать:

Monsieur! le verbe *joncher* est toujours suivi de la préposition *de*. Le plus grand de vos maîtres, Racine, a dit:

Et *de* sang et *de* morts vos campagnes jonchées,

Et non pas: le sang et les morts *jonches sur vos campognes*. — Ainsi fallait-il dire: jonchait la terre *de* pavots et non pas jonchait *sur* la terre, etc.4*

Вторая песнь начинается описанием наряда Минервы[11] и Дианы. — *Тритония*, — говорит Клаудиан, — *держит в руке копье ужасное, которое теряется в облаках: оно подобно древу* —

---

* 1) никоим образом нельзя создать таким тяжелым трудом творение Стеропу; 2) никогда не клеймили души таким раскаленным тавром; 3) не такой струей обожженной металл закаливается в угасающей печи (*лат.*).

** Никто не видел Стеропа и Пиренума, поливающих более обильным потом свои труды, ветров, более сильно вырывающихся (дующих) от их шумных мехов и более могучих потоков расплавленного металла, изливающегося из пылающей груди горнила (*франц.*).

*** Приносит отдохновение и покрывает землю томным снегом (*франц.*).

4* Сударь! Глагол *joncher* сопровождается всегда предлогом *de*. Величайший ваш поэт, Расин, сказал:

И кровью и мертвецами покрыты ваши поля,

а не: *кровь и мертвецы покрылись на ваши поля*. — Итак, следовало сказать: jonchait la terre *de* pavots, а не jonchait *sur* la terre, и т. д. (*франц.*).

Hastaque terribile surgens per nubila guro
*Instar habet sylvae.**

Переводчик нашел в лексиконе, что *sylva* значит *лес*, и пишет:

Sa lance, que l'oeil épouvanté suit à travers
La nue, parait *une forêt* altiere. — **

Une lance, que parait *une foret!**** — Никакого бревна принять за лес невозможно; это называется по-французски же:

Prendre des vessies pour des lanternes.[4*]

Два пояса, — продолжает Клаудиан, — *один под самою грудью, другой немного пониже, препоясуют стан Дианы, так что хитон ее опускается только до колен.* — Всякой удобно поймет, что таков должен быть костюм богини Ловитвы и что было бы ей очень неловко гоняться за зверьми, если бы платье ее болталось по пятам. — Кто видел славную статую, известную под именем *La Diana caniatrice,*[5*+12] тот узнает в ней изображение Клаудиановой мысли:

Crispatur genimo vestis Cortinia cinctu
Poplite fusa tenus; —

Crispatur genimo cinctu vestis Cortinia, *quo vestis* fusa *est* poplite tenus.[6*] — Это так ясно, что ничего не может быть яснее на свете; как же сказано в переводе:

Une double écharpe *fixe* près du genou son vêtement?[7*]

Ему бы самому обвязать колена, да и посмотреть, как бы он ушел от князя Смоленского из Москвы в Париж![13] — Page 33.

Богини на поле. — Зефир, по просьбе Энны, пестрит луга ее бесчисленными цветами! Ничто не может уподобиться прелестному разнообразию Флориных детей; таких красок нет ни в драгоценных каменьях, ни на хвосте павлиньем, ни в радуге:

---

* И копье, подымаясь к облакам, подобно устрашающему дереву (*лат.*).

** Его древко, за которым сквозь ночную тьму следит испуганный взор, кажется целым лесом (*франц.*).

*** Одно древко, которое кажется *лесом*! (*франц.*).

4* Попасть пальцем в небо (букв.: принять мочевой пузырь за фонарь) (*франц.*).

5* Диана — охотница (*франц.*).

6* Развевается вдвое опоясанная одежда Кортинии, так что одежда опускается до колен (*лат.*).

7* Двойным шарфом *привязана* ее одежда у колен? (*франц.*).

Nec sic innumeros arcu mutante colores
Incipiens redimitir hyems cum tramite flexo
*Semita discretis interuiret himida nimbis.**

Выше сего мы видели, как переводчик отыскал в лексиконе значение слова *flumen*; здесь точно так же он переводит буквально *hyems* — *зимою*, отчего и выходит следующая, можно сказать, редкая штука:

L'arc *tortueux*, que *l'hiver déscrit* à *son retour*, présente à l'oeil des couleurs moins variées, lorsque chargé de pluie, il trace de verds sillons dans les airs partagés.**

Что это за *извилистая дуга, которую являет зима по возвращении своем?* — Этого, я думаю, и г. Шуберт не отгадает:[14] ибо в Клаудиане речь о *дожде*, не о *зиме*, а радужная дуга столь геометрически правильная дуга, что и подумать невозможно назвать ее (l'arc tortueux) *извилистою* или *излучистою*. Итак, остается только с должным уважением к французу воскликнуть:

Crudum manducas Priamum Priamique pisinus.*** — P. 39.

Описывая красоту мест, где находятся богини, Клаудиан между прочим говорит:

Haud procul inde lacus (Pergum dixere Sicani)
Panditur, et nemorum frondoso margine cinctus
Vicinis pallescit aquis, admittit in altum
Cernentes oculos, et late pervius humor
Ducit inoffensos liduido cub gurgite visus,
*Imaque perspicui prodit secreta profundi.*4**

Воды Пергуса, у самых берегов, мутятся *от ближних вод*, то есть от впадающих в него ручьев и источников; но далее от берегов, к середине озера (in altum)5* они так прозрачны, что можно видеть все, что ни есть на дне. — Это ясно; послушаем же теперь логику переводчика:

---

* Не столь разнообразные цвета дождь имеет в начале, чем перед концом, когда с переменой пути бороздит влажные тропинки водными потоками (*лат.*).

** Извилистая дуга, которую зима описывает на возвратном пути, являет взору менее разнообразные краски, поскольку, полная дождя, она оставляет зеленые борозды на воздушном пути (*франц.*).

*** Суровый Приам жует смоляного Приама (*лат.*).

4* Невдалеке простирается озеро (сикане назвали его Пергусом), и, окруженное зеленеющей каймой рощ, оно мутится ближними водами; всматривающиеся в него глаза стремятся в глубину, а широко раздавшаяся волна ведет беспрепятственный взгляд под прозрачную воду, где светлая глубина открывает свои тайны (*лат.*).

5* в глубине (*лат.*).

Non loin s'étend le lac Pergus, bordé d'un cercle d'arbres verdoyans; les eaux *des marais voisins* troublent la limpidité de son cristal; *cependant l'onde* transparente permet un libre passage à l'œil curieux qui se promene sans obstacle dans ces vastes profondeurs, etc.*

Les eaux *sont troublées* et cependant l'onde est transparente!** Англичанин бы на это сказал: this is indeed french reasoning!*** — Но я, не называя этого вообще французским заключением, спрошу только переводчика, где он нашел эти *болотные воды* вблизи Пергуса, на полях Энны, где вечно царствует весна — *perpetuum ver est.*[4*] —

Как говорит Овидий о самых сих местах?[15] — Каким образом воды могут быть и мутны, и прозрачны в одно время? — Вот как нынешние французы переводят древних, а мы древних будем ли переводить все только с французов?

Page 39. *Хор нимф и богинь рассыпается по лугу; Минерва и Диана не гнушаются участвовать в забавах и украшают головы свои цветочными венками.*

(Tritonia) hastamque reponit,
Insolitisque docet galeam mitescere sertis;
Ferretis lascivit apex, horrorque recescit
Martius, et cristae placoto fulgure vernant.
Nec, quae Parthenium canibus scrutatur odoris,
Aspernata choros, libertatemque comarum
Injecta voluit tandem fraenare corona.[5*]

Вот поэт! — *Insolutis sertis galea mitescit! Apex ferratus lassivit! — horror recessit! — placato fulgure cristae vernant!*[6*] — Вот черты истинной живописи ума! — Вот перевод французской:

---

* Невдалеке раскинулось озеро Пергус, окруженное зеленеющими деревьями; воды *близлежащих болот* колеблют ясность его волн; *и все же прозрачные пятна* позволяют любопытному взору свободно и беспрепятственно прогуляться в его обширные глубины, и т. д.

** Воды мутны, в то время как волны прозрачны! (*франц.*).

*** Вот они, французские умозаключения! (*англ.*).

4* ... ⟨там⟩ вечная весна (*лат.*).

5* (Тритония) откладывает в сторону копье и смягчает шлем непривычными венками; веселится железная верхушка и отступает страх Марса, и перья зеленеют умиротворенным блеском, вторя хороводам. Та, которая Парфенон обыскивала собаками по запаху, хочет укротить свободные волосы наброшенной на них короной (*лат.*).

6* Непривычными венками смягчает шлем! — верхушка железная веселится! — страх отступает! — умиротворенным сиянием зеленеют перья! (*лат.*).

Sa lance (de Pallas) repose sur le gazon; des *tresses voluptueuses* effacent l'horreur de son casque, et son *panache dont le fer* se joue avec les zéphyrs (joli petit jeu du fer avec les zéphyrs!); *non une* fureur martialle (какой поэтической оборот: *non une* — и это вместо: horror recessit!) et lts feux de la foudre, mais les charmes de l'aimable printemps. Diane, qui dédaignait les choeurs des Nymphes...* Где он нашел, что Диана презирает хоры нимф?..

Отвращение и скука отнимают охоту продолжать! Взгляну только на брачный пир Плутона, и конец разбору. — Уже Прозерпина похищена, и все жители Эреба готовятся праздновать бракосочетание владыки своего. — Надобно заметить, что Клаудиан в сем описании следует в точности существующим брачным обрядам земли своей: — *Из толпы теней отличнейшие избираются в прислужники, — к вратам чертогов привешивают цветочные венки; жены Елисейские окружают невесту; вид тартара переменяется; преступники отдыхают от мучений; струя не утекает из уст Танталовых;*[16] *и даже Эвмениды, отложив страшные угрозы свои, тихо припевают в Эпиталаме.*[17]

Occurunt propere lecta de plebe ministri. —
— — — alii praetexere ramis
Limina —
Reginam casto cinxerunt agmine matres
Elysiae. —
Non aqua Tantalicus subducitur invida labris. —
Eumenides — flexisque minis jam lene canentes —
— — —**

Soudain accourent des *esclaves* choisis dans le peuple des mânes: (ils) *jonchent le palais de feuillages*; — les matrones de l'Elysée entourent Proserpine de leurs chastes essaims: — *le Tartare respire* — et l'onde, naguère jalouse, *humecte* les lèvres de Tantale*** (мало прибыли, что humecte: в

---

* Ее копье (Паллады) лежит на траве; *роскошные жгуты* скрывают ужасный вид ее шлема, и *железо его султана* играет с зефирами (премиленькая игра железа с зефирами!); *не* воинственный пыл (какой поэтический оборот: *не*, и это вместо: страх отступает!) и блеск молний, а очарование милой весны. Диана, которая презирала хоры нимф... (*франц.*).

** Являются быстро избранные из толпы в прислужники.—
— — — другие украшают венками порог —
Невесту окружают священным кругом жены Елисейские, —
Не убегает враждебная вода от уст Танталовых. —
И Эвмениды, смягчив угрозы, уже нежно поют — — — (*лат.*).

*** Внезапно прибегают рабы, избранные среди душ умерших: (они) *засыпают дворец листвой*; — елисейские матроны окружают Прозерпину целомудренным роем; — *Тартар отдыхает — и струя, некогда ревнивая, смачивает* губы Тантала (*франц.*).

этом-то и вся казнь состояла, что *по усу текло, да в рот не попадало!*). — Les Eumenides enchaînent leur courroux *des doux concerts!!!** — Этого лучше ничего не найдешь, и *сладкое*, говоря о *пении Эвменид* (les doux concerts), никому, конечно, не приходило в голову, разве в одном том смысле, в котором фурии названы Эвменидами. Page 51 et 59.

Вот тебе, друг мой, образчик нынешней французской литературы. Если ты мне скажешь на это, что плохая была бы логика заключать по одному дурному переводу о состоянии словесности вообще, то я тебя попрошу, чтобы ты мне сказал: много ли в течение последних 30 лет вышло таких французских сочинений, которые по справедливости можно назвать *книгами*? — По философии — *Дежерандо*,[18] да по истории *Сисмонди*,[19] — вот все то, о чем могу вспомнить после *Анахарисова путешествия*.[20] Но переводятся ли Дежерандо и Сисмонди и часто ли их спрашивают во французских книжных лавках, не знаю; а вижу, что всех более теперь известен нам — *Шатобриан*.[21] Нельзя, конечно, отрицать в нем как пылкости воображения, так и чистоты слога, хотя последнее сие достоинство для французов, а не для нас. — Но что же он написал? — «*Путешествие в Иерусалим*». — Это в глазах моих лучшее его сочинение. Я с отличным удовольствием читал его поверку Тассовой топографии Иерусалима на самых святых местах и краткое обозрение африканской истории, но тут же должен признаться, что не мог видеть без крайнего сожаления, что человек, который захотел быть новым проповедником веры христианския во Франции, обесчестил перо свое, перо, истине посвященное, самым подлым ласкательством гнуснейшему из тиранов.—

О «*Мучениках*» его я ничего не умею сказать: поэма ли это в прозе или исторический роман, не знаю; да и того не ведаю, какая цель этого сочинения. — Что же касается до «*Гения христианства*», то хотя бы восстали противу меня все благочестивые Гионши, со всем причетом русских, тайно в душе католичек, то я и тогда, несмотря на столь грозное ополчение, осмелюсь сказать, что не только цели этой книги не постигаю, но даже и заглавия оной не понимаю.

Пусть ум мой туп и не в силах постигать выспренности мыслей г. Шатобриана, но пусть же кто-нибудь сжалится надо мною и растолкует мне, что разумеется под *Гением* Христианства? — Буде *Гений* тут значит *Дух* веры, сущность ее, то, с позволения сочинителя, я скорее буду искать его и найду в чистом его источнике, в Евангелии, нежели в томном звоне колоколов или на поминках родительских суббот.

---

* Эвмениды смиряют свой гнев нежным (сладким) пением (*франц.*).

Если же *Гений* (как все уверяют) относится к поэзии, то есть к поэтическим красотам, отличительно принадлежащим вере христианской, — в таком случае я еще более теряюсь и представить себе не могу, как такой ревностный поборник религии, как Шатобриан, вздумал смотреть на нее с той единственной точки зрения, с которой, если можно сказать, она должна уступить идолослужению, по той самой причине, что политеизм основан на выдумках и чувственности, а христианская вера на отвлеченных истинах и нравственности.

Шатобриан отвлек меня от предмета моего. Я к нему обращаюсь: желаю, чтобы завелась у нас умная, здравая критика, чтобы составилось у нас общество наподобие того, которое в Лондоне издает журнал под заглавием «Edinburg Review», общество, которое бы рассматривало беспристрастно все то, что приходит к нам извне, а особливо французское. Это весьма важно! Вкус наш начинает только образовываться и может при самом развитии своем портиться, наподобие цветка, который вянет, не совсем еще распустившись.

Некто умный человек, которого мнения я уважаю, предложил мне однажды следующую дилемму: «Если бы вы, — сказал он, — находились принужденными избрать между латинским и французским языками, с тем *условием*, чтобы исключительно оставаться *при одном из них*: которому дадите вы преимущество, древнему или новому?» —

С первого взгляда вопрос сей покажется довольно затруднительным: избирая латинской язык, я должен отречься от всех сокровищ философии и наук, накопленных тремя веками просвещения, — оставаясь же при одном французском, я лишаюсь источников всего изящного в литературе, — в одну сторону влечет меня польза ума, в другую чувства души и прелести воображения, и я, как Алкид на распутии, не знаю, чьим последую внушениям, разума или сердца. —

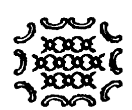
Но дилемма сия, сколь ни хитра, а впрочем, похожа на Карнеадовы предложения о добродетели:[22] сперва надобно принять *непременное условие* за основание, а не то рушится и предложение. Точно так, как если бы я сказал голодному человеку: выбирай *одно из двух*, хлеб или апельсин. Тут нет сомнения, что первый предпочтется: но посадим того же человека, без условия — *одно из двух*, — за стол, богатый разными яствами, и тогда мы увидим, что как питательное, так и вкусное, — все подлежит к насыщению его. — Мы сидим за богатым сим столом, и нужно нам только уметь выбирать себе пищу. Учиться новейшим языкам, в том числе и французскому, весьма хорошо; дурно только — исключительное предпочтение одного.

Говоря же о французском, я нахожу, что он нам вреден еще и потому, что мы его слишком легко приобретаем, а учение, дабы быть полезным, непременно требует от ума усилия и трудов. — Вот ответ мой на дилемму, предложенную мне умным *тем* человеком.

Что же касается до толпы, которая кричит: — нам нельзя обойтися без французского языка; своих собственных произведений у нас еще мало, а ум требует пищи, следственно, нельзя обойтися без французского языка! — их жалко слушать. Заключение их изобличает или невежество, или упрямство в тех, которые, проведя век свой с одним французским языком, не хотят согласиться в том, что можно было заняться пополезнее.

Вечная их опора — век Лудовика XIV. — Прелестный! а я еще и в том соглашусь, что чрез отличных писателей помянутого века французский язык стал наряду с классическими. Но тем лучше для него: а для нас неужели он один классический? Неужели мы всегда будем давать ему преимущество над греческим и латинским? — Если и на это *упрямство* скажет *да*, так я скажу: пусть же Егоровы наши, отложив в сторону Рафаелевы подлинники, предпочтительно учатся над копиями Луки Джиордана.[23] — Настанет ли скоро время, когда иностранцы не будут иметь права сказать о нас то, что некто испанец Мерула[24] говаривал о единоземцах своих: Felices ingenio, infeliciter discunti!*

* Счастливые умы несчастливо учатся! (*лат.*).



ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Когда Гораций написал, что Nil admirari (ничему не удивляться) есть способ быть счастливым,[1] то, конечно, он тогда потерял из виду прекрасное свое правило *середка на половине*, потому что, если и положить, что *всему* удивляться есть свойство дурака, зато *ничему* не удивляться принадлежит такой *апатии*, которую один только Пиррон мог поставлять целью человеческого блаженства.

Я думаю, напротив того, что *удивление* есть единственный источник всех наших познаний, ибо оно есть причина *любопытства*, без которого ничто не было бы в силах преодолеть врожденную в нас лень и внушить непреоборимое желание познать причины всему тому, что мы видим вне и ощущаем в себе. Неизмеримое поле удивлению!

И вменит ли мне кто в порок, что я изумляюсь при наблюдении каждого феномена зримого или нравственного мира, или паче еще при созерцании таинственного обоих сих миров сочетания! — Нет, конечно! Итак, *удивлению* можно дать полную свободу: но где должно остановиться *любопытству?* — Вот вопрос, вот камень преткновения метафизики, которая и до сих пор, кажется, более занимается определением ума и действий его, a priori, нежели показанием пределов, за которые нельзя вступить без опасности, показанием того рубежа, где природа, останавливая полет дерзкого испытателя, гласит ему: Hucusque licet!..*

Тщетно гласит природа! Гений Рима не удержал Кесаря; он переступил за Рубикон:[2] так и дерзкий ум человеческий всегда прейдет за

* До какой степени можно! (*лат.*).

пределы *возможного*; стяжанные им сокровища возбудят в нем лишь вящую жадность к новым; он все будет стремиться выше и выше. — Обман, конечно, но обман великолепный, ибо в нем кроется таинственное предчувствие нашего предназначения — вечности.

Память и *воображение* суть два первые орудия, служащие к сооружению всех наук, следовательно и философии. К памяти принадлежит *прошедшее*: ряд минувших наблюдений; к воображению — *будущее*: созерцание *возможного*, — анализ и синтезис. Тот и другой, без взаимной помощи, недостаточны: первый увлекает к самому грубому *эмпиризму*; последний удобен теряться в *идеализме*, и следствием злоупотребления того и другого — *мучительное сомнение*. — Где же искать спасения от сих противуположных крайностей? — В равном употреблении обоих орудий: памяти и воображения, — в слиянии обеих метод, аналитической и синтетической, в этой счастливой *средине*, которая равно отстоит как от Гоббова эмпиризма, так и от идеализма Спинозы.[3]

Как над каждым человеком в юности, так и над обществом человеческим в младенчестве его всего сильнее действует воображение: оттого мы видим, что и первые порывы ума к познаниям основываются более на догадках, нежели на испытаниях. Школы Талесова в Ионии, Пифагорова в Италии[4] стремятся проникнуть в тайну природы, изыскать начало вещей; но первая видит в *стихиях* причину всех явлений, последняя в таинственном *сочетании чисел*. Это первый шаг Философии.

Она заблуждалася, конечно, но и в самом заблуждении своем принесла пользу и расширила пределы ума: ибо, хотя обманывалася в методе, но предмет ее — «*постичь вещей начало*» — не переставал быть великим; довольно было бы услуги ее в том, что она произвела Анаксагора,[5] сего мудреца, который силою духа своего уразумел, что стихии одни лишь орудия всемогущего и всеблагого Существа. Это был второй шаг Философии, приготовивший блистательнейший век в Греции, век Сократа, Платона и Аристотеля.

Величайший из мудрецов древности, страдалец за истину, Сократ первый начал не доверять увлекающим воображение ипотезисам и, обратив внимание внутрь себя, принял здравый смысл руководителем в исследованиях нравственных истин: *дилемма* в учении его сделалась первою степенью к опытной Философии. Он ясно постиг, что рассудку должно быть посредником между памятью и воображением, между опытом и умозрением, между *действительным* и *возможным*. Богатое наследие, сии сокровища ума его перешли к ученику его Платону, а по нем к Аристотелю.

Оба они соорудили здание *умозрительной философии*; но первый успел более в украшении, и с тех пор Метафизика, подобно реке, текла в тех же берегах, разливалась по ту или другую сторону, мелела в туманные дни невежества и, наконец, с XVI века снова восприяла быстрое течение и снова разливается из берегов своих.

Обогатилась ли река сия водами против того, что она была в источнике своем?.. Кажется, очень мало: но она обогатила, утучнила разлитиями своими земли, к берегам прилежащие, и в этом судьба ее была подобна алхимии: камень философской не отыскался, но те, которые искали его, хотя тщетно рыли землю для себя, зато приготовили основание, на котором Лавуазье соорудил здание нынешней химии.

Дети часто бывают скучны вопросами своими: *зачем? почему?* — Мы сердимся и с нетерпением заставляем их молчать; полагая, с основательностию, что любопытство дерзко, когда рассудок еще не образован. — Но ум человеческий в некоторых отношениях не то ли же самое дитя? —

Где пределы любопытству? Где остановятся вопросы его? — *Я мыслю*: следственно, *я есмь*. — Есмь *я*, есть и *не я*. — Что такое *я* и *не я*? Это *все* — мир. — Что такое мир? — Общий порядок. — Что есть общий порядок? — Законы согласия. — Кто дал законы? — Бог. — Что такое *Бог*?.. — Дерзкое дитя! умолкни:

Wait the great Teacher Death, and God adore!*

Три предмета занимают метафизика: *основательность* человеческих познаний; *начало* оных; их *действительность*. — На вопрос: «Есть ли что-нибудь *основательное* в наших познаниях?» — *Ничего* — отвечает скептик; Догматист утверждает: *все то, что увлекает внутреннее мое убеждение*. — На вопрос: где *начало* наших познаний? — *В впечатлениях на чувства*, — отвечает эмпирик; умозритель полагает его *единственно в доводах разума*. — В чем *действительность* познаний? — Материалист относит ее *к действию внешних предметов на органы чувственности*; идеалист — *исключительно к внутренним действиям ума*. — Не таким ли образом решены были вопросы сии от Пиррона до Беля и Юма, от Платона до Лейбница и Канта, от Демокрита до Гобба и Эльвециуса? [6]

Если бы можно было мне осмелиться сделать свое заключение, то я бы сказал: главная ошибка состоит в том, что метафизики вздумали *до-*

* Жди великого Учителя — смерть, и почитай Бога! (*англ.*).

казывать то, что не подлежит никакому доказательству. Индийские космографы, дабы дать себе отчет в равновесии земли, утвердили ее — на черепахе. Кантовы ученики сравнили с сими индийцами предшественников своих в Метафизике. —

Умный, почтенный Якоби[7] соглашается с ними и признает в них еще то достоинство, что они под черепаху подставили другую черепаху. — Сколько еще будет черепах!... Но я, дерзновенный! мне ли осмелиться судить о *судьях разума*! О тех, которые, силою идеализма, поставили себя вне круга человеческих понятий, для того чтобы лучше *судить* о орудиях самих сих понятий! — Весьма бы уничижительна была для меня неспособность моя постигать все отвлеченности *трансцендентальной* философии, если бы не примирило меня с самим собою приключение, которое навсегда живо останется в памяти моей.

В 1797 году, проезжая в первый раз чрез Кенигсберг и почитая первым долгом путешественника видеть в каждом городе все то, что заключается в нем достойнейшего примечания, я добился чести, хотя с некоторым трудом, быть представлену Канту. Он принял меня благосклонно и ласково. Откуда я еду, куда, зачем: после первых сих вопросов речь зашла о немецком языке, о литературе, и я, обрадовавшись встрече такого предмета, на счет которого могу что-нибудь сказать, завел разговор о знаменитейших писателях, как то: о Лессинге, Гердере, Шиллере и, наконец, о Клопштоке.[8] О сем последнем я осмелился спросить мнения Кенигсбергского Философа. — *Выспренность мыслей его,* — отвечал мне Кант, — *удивительна; но признаюсь вам... я не всегда его понимаю.* — Такое заключение первого Философа Германии о первом поэте, земляке его и современнике, поразило меня так, что я и теперь как будто вижу перед собою Канта и улыбку его, которою он сопровождал признание свое, — улыбку, напоминающую мне нечто Вольтеровское, судя по изображению его Гудоном.[9]

По прошествии некоторого времени я поселился в Гамбурге. Тогда жил в Альтоне[10] Клопшток: я с ним познакомился. Жена его любила петь, а он страстно любил жену и музыку. Это послужило первым поводом к нашему сближению, ибо в то время Дюссек был у меня каждый день, а Жарновик и жил у меня в доме.[11] Далее — связь наша стала короче; она произвела искреннюю привязанность, основанную — с моей стороны, на боготворении в нем всех дарований, чарующих ум, со всеми добродетелями, пленящими сердце, — с его стороны, может быть, единственно на том, что мы невольно платим любовью тем, которые нас любят. —

Никогда я не забуду счастливых минут, которые я провел с добрым, почтенным Клопштоком! — Благосклонность его ко мне была столь велика, что он сам прочел со мною несколько отрывков из «Мессиады», несколько од своих. В одно из сих чтений Кантово о нем заключение так живо мне пришло на память, что я не мог утерпеть, чтобы не спросить Клопштока, что он думает о *трансцендентальной* Философии? — *Что я думаю?* — отвечал любезный старец. — *Она очень хороша, только слишком высока. Мы, поэты, ищем красоты; Философы — истины. Наши предметы в природе, а Философы нередко ищут, на что бы опереться за пределами природы; от чего исходит, что я — не всегда понимаю Канта.*

Вот первостатейные философ и поэт, которые друг друга не понимают! — Не мне разрушить такое недоумение —

Non nostrum inter vos tantos componere lites*

— а скажу, что если некоторые только, особливо одаренные, люди будут в силах постигать отвлеченности Кенигсбергской школы, за то весьма многие будут восхищаться прелестью Клопштоковой музы. — Певец бессмертия и добродетели! Я ли тебя забуду? — Нет! — я вижу тебя пред собою; вижу на устах твоих улыбку, не сарказм обличающую, а всю доброту ангельской твоей души; слышу тот самый голос, которым ты мне читал:

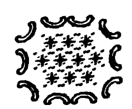
O dann sollen die Lippen sich erst, die den Liebenden sangen,
Dann die Augen erst, die seinetwegen vor Freude!
Oftmals weinten, sich schliessen; dann sollen mit leiserer Klage
Meine Freunde mein Grab mit Lorbern und Palmen umpflanzen**

— Ах! и еще вижу тебя, держащего на коленях Лизу мою — тогда прекрасное дитя! — Ты обещал ей счастье... счастье! — Там! — там, Клопшток, сдержи слово свое! —

---

* Не мое дело разрешать такие споры между вами (*лат.*).

** О, тогда сперва должны сомкнуться уста, воспевавшие возлюбленного,
Потом закрыться глаза, которые из-за него часто от радости плакали!
Потом должны мои друзья с тихим стенанием
Мою могилу обсадить лаврами и пальмами (*нем.*).



ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Я, друг мой, бежал из Москвы от лихорадки, а еще вдвое того от разных слухов о Бонапарте.[1] Первая, промучив меня три месяца, отстала; от последних я сам отстал. Чистой деревенской воздух лучше хины лечит от лихорадки, а от политических недугов ума ничто так не полезно, как — уединение. Здесь я могу мыслить сам собою, сам себе давать отчет в понятиях моих; в большом городе это дело невозможное: там толпа толкователей заглушит криком своим и не мой рассудок. Есть умы, как говорит Шекспир, которые беспрерывно разъезжают по большой дороге; из чужой колеи ни направо, ни налево; своего ничего нет. От них уши вянут: если они слышали от кого-нибудь *А*, то повторяют за ним: *А*, *А*, *А*; услышат *В* — и закричат во все горло: *В*, *В*, *В*! — Здесь ни *А*, ни *В* до меня не доходят, и я, неразвлеченный чужими толками, могу следовать собственным моим понятиям о вещах.

Признаюсь тебе, друг мой, что внезапное появление Бонапарта так поразило меня сначала, что я не скоро опомнился от удивления. Я долго мучил себя вопросами: зачем он появился? зачем выпустили его из Эльбы? зачем он оставался в живых? и проч. Мучил себя, и ничего удовлетворительного не мог сказать себе в ответ, потому что, обращая внимание мое на одного Бонапарта, а не на французский народ, я вращался в кругу ложных понятий. Из него я вырвался, коль скоро площадный шум перестал глушить меня; тогда завеса спала с глаз моих, и я увидел ясно, что задача Бонапартова появления давно уже была решена Тацитом: Nero a pessimo quoque semper desiderabitur,* т. е. *по Нероне всегда будут*

* Нечестивцы всегда будут тосковать по Нерону (*лат.*).

*французы** *тосковать*. Гальба или Оттон,[2] Массена или Ней[3] — для них все равно, а чего же лучше, как и Нерон жив?[4] — Им лишь бы не царствовал добрый король их, желавший счастия народу своему и хотевший дать ему правление представительное, с одним словом: на законах основанную свободу. Но в этом грубо ошибся Лудовик:[5] народ, дошедший до такой степени разврата, на каковой стоят теперь французы, повинуется не законам, а одним только штыкам да палкам. Стихия его есть — безначалие, и в ней пребудет он до тех пор — не сказать ли словами Бонапарта? — пока имя Франции не сотрется с Европейской карты.

Когда я смотрел на новейшие происшествия с этой точки зрения, то первый мой выигрыш состоял в том, что я понял ясно, сколь безрассудно упрекать великодушию, оставившему Бонапарта в живых. Если бы не *он*, так был бы *другой*: в этом нет никакого сомнения. Якобинцы употребили давнишнее орудие свое — метлою, чтобы вымести вон из Франции Бурбонов, и не жалели бы о ней, если бы она и изломалась в предприятии.

Напротив того, она послужила им лучше, может быть, нежели они сами ожидали. Клятвопреступник с 1000 разбойниками проходит безо всякой остановки от песков Канны[6] до Парижа, посреди миллионов народа, который, сложа руки, смотрит спокойно на шествие его и ожидает равнодушно, кому велят поклоняться и кого проклинать.

Неужели и тут действовал заговор Нея и подобных ему, или заговор целой армии, которой и не было на пути в довольном числе, чтобы подать изменнику сильную руку помощи, в случае, если бы народу вздумалось противиться намерениям его? —

Нет! тут действовали, с одной стороны, общая воля развратнейших из смертных (Pessimi quique),** с другой — скотская *апатия* людей, родившихся и взросших в безначалии, которым, подобно римлянам 3-го века, все равно, кому ни служить рабами: Иллирийскому ли мужику или потомку Флавианского дома.[7]

Просмотри, пожалуй, друг мой, письмо, которое я писал к тебе в прошлом годе и где обещался не говорить более о Бонапарте. Я, так же как и он, не сдержал слова моего. Виноват: но, по крайней мере, в утешение мое согласись, что я тогда не разделял общего мнения на счет французов. «Как космополит (сказал я) не смею еще предаваться надеж-

---

* Сколько я ни рылся в лексиконах, а для выражения слова Pessimus ничего лучше не приискал как: *французы* ⟨Pessimus — злые, дурные по природе, безнравственные — *лат.*⟩.

** Худшие из развратнейших (*лат.*).

дам на постоянство счастия...» Я знал французов, и происшествия слишком оправдали предчувствия мои.

Хоть я подвергаюсь прослыть Нострадамусом, а не утерплю, друг мой, чтобы не сказать тебе, что я предвижу не много доброго французам. По мнению моему, Бонапарту не сносить головы своей: от внешних или домашних ударов (я скорее ожидаю от последних) он падет, и скоро. Якобинцы восстановили его, они же ему и шею сломят, тем легче теперь, что талисман его уже за 3 года пред сим сокрушился в России.

Тогда пойдет перелад вещей, обыкновенный и естественный такому народу, каковы французы: от законного правления к тирану; от тирана к республике, в смысле французском, т.е. к *общей вещи* для одних только разбойников, и от такой республики опять к тирану. Между тем, и Бонапарту нет другой роли, кроме той, которую он прежде играл: снова угождать вооруженным шайкам своим и, буде удастся, занять их грабежом вне Франции; снова отличать, из миллионов гнусных рабов своих, некоторых *отпущенников* и вручать им власть грабить народ, дабы набивать свои и их карманы; снова учреждать в Елисейских полях и на Карусельной площади позорища и празднества, до коих так жадна чернь — la canaille de Paris.* Это всего меньше будет стоить ему, а не менее прочего полезно. Монтань[8] сказал: «On repaît les yeux du peuple de ce de quoi il avait à paître son ventre, a** — сколь нужно кормить глаза народа, это знали все тираны, от времен оподлевших римлян до подлейших французов наших дней. Вдобавок ко всему Бонапарте пожалует еще *доброму* и *великому* народу своему новую конституцию... Французам конституцию! Можно ли это выговорить без смеха! Для вас, господа, *Альфиери* давно уже начертал[9] ее, хорошо и ясно; вот она:

Bastone e Borsa,
Borsa e Bastone; e a tuo piacer poi gira,
E volra, e scrivi, e chiaochiera, e connerti,
E sconnetti: Baston, Borsa, Bastone, —
Quest'e il cadice eterha... dei Francesi.***

---

* Парижская чернь (*франц.*).

** Глаза народа кормят тем, чем он набивает себе чрево (*франц.*).

*** L'Uno. Comedia. Atto II. Sc. 1:

«Палки да деньги; деньги да палки — и при этом ворочай, как душе угодно: переменяй, пиши, болтай, складывай и раскладывай, а палки, деньги да палки — вот тебе и вечная конституция», — только что не дописал: *французам*; а что тут подразумевал их, в этом нет

Может ли быть что свободнее *хартии*, дарованной Лудовиком французам! Но они ее отвергли, по той единственно причине, что не *свобода* им нужна, а *освобождение* от наказания и от всех уз, которые налагают законы на гражданина. Без веры, без чистоты в нравах никакая Республика существовать не может; а поелику во Франции веры почти совсем нет, а нравы развращены до неимоверной гнусности, то ожидать в ней свободного правления так же смешно, как бы мечтать, что тигры вместе с ослами могут пастись в одном стаде.

Отвратим взоры наши от сего печального зрелища. В самое ненастье, когда весь горизонт покрыт густыми, мрачными облаками и нет места на небе, где бы проглядывало солнце, барометр начинает подниматься и уже предвещает хорошую погоду, так и я, из самых недр густого политического мрака хочу предвидеть будущие счастливейшие дни.

Назовем настоящее время *Эпохою перерождения*. В конце XVIII века Европа достигла до той степени благоденствия, на которой, по вечным законам *движения*, ей остановиться было невозможно. Она была не в силах более возвышаться, и ей должно было спуститься; сход ее был столь ужасным испытанием, что едва не возвратилась она к варварству, от которого веками и медленно избавлялась. Умы обуялись всеми родами фанатизма. Неизбежные сего последствия, безначалие и беспорядок расторгли все узы, связующие общества народов; и, наконец, зверская война, 20 лет продолжавшаяся, превратила всю Европу в дикий стан воинский, довела ее до той точки *унижения*, от которой, по тем же *законам движения*, ей должно было снова воспрянуть — и она восстает. Утомленная бедствиями, изнуренная в силах, но обогащенная опытами и изученная в великом училище народов и царей, в училище злополучия, она познает, что, если философу можно мечтать о совершенстве *неограниченном*, зато законодателям должно иметь в виду одно только *возможное*.

Пространное поле открывается для наблюдателя. Сколько предрассудков, освященных уважением веков, которые уже более не существуют! и сколько возникает новых мнений, которые также укоренятся и в очередь свою соделаются *предрассудками*, во зло или во благо рода человеческого! Феодализм, *гражданская* (а не политическая) свобода, все-

---

ни малейшего сомнения. Я знал Альфиери в бытность мою во Флоренции. Знакомиться с ним было весьма трудно. Надобно было некоторым образом представить о себе свидетельства в ненависти к французам вообще, и к Бонапарту в особенности: мне небольшого труда стоило снискать к себе его благосклонность.

общая Монархия основаны были на тех предрассудках, которые уже более не существуют. Каких последствий ожидать от сей перемены в мнениях?

Вместо феодализма, сего давно истлевшего и с просвещением несовместного политического тела, *Германия* ожидает нового порядка вещей, в котором с большею точностию и справедливостию определятся права народов и власть их повелителей.

Франции — заплатившей истощением сил своих за то, что она гналася за двумя химерами: сперва за *гражданскою* свободою, потом за всеобщею Монархиею, — Франции предстоит или перестать быть, или покориться благодетельной силе, которая ее принудит, против воли ее, если не быть самой счастливою, то, по крайней мере, не мешать счастию других.

Может быть, английские Катоны[10] желают Франции первого: delenda Francia!* — Но, подобно Риму, нашла ли бы Англия истинную свою пользу в уничтожении соперницы своей? — Англия, повелительница морей, удивление света законами своими, — и Англия, пресыщенная славою и сокровищами, может быть, уразумеет наконец, что эгоизм в последствиях своих столько же пагубен государству, как и частному человеку...

Испания, обязанная злейшим врагам своим, *Годою* (принцу *де ла Пас*) и французам,[11] сознанием собственных сил своих, лишь оставлена была действовать сама собою, то и показала удивленному свету, что может совершить патриотизм, твердость духа и терпение, когда чувства сии не умерщвлены развратами двора. Конечно, набеги варваров-французов разорили землю ее, но зато и подвинули народ испанский вперед теми двумя веками, которыми он отставал от прочих европейских держав. Ему нельзя было слишком дорого заплатить за преимущество чувствовать свое достоинство и знать, что он в силах предпринять и исполнить. Может быть, невежество и суеверие будут и еще покушаться восстановить сокрушенные олтари свои; но вотще: разум человеческий, сделав шаг вперед, может на нем остановиться, но возвратиться — уже невозможно: времена средних веков протекли навсегда.

Но при всех сих надеждах, которым так охотно верит сердце друга человечества, любитель изящного останется ли равнодушным к жребию, ожидающему *Италию*? — *Италию* — Отечество Героев! Колыбель просвещения Европы!

---

* Франция подлежит уничтожению! (*лат.*).

Прежде, нежели позволить себе какие-нибудь догадки на счет будущего состояния сей любимой природою земли, нужно отвечать на следующий вопрос: «Какие причины осудили Италию на политическое ничтожество, из которого она не могла выйти с тех самых пор, как *вечный град* перестал давать законы вселенной?»

Разнородность частей политического ее состава, — вот ответ мой. В Италии есть венецианцы, пьемонтезцы, тосканцы, римляне, неаполитанцы, а итальянцев — нет! Древний Рим, покорив весь полуостров, соединил все области оного во единое тело и превратил всех итальянцев в римлян: напротив того, ныне расторгнуты все узы, существовавшие между разнородными племенами Италии, и сим расторжением причинено ей более вреда, нежели и самыми набегами варваров.

Я думаю, что если бы *Лонгобарды* утвердились в Италии или бы императору *Фридерику II* удалось привести мысль свою в исполнение,[12] — скажу еще более, — если б папы, как владыки светские, овладели ею от гор Альпийских до мессинского пролива, то земля сия могла бы, в таком случае, принять совсем иной политических вид . . . .
. . . .
. . . .
Раздробленная на враждебные между собою части Италия лишилась политического характера; ослабленная в нравственности примерами разврата, *потеряла этот дух бодрости, которой* в силах дать одна религия: ибо без нее никакой народ не может долго пребыть в независимости; с нею же какая бы внешняя опасность ни угрожала, всякое государство преодолеет ее и устоит: чему доказательство и пример мы видели незадолго и недалеко от себя. Повторим: разделение на части, между собою несогласные, и упадок в ней веры суть две главные причины ее порабощения!

Чугунный скиптр суеверия и деспотизма лежит на развалинах *Афин* и *Спарты*. Отечество Леонида и Аристида[13] стонет под двойным игом варварства и тиранства; новый Грек проходит по Марафонскому полю и не подозревая, какой священный прах он попирает ногами: но не будь турков в Европе, возвратись Греция образованию — и, кто знает! может быть, снова возникнут *Греки*. Я никогда не поверю, чтобы люди на земле перерожались, как горох: правление, воспитание' — вот что изменяет их. — А ты, Италия, земля благословенная, где начал рассветать день просвещения; земля, богатая сокровищами природы, всегда изобилующая великими мужами, Италия! — ты сама виновница всех бедствий своих.

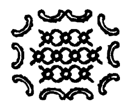
4 Зак. № 3250

Ты забыла бессмертного певца Воклюзы,[14] который вотще кричал тебе: единство! вотще говорил:

Virtù, contro al furore,
Proverà, l'arme e fia combatter corto:
Che l'antico valire
Negli Italici cuor non è ancor morto.* + [15]

---

* Доблесть вопреки страху
Докажет в скоротечном бою,
Что древняя храбрость
Еще не умерла в сердцах итальянцев (*итал.*).



ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Сельская жизнь

Я могу сказать о себе, что всегда страстно любил деревню. Когда был помоложе, когда пылкость страстей, рассеянность, честолюбие устремляли всю деятельность ума моего к шумному кругу большого общества, и тогда сердце мое тайно вздыхало по сельской жизни. Удавалось ли мне, хотя на короткое время, вырываться из городских стен, и я чувствовал себя совсем другим человеком: мне казалось, что я дышал и мыслил свободнее. Бродя по рощам, с Вергилием или Томсоном в руках, я, в беседе их, по целым дням забывал, что есть города на свете; а когда приходило время расставаться с полями и опять возвращаться туда, где все следы природы изглажены, то сердце мое сжималось от грусти, и я повторял за Горацием:

O rus! quando ego te aspiciam! [1] quandoque licebit
Nunc veterum libris nunc somno ac inertibus horis
Ducere sollicitae jucunda oblivia vitae?*

— Наконец пламенное желание мое исполнилось: я счастлив, друг мой! я в деревне! — Ты спросишь меня: в чем состоит благополучие мое? Я тебе скажу: оно такого рода, что его можно ощущать, а не описывать. Забываю прошедшее, не забочусь о будущем; все бытие мое со-

---

* Жилища сельские! когда я вас узрю!
Когда позволено мне будет небесами
Иль чтением, иль сном, иль праздными часами
Заботы жития в забвенье погрузить?—
Перевод М. Н. Муравьева.[2]

средоточено в наслаждении настоящим; и все, что ни окружает меня, веселит сердце мое и услаждает чувства.

Спокойство, ничем не нарушаемое, жизнь, *не знающая* злобы, тишина, обширные долины, ароматный воздух, священный сумрак дубрав... Чего более! Каждая мысль моя — чувство; каждое биение сердца — роскошь. Какие сладостные минуты, в которые человек может благодарить Бога за то, что он *существует*! И не лучше ли одна такая минута, в которую я, в полном убеждении совести, могу сказать: *я счастлив*! — чем целый век, проведенный в суетных исканиях честолюбия или в пустом шуме светской жизни?

В проезд мой из Москвы сюда я имел случай удостовериться, что у нас еще очень мало охотников до сельской жизни. Едучи на долгих,[3] я останавливался везде, где привлекала меня красота местоположения, и таким образом подробно осмотрел множество прелестных усадеб, в которых... Увы! по большой части живут только управители. Сколько видел я прекрасных, но опустелых домов, с садами, заросшими крапивою! — Здесь стоит замок с куполом, со всеми затеями великолепной архитектуры, но он 30 лет стоит недостроен, и гранитный помост его начинает уже зарастать мохом. Вид печальный запустения!

A naked subject to the weeping cloud,
And waste for churlish winters tyranny!*

Инде видел барской дом, с кровлею, отчасти обвалившеюся,без окон, без дверей: развалина не от времени, а от небрежения. Где ни спросишь о помещике, везде почти один ответ: *в Питере*. — Давно ли был у вас? — Или: *никогда*, или: *давно, проездом*.

Надобно признаться, что из европейских народов англичане лучше всех умеют и любят жить в деревнях, а что еще того похвальнее, любовь их к сельской жизни есть плод настоящего их просвещения. Совсем тому противное произошло у нас: мы с образованием начали покидать деревни, и от того у нас множество дворян, которые, по словам Ювенала,** в *бед-*

---

* Беззащитный объект для дождевой тучи
И лишняя работа для жестокой тирании зимы (*англ.*).

** Hic vivimus ambitiosa[4]
Paupertate omnes.
Juv. Sat. III. vers. 185.

⟨Это здесь общий порок: у всех нас кичливая бедность.
(Ювенал. Сатира III, ст. 183)
⟨Перевод *Д. Недовича и Ф. Петровского*⟩

ной пышности проживают в столицах, тогда как в поместьях своих и они бы могли жить боярами, а еще того лучше — *наслаждаться жизнию*. Конечно, есть люди, которым должно жертвовать собою для общей пользы, — о тех ни слова; но большая часть нашей братии, как говорится, *коптит небо*! Не лучше ли было бы нам дома унаваживать свои нивы? Так нет! проклятое честолюбие! — «В городах ведь толпа людей: сем-ко и я взмощусь на плечи народу и буду казаться выше другого». — Бедняк! народ расступится, а ты — плюх! и лежишь в грязи. — Не помню, где я читал и о котором английском короле, только анекдот мне очень понравился. — Вот он: — Лорды любили еще тесниться в дымном Лондоне, а королю их это не нравилось.Он им говорил: «Государи мои! я отдаю полную справедливость вашему усердию и благодарю вас за честь, которую вы мне делаете, — наливать мне вино, распоряжать моею кухнею, держать мне стремя или носить при себе ключ от моей спальни; но... согласитесь сами, что в ваших поместьях вы как военные корабли на Темзе, а здесь в Лондоне как рыбачьи лодки в море!» — Удачное сравнение и весьма ясное для того, кому случалось видеть суденочки, которые на Неве, как челноки, чуть мелькают, тогда как на Пахре[5] и они бы казались, по крайней мере, барками.

Часто врачи советуют *больным* своим жить в деревне для воздуха: я бы и *здоровым* советовал почаще жить в деревне для исправления или подкрепления *нравственного здоровья*. Никто не оспоривает существования тесной связи между телом и душою и что, вследствие сего, чистый воздух, какого никогда в больших городах не бывает, принося пользу физическому нашему составу, должен непременно иметь сильное влияние и на душу.

Но это еще действие *посредственное*, а я утверждаю, что сельская жизнь должна *непосредственно* излечивать многие нравственные недуги, лишь бы одержимые оными не противились предписаниям благотворной природы. Не говоря теперь о прочих болезнях, заражающих в многолюдстве, я назову только честолюбие: от него деревня — радикальное лекарство; и вот сему доказательство в повести, которую напишу теми самыми словами, коими слышал оную от соседа моего.

«Филотим родился с душею доброю и с умом, способным к истинному просвещению, но воспитание дало самолюбию его ложное направление, и он взрос и возмужал, полагая все блаженство жизни в том, чтобы достичь до такой степени, на которой любимец счастия отличается от толпы смертных — шитым золотом кафтаном и лентами. Стремление к превосходству, конечно, есть потребность души благородной, но, по

несчастию, Филотим смешивал в понятиях своих *превосходство* с *превосходительством*, а Фортуна, благосклонная ко многим другим, ничем его не лучше, против него одного заупрямилась и ни в малейшем не хотела угодить его самолюбию. Такая неудача хотя во всякое время раздражала его, но пока он был еще молод, то поддерживала его надежда на лучшее счастие; когда же он переступил за тридцать и увидел, что все сверстники его ездят цугом, а он один четверней, что на всех сыплются ленты, а на него ни одна не упадает — тогда потерял надежду, и бодрость его оставила. Он изнемог под бременем гнетущей его горести: мрачная меланхолия им овладела, и бедный Филотим, унылый, бледный, не в силах уже был даже и притворно улыбаться, когда слышал о чьем-либо производстве.

В таком положении жизнь его висела на нитке, и та было порвалась от шутки. Несколько шпыней, приметивших слабость Филотимову, согласились между собою позабавиться на его счет. Они уверили его, что в какое-то наступающее торжество он получит чин и ленту и что они видели доклад у министра и сами читали имя его в списке производства. — Чего очень хочется, тому легко верится: Филотим ожил. Наступил день торжества, и он до света встал и разрядился.

Первая его карета гремит на дворцовой площади; первый он вбегает в залы, в которых полотеры еще натирали пол — и без того скользкой. — С каким нетерпением Филотим ожидал обнародования производства — это можно легко вообразить.

Но кто может представить себе положение его, когда, перечитав несколько раз список, он не нашел в нем своего имени! — Лист, заключавший в себе столько обрадованных, для него одного был Медузиною головою: он остолбенел, лишился языка, движения. Увидя его в таком положении, один из его знакомых отвез его домой. Филотим опомнился только на другой день, окруженный врачами, и тут пошли ежедневные консультации, на которых не было двух человек одного мнения.

Один говорил: *Левкофлегматия*; другой кричал: *Эретизм*; третий того громче утверждал, что есть замешательство в *Перестатике*; и один Бог знает, сколько бы продолжалося ученое прение сие, на счет жизни и кармана бедного Филотима, если бы, наконец, не одержал победы один из громогласнейших Эскулаповых детей, тем упорнее устоявший в мнении своем, что во всех случаях он видел всегда одно и то же, именно: *Метастаз*, вследствие чего и Филотиму должно было покориться приговору, иметь в печени *желчевый Метастаз*. На этом остановилось.

Врач-победитель взял больного на свои руки, лечил его год, два и, наконец, до того долечил, что он не мог уже и пальцем пошевелить. Дело становилось плохо: но как поборнику *Метастазов* надобно было устоять в своем и доказать, что *Метастаз* и он правы,[6] а виноват один только Филотим, то он и послал его *оправляться* (чуть не сказать *отправляться*) на чистом воздухе в деревне: точно так, как лондонские врачи посылают неизлечимо больных своих — к Бристольским водам.[7]

Филотим был так слаб, что не мог и сидеть в карете: его лежащего отвезли в деревню. Это было в первых числах мая, когда природа, обновляясь, дарует жизненные силы всему творению и, волнуя сердце человеческое неизъяснимым чувствованием радости, внушает ему какое-то таинственное предчувствие счастия. Больной был так слаб, что не мог пользоваться сим благотворным влиянием; однако же и над ним природа подействовала, как паллиатив.

В городе он не мог и подумать вставать с постели; в деревне, с самых первых дней, начал сидеть в креслах и вскоре потом ходить по комнате. Тело, как будто против воли его, приходило в силу, тогда как мучительный призрак все еще гнездился в сердце и терзал его. Мечты, источник его несчастия, преследовали его в деревне и не давали ему покоя ни днем, ни ночью. То тот, то другой из знакомых представлялись воображению его обвешанные лентами, осыпанные звездами; и призраки сии нарушали спокойствие его даже и там, где ленты и звезды всего менее нужны.

В одно утро, предавшись, более обыкновенного, мучительным размышлениям своим, он подошел к открытому окну и машинально устремил взоры на поле. Крестьянские дети, здоровые, прекрасные, резвились на лугу и взапуски гонялись за бабочками. — „Счастливый возраст! — сказал, вздохнув, Филотим, — когда мечты занимают, веселят и не оставляют горечи в обманутом сердце... мечты! — Филотим!..“ — И он отошел от окна, как будто устыдясь самого себя. — Это было первое благотворное впечатление.

Филотим мыслями пронесся к прелестным явлениям детских лет своих. — Кто не любит вспоминать о них! — Представил себе, как он сам бегивал по тем же лугам, где теперь видел мальчиков, вспомнил и о сверстниках своих, но без лент, без звезд, а играющих с ним и от всего сердца веселящихся.

В таких размышлениях он опять подошел к окну и в первый раз почувствовал ароматный запах березок, приметил цветы на лугу и услышал голос жаворонка. Он сел в приятной задумчивости, из коей вскоре

извлек его крестьянской мальчик, быстро идущий по дороге и поющий во все горло. — „Куда, молодец?" — закричал Филотим. — „На пашню, барин!" — был ответ юноши, с которым он еще удвоил шаг. — „Постой, друг, куда спешить?" — „На пашню, барин. Батюшка пашет на милость твою под яровое, а вот уже солнце высоко, так я несу ему покушать". — „Спеши, любезный, спеши покормить отца; только скажи мне одно слово: счастлив ли ты?" — „Ах, барин, как не быть счастливу! Видишь ли, какую нам Бог дает погоду! Взгляни на рожь: этакой всход, что как посмотришь на ниву, так сердце запрыгает от радости. А ведь нам, барин, здоровье, урожай, да добрый помещик, так мы и счастливы". — Сказав это, он пустился бежать во всю мочь.

„*Здоровье* да *хлеб* — и с этим он счастлив! — говорил про себя Филотим. — Он думает... Но на что *думать* о счастии? надобно чувствовать его! — Так, дитя природы! я верю тебе: ты счастлив! Ты исполняешь священный долг, ты служишь отцу своему, ты... — а я! — кому служил? — Отцу? — Нет, в 15 лет голова моя кружилась химерами в столице; я изредка посещал старика, и то еще вменял в большую жертву, что на несколько дней вырывался из вихря сует, для того, чтобы предаваться в объятия родителя и природы. Тень священная, суди меня! — Я не заслужил быть счастливым!" — Проговорив это, Филотим горько зарыдал.

Слезы для скорбного сердца то, что дождь для земли после долгой засухи: душа Филотимова облегчилась и оживилась; он почувствовал себя другим человеком, и с самой этой минуты природа престала быть мертвою в глазах его. Во весь день сей он не вспоминал ни о звездах, ни о чинах, и даже ночь провел спокойно: мечты не возмущали его сна. Когда он проснулся, первое его движение было подойти к окну: ему опять хотелось видеть играющих детей; но утро было ненастливое, и на лугу не было никого.

„Вот образ жизни моей! — сказал Филотим. — Вчера солнце светило, дети резвились; день прошел, и сегодня уже пасмурно! — Но всем ли так, как мне? — Нет! — Родитель мой! Солнце на тебя светило во всю жизнь твою! Небесная улыбка сопроводила последний вздох твой, и жизнь твоя, как тихая вечерняя заря, погасла на земле для того, чтобы возобновиться в чистых источниках бессмертия! — Как все предметы здесь напоминают мне о тебе!.." Сказав это, он подошел к отцовской библиотеке.

Надобно знать, что тогда уже несколько лет прошло, как Филотим лишился отца своего. Он был при кончине его, отдал ему последний долг

и на другой же день, отправясь обратно в столицу, запер библиотеку и взял с собою ключ, который всегда держал при себе. — С тех пор он теперь только, в первый раз, решился войти в эту комнату. Отворяя дверь — рука его задрожала. Он переступил за порог — и священный трепет объял все чувства его. Все в комнате было на том же месте, как при жизни отца; все так же, как накануне болезни его; одна только перемена: *кресла стариковы стояли пустые.* — Филотим оставался долго неподвижен у порога; тысячи воспоминаний, сладких и горьких вместе, представляли воображению его ряд минувших лет: ему казалось, что тень отцовская окружала его со всех сторон.

Наконец, устыдясь собственной своей слабости, он решился подойти к креслам и увидел пред ними то, чего в первом смущении не приметил — налой, а на нем открытую псалтырь, ту самую, которую отец его ежедневно читал. Филотим взглянул на книгу, и первый стих, который представился глазам его, был следующий:

„*Человек яко трава; дни его, яко цвет сельний. Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает к тому места своего, — милость же Господня от века и до века на боящихся его!*”[8]

Что псалтырь случилась открытою на этом самом месте, это обстоятельство самое простое — действие случайности; но в расположении ума, в котором находился Филотим, оно представилося ему сверхъестественным; ему казалось слышать глас отца, взывающего к нему из могилы. — „Так! — вскричал он, — я слышу тебя, родитель мой! Ты вещаешь мне из гроба и указываешь путь, по которому ты прошел поприще добродетельной и безмятежной жизни своей. Клянусь тебе, клянусь сею священною книгою, на которую я столько раз видел каплющие слезы твои, слезы благоговения и небесной радости, — клянусь посвятить остаток дней моих на подражание тебе!” С сею клятвою, в восторге произнесенною, Филотим вдруг почувствовал радость, которой давно душа его не вмещала: яркий луч надежды блеснул в оживленном его сердце.

Таким образом Филотим сперва сделался способным чувствовать прелести природы; потом душа его наполнилась некоторою таинственною надеждою, предчувствием блага — и этим совершился первый, главный подвиг к его излечению. Не доставало еще уму его упражнений, которые, отвлекая его от ложных понятий, столько вреда ему причинивших, дали бы воображению его новое направление к предметам, вместе занимательным и полезным. И тут отцовская библиотека послужила главным орудием к совершенно́му его исцелению. Он был верен принятому обязатель-

ству: не проходило ни одного дня, чтобы он не провожал в ней по нескольку часов, и вскоре почувствовал, что для мыслящего человека хорошие книги лучшие друзья, коих укоризны справедливы без желчи, насмешки остры без злости, а советы всегда истинны и полезны. Чтение сделалось потребностию ума его, а плодом оного — убеждение в том, что в людстве человек теряется, а находит себя в уединении.

Переродился Филотим. Душа его спокойна, ум занят; хлебопашество, садоводство доставляют ему приятные упражнения, а физические науки сделались страстию его. Никогда он прежде не желал, с такою жадностию, ленты, с каковою теперь ожидает успеха от химических опытов своих. Одним словом, Филотим здоров, счастлив и каждый день благодарит Бога, внушившего доктору мысль послать его в деревню.

Однако при всем том, что ум его занят и душа спокойна, он чувствует в сердце какую-то пустоту, которой сам себе объяснить не может. Однажды случилось ему повстречаться на большой дороге с едущими стариком и старухою, крестьянами его. Он остановил их: „Куда, старинушка?" — „В город, отец наш". — „Зачем?" — „Купить коечто: мы женим внука". — „Не раненько ли, друзья?" — „Может быть, и рано, да нам захотелось, чтобы он еще при нас женился. Вот, батюшко, мы с старухою 45 лет живем и друг от друга не слыхали дурнова слова. Как мы, так и сын наш живет с своею подругою. Авось Бог благословит и внучат наших, а они пусть при нас еще поучатся, как вести хозяйство, как угождать друг другу, как не всякое лыко ставить в строку. Мы (не в осуд бы сказать милости твоей), мы ведь, отец наш, не как господа: нам жена и друг помощник; вместе смеемся, вместе плачем. Худо с женою как ладу нет, а без жены и того хуже: одному кусок в горло нейдет..." — „Счастливый путь, друзья, Бог с вами!"

Возвращаясь домой, Филотим неоднократно повторял: *одному кусок в горло нейдет*! — За ужином, против обыкновения, аппетит его не так был хорош. На другой день, в библиотеке, когда он читал Циммермана *о уединении*, слова стариковы: «*одному кусок в горло нейдет*» — невольно в мыслях повторялись и отвлекали внимание его от чтения. Он положил книгу и пошел по аллее, ведущей к большой дороге.

Подходя к рогатке, видит проезжающую коляску. Это был сосед его, добрый и умный человек, приехавший, со всем семейством своим, погостить к Филотиму. Хозяин обрадовался гостям и повел их к дому. На дороге пошли расспросы.

„Здоров ли наш друг?" — сказал сосед. — „Слава Богу, — отвечал Филотим, — однакоже..." — „Однако же! что, разве худо принимаются итальянские тополы или не удается сахар?" — „Совсем не то: и тополы принялись, и сахар удается — но..." — „Но! однако же! — это не ответ друзьям, сердечное участие принимающим во всем до тебя принадлежащем. Филотим, будь почистосердечнее". — „Так откровенно вам сказать: все хорошо, да только... *одному кусок в горло нейдет*". — В эту минуту Филотим и Ларисса, старшая соседова дочь, взглянули друг на друга. Ларисса покраснела и потупила глаза в землю; а Филотим, хотя сто раз прежде видел ее, но тут как будто впервые приметил, что она приятна, любезна, что ей лет под 30 и что с нею бы ему *пошел кусок в горло*.

Предложение Филотима, соглашение Лариссы, брак, семейственное счастие — все это не входит в состав моей повести. Довольно сказать, что Филотим счастливый супруг, отец детей здоровых и прекрасных, одним словом, столько благополучен, сколько человеку дано быть благополучным на земле. — В один вечер, когда он сидел с женою за чайным столиком, принесли ему письма с почты и при них газеты и журналы.

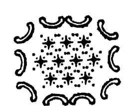
Первое, что попалось ему в руки, был список производства, по случаю какого-то торжества. Не мог он не вспомнить о действии, которое такие листки производили над ним за несколько тому лет, и не мог при том утерпеть, чтобы не расхохотаться, вообразив себе прежнее безумие свое. Ларисса спросила его о причине смеха.—

„Здесь было бы долго об этом говорить, друг мой, — отвечал Филотим, — а мы пойдем гулять, и я тебе подробно расскажу, как глупость моя довела было меня до края гроба, в который бы я и сошел преждевременно, не вкусив счастия на земле, если бы доктор... не избавил меня от неизбежной смерти". — „О! этот доктор, — прервала жена, — заслуживает как твою, так и мою живейшую благодарность!"—

„Правда твоя, — сказал Филотим, — и я теперь только вспоминаю, что ничем еще за то его не наградил: завтра же пошлю ему богатую золотую табакерку..." — „А я, — прибавила Ларисса, — наполню ее червонцами. Да чем же он вылечил тебя?" — „Деревнею". — „Как деревнею?" — „Предписал мне *жить в деревне*". — „Конечно, он расчел, что чистый деревенский воздух будет тебе полезен?"—

„Нет! он расчел, что мне вовсе жить нельзя, и для того, чтобы сбыть меня с рук, отправил меня умирать в деревню..." — „Так за что

же его дарить?" — „А вот за что: какая ни была причина, побудившая доктора выслать меня из города, не менее того я *ему* обязан, что я в деревне, что я здоров, что я твой муж. Впрочем, что нам за нужда до того, что он будет чуфа́риться, приписывая исцеление мое своему искусству? В душе своей он знает, *что* меня поставило на ноги, а потому и другим, может быть, посоветует — *жить в деревне*"».



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЕМ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПИСЬМО 1

Слава Богу, друг мой! После долгого отсутствия из России ты опять на пепелище своем, на родимых берегах Волги. Радуюсь возвращению твоему, и особливо радуюсь тому, что ты возвратился со всею живостию чувства любви к отечеству. Шесть лет прожил ты в блистательнейших столицах Европы; как человек образованный, примечал свойства, нравы, обычаи, законы разных народов; как просвещенный знаток в художествах восхищался произведениями изящных искусств; как философ, наблюдал успехи разума в обществе — и наконец, обогащенный неистощимым сокровищем мыслей, понятий, воспоминаний, ты опять приютился в уголке своем и живешь в нем, как будто бы не выезжал из него; а что всего лучше, он тебе нравится, может быть, еще более прежнего.

Поверь мне, друг мой, в этом чувстве заключается очень много хорошего: полупросвещение делает человека взыскательным, снисходительность есть печать истинного просвещения. С нею человек ума превосходного, хотя мыслями царит над толпою, но в общении уживается со всеми, потому что ни от кого не требует невозможного, довольствуется ловить рассеянные черты добра, семена будущего и гнушается одним тем, что нарушает нравственную красоту человека.

На упрек твой, что я с лишком год не писал к тебе, я бы мог оправдаться тем, что не знал, куда посылать к тебе письма мои; но лучше правду сказать: все это время я был озабочен переездом моим сюда. Ты давно заметил во мне свойство, противное магнитной стрелке: ту неведомая какая-то сила влечет на Север; меня — все тянет к Полудню. Двенадцать лет и более, проведенных мною в землях, на которые солнце не

всегда косо глядит, так меня отучили от холода, что я уже сделался нежильцом для мест, где ртуть *слишком сжимается*. Правда, я и здесь не под Неаполитанским небом, однако же в саду моем, на открытом воздухе, растет виноград, иногда доспевает — и этого уже для меня довольно.

На предложение твое возобновить переписку, которую я вел с тобою в разлуке нашей в Нижнем Новгороде, я охотно соглашаюсь, и не боюсь того, чтобы письма мои показалися тебе незанимательными, потому что они будут писаны из глуши. Нет места, общества, сословия, состояния, в которых бы нечего было наблюдать. Где есть люди, тут есть чему и учиться, а я чем долее живу на свете, тем более уверяюсь в том, что первая наука для человека есть *человек*. Она не только что нужна, она и прекрасна: примиряет нас с другими и с собою, открывает утешительную истину, что если нет *совершенно* доброго, зато нет и *совершенно* худого человека.

Из рук Творца все исходит совершенным, и может ли статься, чтоб исключением была одна душа человеческая? Нет, конечно, нет: предрассудки помрачают ее, страсти вводят в заблуждение, пороки искажают — но это кора: под нею душа всё душа, т. е. в существе по превосходству *прекрасное*, временно страждущее, угнетенное и которое когда-нибудь должно возвратиться к первобытной чистоте своей. Плодом сего убеждения будет к злу — ненависть, к злым — сожаление.

В рассуждении самого себя скажу тебе, что я положением своим здесь доволен. В доме занимают время мое книги, сельское хозяйство, а вне дома я нахожу рассеяние в обществе соседей моих, из коих одни просто добрые, другие добрые простяки, а некоторые и не просто чудаки — и все это вместе не без занимательности для наблюдателя. В картинах общества больших городов, особливо столиц, все краски сливаются в один тон, и едва можно различить одно лицо от другого; в деревнях, напротив того, где люди большую часть года живут в тесном кругу семейств своих, в независимости от суждения посторонних и никогда не носив или сбросив с себя оковы подражания, каждое лицо имеет свои резко отличительные черты, в которых по образу жизни, обхождению и малейшим особенностям живо выражается на поверхности то, что происходит внутри. От этого живописцу нравственного человека искать должно *оригиналов* не в городах, а в деревнях, ибо там мода одевает рабов своих в ливрею единообразия, а здесь свобода оставляет на волю каждого наряжаться, как ему хочется.

Как в переписке моей с тобою я буду часто иметь случай говорить о сношениях моих с тем или с другим из моих соседей, то нужно тебя

предварительно познакомить с ними. Для этого я, снаряжая здесь волшебный фонарик мой, в котором ты увидишь главные черты действующих лиц драмы, в коей я играю свою маленькую ролю. Смотри!

Вот! — В семи верстах от меня поместье, или, как сам помещик называет, latifundium г-на *А.* — Примечаешь ли эти куполы, выглядывающие из густоты лесной? Это храмы сельских божков, Пана, Сильвана, Нимф.[1] Классическая земля! — Там открывается дом — надобно бы ожидать в греческом вкусе или по крайней мере италиянскую виллу — но вместо того готическое здание с огромными воротами, украшенными египетскими Кариатидами,[2] Сфинксами, гиероглифами и с крупною надписью на верхней перекладине: Inveni portum!*

Ты уже догадываешься, что это жилище не просто чудака, и этого бы довольно на первый случай — но жизнь его до переселения в здешние места представляет столь любопытные черты, что я решился, закрыв теперь фонарик мой, занять тебя некоторыми из его приключений.

А. — с нескольких лет воспитывался в Германии, и долго там учился в университетах. Слушав предпочтительно Гейне[3] и других сему подобных эллинистов и филологов, он исключительно пристрастился к древней литературе, и с тех еще пор археология сделалась его страстию. Возвратившись в отечество свое, *А.* — по примеру всех молодых дворян — вступил в военную службу; а как он хорошо учился не одним языкам, но и математическим наукам, то его тот же час определили в какую-то крепость инженерным офицером.

Там был комендантом человек добрый, невзыскательный, и который требовал от подчиненных своих, чтобы они только по должности своей поступали по силе Военного Регламента; но молодой наш офицер по вверенной ему части вздумал руководствоваться правилами древней Полиоркетики, и от этого возникло между ним и начальником его несогласие.

Случилось им обедать вместе у протопопа. Разговор, хотя в доме служителя церкви, зашел не о богословии, но о военном ремесле. Комендант стал выхвалять Фридриха II;[4] *А.* — вопреки ему, превозносил Ксенофона;[5] тот ставил выше всех сражение Кагульское;[6] молодой офицер отдавал справедливость баталионам-кареям,[7] но все эти, говорил он, agmina quadrata и cuneata** должны уступить превосходному устройству легионов в битве Фарсальской.[8] Слово за слово — из разговора вышел спор.

---

* Найди пристанище! (*лат.*).

** войска, построенные четырехугольником и клинообразно (*лат.*).

Хозяин, приметив, что комендантский нос необыкновенно побагровел (что, впрочем, могло быть последствием весьма вкусных наливок, коими трапеза была уставлена), и, желая восстановить согласие между собеседниками, начал поучительное слово свое к *А.*: Juvenem oportet esse...* Но комендант, не дав миротворцу кончить речь свою, перебил ее, сказав: «Батюшка! отложим теперь латынь в сторону, а как я слыхал от вас, что у г-на офицера много книг, то пожалуйте спросить его, читал ли он когда-нибудь Воинский Устав?» — «Я, ваше высокоблагородие, — отвечал Полиоркет, — читал и Энея Тактика».[9] — «Энея!» — вскричал с сердцем комендант (при этом встали из-за стола); «Энея!» — повторял он, взяв шляпу и трость. — «Энея! Энея!» — бормотал он еще про себя, сходя с крыльца и шагая скорым маршем по соборной площади.

Самые невинные речи могут иногда сделаться предосудительными, потому только, что они некстати выговорены. Например, в этом случае *А.* не имел намерения ни оскорблять начальника своего, ни чваниться перед ним преимуществом своим в классической стратегии, а просто, увлеченный любовью к древности (trahit sua quemque voluptas,** как он сам говорил о себе),[10] он ошибся в том только, что назвал Тактика, о коем начальник его никогда не слыхал.

Это бы еще ничего, но по несчастию комендант наш знал об одном Энее, именно о малороссийском наизнанку,[11] а как он сам был малороссиянин, то тотчас и представилось ему, что офицер смеется над ним, шпыняет, ругается, одним словом, всё то, что воображение малюет на уме, когда раздражение водит кистью его.

Последствия сего раздражения для бедного *А.* были весьма неприятны. По жалобе коменданта наряжен был над ним суд за поношение начальника грубыми словами. По счастию, аудитор был человек умный, который, открыв все дело при первом допросе, представил его начальству в настоящем оного виде, и это спасло молодого офицера. Он отделался от суда только с выговором и с приказанием впредь быть осторожнее, особливо же по службе всегда согласоваться с волею командира, а не с Полиоркетикою Энея. — Слушаю, — отвечал *А.* — судившим его. — Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni!***+[12] — и с сими словами подал просьбу в отставку.

Если мне не удалось, рассуждал он, полезным быть отечеству на поприще оружия, то почему бы не искать другого, на котором я могу

* Юноше подобает быть... (*лат.*).
** каждого влечет собственная страсть (*лат.*).
*** Дело победителей было угодно богам, а побежденных — Катону (*лат.*).

также отличиться? Ничто не мешает: Cedant arma togae!* + [13] и вот *А.* — преобразованный в наместническую тогу,[14] сидит за красным столом асессором уголовной палаты. Кто бы подумал, что он тут занимается уложением, тот бы весьма ошибся: у него в голове были иустиниановы институты,[15] пандекты и особливо Pro Rabirio, Pro Muneribus, Pro Roscio Amerino** и вообще все Pro и In,*** какие только есть в Цицероне.

Долго он был только слушателем и хотя плохо понимал дела из экстрактов, коих слог казался ему не довольно ясным, однако же не мог не заметить странности в председателе своем, который, по какому-то особенному убеждению, всегда находил богатых правыми, а бедных виноватыми. Наскучило ему наконец только что подписывать определения и с другой стороны горя нетерпением отличиться защитою какого-нибудь невинно осуждаемого, он решился познавать дела не по экстрактам, а из целого производства оных. Предприятие страшное! И кто знает, каковы диалектика и слог сего рода бумаг, тот должен признаться, что не легко на такой подвиг пуститься; однако же, как от него зависит честь и жизнь гражданина, то, сколь бы ни велик был труд, он не может остановить благородной души человека. Так рассуждал *А.*, принявшись за работу; и действительно, скоро представился ему случай отличиться. Это было дело, как называется у нас, *казусное*.

Некто морской офицер, служивши лет 20, возвратился от антиподов в Кронштадт[16] и выпросился в отпуск, чтобы посетить бедное отцовское пепелище и оставшихся на нем сестер своих. Приехав на родину, он нашел дом свой разоренным, имущество расхищенным, сестер прибитых; и это все от доброго соседа, которому нравилось поместьице его, слишком близкое, чтобы не пожелать его.

Для другого самый простой способ был бы стараться куплею приобресть имение; но добрый этот сосед давно уж с успехом употреблял другой, гораздо проще: metaphorice4* *вытирать* соседей, т. е. всячески обижать их, потом на них же жаловаться и, наконец, всякого рода истязаниями выводить их из терпения до того, чтобы они сами из домов своих бежали, не оглядываясь, лишь бы только не иметь с ним дела.

В сем последнем периоде испытания находились несчастные сироты, когда явился к ним брат их, гость неожиданный, о котором лет 10 слуха не было. Легко представить себе можно, какое впечатление сделало на

---

* Пусть оружие уступит место тоге! (*лат.*).

** «В защиту Риберия», «О дарах», «В защиту Росция Америна» (*лат.*).

*** «В защиту» и «Против» (*лат.*).

4* метафорически (*лат.*).

душе морского офицера состояние, в котором он нашел дом и ближних своих. Первое движение его было утешать сестер, ободрять их; ибо он и сам не сомневался, что найдет верную защиту в правосудии.

В таком уповании подает он просьбу куда следует, и по первой инстанции — оправдан добрый сосед; по второй — прав сосед: одним словом, как ни явно обличены бесчеловечные поступки его следствием на месте и доказательствами свидетелей, он все прав; потому что офицер богат был только честию, а комиссары имели общую с председателем *странность*.

Вышел, наконец, моряк из терпения. В минуту запальчивости говорит он при многих: «Если я столько несчастлив, что не могу найти суда против злодея, то останется мне только *разведаться с ним по-своему*». Худо, конечно, он сделал, что так погрозил сопернику, ибо, где есть законы, там никому не должно разведываться по-своему. Кто, однако же, не простит такого выражения, в пылу справедливого гнева из уст вырвавшегося, человеку, который беспрестанно видит у себя на левом боку орудие, которым слишком часто заглаживаются оскорбления,[17] иногда на одном воображении основанные!

Впрочем, он только сказал, а не сделал и тотчас поскакал в столицу искать защиты у самого источника правосудия. Между тем как он едет, кто-то неизвестный исполнил приговор свой над соперником его без согласия комиссаров. В один вечер, как уже смеркаться начинало, добрый сосед, возвращаясь домой, ехал под леском, как вдруг выскочили из него люди с лицами, сажею вымаранными, подхватили его, завели в чащу и — хотелось бы мне придумать выражение попристойнее, но, не находя оного, должен просто сказать — высекли его.

Такое приключение для другого показалося бы не весьма приятным; для него, напротив того, оно обратилось в торжество, и если бы не беспокойный зуд части, которая называется одним именем с парламентом,* бывшим в Англии по смерти Кромвеля,[18] то он, конечно бы на радости дал сельский праздник. Да как не радоваться? — До сих пор он был только прав; недоставало ему, чтобы моряка сделать виноватым: чего лучше, как то, что с ним случилось! Офицер грозил ему; после угроз вскоре его... известно что; правда, что офицера уже *тут* не было, зато *тут* свидетели, готовые показать, хотя под присягою, что они в числе биченосцев видели такого-то. Этого ничего не может быть яснее. Закипело вновь дело, с тою только разницею, что истцем сделался сосед, а,

---

* Rump-parliament in 1659.

впрочем, потекло оно старым порядком, т. е. по первой инстанции моряк виноват, по второй — виноват и, кажется, будет виноватым и в уголовной палате, где мы оставили дело его в руках *А*.

Настал день к слушанию оного; а как председатель ни от кого не ожидал противоречия, то и определение уже заготовлено. Читают, *А*. молчит, рассуждают — он всё ни слова, поджидает определения, чтобы тут-то и грянуть: Quosque tandem!*+[19] — и произвести действие тем сильнейшее, что оно неожиданно. Вот, наконец, и определение: «Поелику Иван Иванов сын такой-то, быв в компании и находясь в трезвом положении, произнес слова: *я де с ним (имя рек) разведаюсь по-своему*; поелику вслед за сим Петр Харитонов сын такой-то мучительски биен был батогами, от коих багровые знаки и поднесь носит на спине и прилежащих к спине частях тела своего; то поелику чрез сие и чрез свидетелей, к присяге приведенных, ясно доказано, что виновник много крат помянутого биения батогами Петра Трифонова сына есть много крат же помянутый Иван Иванов. Приказали...».

— Постойте! — возразил *А*., прервав чтение: хотя malum minatum et damnum secutum...**

«Позвольте, г-н асессор, — перебил речь его председатель, — доложить вам, что здесь в присутственном месте, пред зерцалом, не благопристойно говорить по-французски...» — По-латыни! — шепнул ему докладчик, бывший семинаристом. — «По-латыни? — продолжал председатель, — того хуже! Вы еще, государь мой, весьма зелены, мало опытны и плохо еще в делах сведущи».

— Что я молод, — сказал асессор, — это справедливо; но я надеюсь со временем от сего порока исправиться; что же касается до сведений моих, то, сколь они ни малы, но я знаю, что, как асессор, я имею здесь голос: и потому представляю вам, что хотя бы alibi*** и не было ясно доказано, то и в таком случае моральные доказательства недостаточны к осуждению, если они не подкрепляются материальными.

«Те, те, те, те! — защелкал, надувшись, председатель. — Государь мой! вспомните, при чем и с кем вы говорите! Я, сударь, никогда никого не *марал*; здесь, сударь, речь не о *материалах*».

— Вы меня не поняли, — продолжал асессор, — я никогда не говорил, чтобы вы кого-нибудь марали, и речи нет о материалах, а материя

---

* Доколе, наконец!.. (*лат.*).

** угроза и воспоследовавший ущерб... (*лат.*).

*** Техническое слово. Значит: небытность подозреваемого в том месте, где сделано преступление неизвестным человеком. *Ред.*

о деле. Намерение мое состоит в том, чтобы доказать вам, что все доводы, в определении приведенные, недостаточны к убеждению меня в винности обвиняемого; а напротив того, утверждают меня в мнении моем, что он ни в чем не виноват. Ясно доказанное его alibi не оставляет на сей счет ни малейшего сомнения. Итак, не лучше ли постараться отыскать настоящих виновников побоев, нежели поступить, как говорит пословица: Qui asinum non potest, stratum ejus caedit.*

Пока он говорил пословицу, докладчик, понявший из нее одно только слово *asinus*, перевел его на ухо председателю, который, вскочив со стула, ударил кулаком по столу так, что чуть чернильницы не опрокинулись, и во всё горло закричал:

«Протоколист! сюда, протоколист! пиши журнал: в заседании сего 6-го майя 1793 года в полном присутствии, пред сим зерцалом, асессор *А.* обругал председателя и прочих членов палаты сея, назвав их ослами».

Все члены встали и в знак согласия повторили: ослами!

— Я на это и похожего ничего не сказал, — возразил *А.*: qui asinum...

«Слышите ли, господа? Господин секретарь! вы знаете по латыни: скажите, что значит *азинус*?»

— Осел, ваше высокородие! — отвечал с низким поклоном латинист.

«Протоколист! пиши: вторично ругаясь, обругал, назвав нас ослами».

— Я, — перебил речь с досадою *А.*, — никогда не называл вас...

«Ослами! пиши, протоколист!» Ослами! ослами! — подтвердили все прочие члены, и эхо повторенного имени сего безвинного животного так громко раздалось по всей палате, что *А.* не удалось уже ни слова вымолвить в оправдание свое. Журнал написан, подписан, скреплен, заседание кончилось, и асессор наш пошел домой с твердым намерением подать челобитную в отставку.

Этот род сочинения на гербовой бумаге, как всем известно, не многого труда стоит; но *А.* хотелось присовокупить к нему orationem apologeticam;** и между тем как он ее писал, потребовали его в другую уголовную палату, однако же не асессором, а подсудимым.

Там он промаялся года три — и слава Богу, что не долее! Дело было запутанное; нужны были справки, потом надобен был точный пере-

---

* Кто не может ⟨побить⟩ осла, бьет его попону (*лат.*).

** оправдательную речь (*лат.*).

вод пословицы; и хотя учитель губернской школы, а после оного один дьячок трудились над оным, но судимый асессор отверг оба их перевода как неверные. Ближняя семинария, наконец, разрешила трудную эту задачу; однако же и тем дело не кончилось: надобно было еще открыть, подлинно ли существует такая пословица или она выдумана асессором, в чем, без сомнения, заключалась немалая важность. По счастию, *А.*, одаренный необыкновенною памятью, не запинаясь, объявил, что она находится в Тите Петронии Арбитре.[20]

Но где отыскать эту книгу, дабы удостовериться в истине слов ответчика? Один из присутствующих, поучёнее прочих, объявил, что о двух последних книгах он не знает, но в рассуждении первой помнит, что ему случилось брать у приятеля на прочтение весьма забавную трагедию «Титово милосердие»...[21]

«Братец, — сказал, толкнув его, сосед, — ты говоришь о французской книге, а здесь речь о латинской».

Это заключение как светом озарило собрание. Бросились в ближайшее книгохранилище и там лишь спросили о Тите, Петронии и Арбитре,[22] то библиотекарь, побледнев, дрожащим голосом отвечал им: «Образумьтесь! какие книжицы ищете вы в месте сем?» — Они, полагая, что смущение старца происходит от неведения причины их посещения, рассказали ему все то, что надобно было знать о пословице. Тогда, покачав головою, библиотекарь сказал им: «Слепотствующие! Петроний, о коем вопрошаете, есть треклятый язычник,[23] коего единое имя сквернит уста, изрекающие оное. Не токмо призывающий его во свидетели, но и тайно читающий во храмине своей повинен уже есть истязанию».

Приговор сей ученого библиотекаря дал самый дурной оборот делу *А.* — Однако же, как говорит Санчо, нет ничего на свете, что бы как-нибудь да не кончилось;[24] то и дело асессорово, хотя не хорошо, да кончилось тем, что его от должности отрешили и сверх того взыскали с него большую пеню за бесчестие, как водится, по чинам, начиная от председателя до сторожа.

С тех пор *А.* — сказав: Spes et fortuna valete!* — приехал сюда и начертал над воротами своими надпись, которую я тебе показывал в фонарик.

И действительно, он обрел пристанище тихое и счастливое. Существенное благополучие его состоит в том, что он муж жены препочтенной и отец детей прекраснейших; но сверх того (и это весьма много для него

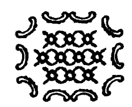
---

* Прощайте, надежда и удача! (*лат.*).

значит) он еще блаженствует в том, что здесь ничто ему не мешает давать полную волю игре классического воображения своего.

Здесь он пашет по Исиоду и Вергилию;[25] здесь завел псовую охоту по наставлениям Ксенофона[26] и всем собакам своим дал имена из 7 гл. Кинигенетики.[27] Сельское хозяйство его заведено по Колумелле и Варрону,[28] а один хутор устроен им в точности по правилам Катона.[29]

Словом сказать, у него всё по-гречески и по-римски; и когда он дает обед, то советуется не столько с поваром своим, как с Афинеем.[30] Это последнее было бы довольно накладно для гостей; но жена его к классическим блюдам присовокупляет свои простые, а любезность ее и гостеприимство столь приятно оживляют беседу, которую муж ее называет *симпосион,* что я нигде с таким удовольствием не провожу времени, как в доме соседа *А.*



ДОПОЛНЕНИЯ

ПЕРЕВОД ГОРАЦИЕВОЙ ОДЫ

(К Гросфу[1] на спокойствие)

Otium Divos rogat.......
Carm. Lib. II. Ode XVI

Спокойствия от Неба просит
Пловец, застиженный в морях;
Как путеводные заносит
Луну и звезды тучи мрак.
Вольнолюбивы Тракияне,
Колчан носящие Мидяне,
Спокойство все хотят найтить:
Но, Гросф, его ни жемчугами,
Ни золотом нельзя купить!

Богатств Атталовых стяжанье[2]
Смятений сердца не уймет;
И ликторов препровожанье[3]
Толпы не отдалит сует.
Душа, снедаема тоскою,
Не может обрести покою,
При всех ей счастия дарах:
Он часто в хижине селится;
А скука томная гнездится
В златых высоких теремах.

Блажен, кто в тихой, низкой доле
Богат, умеет малым быть;

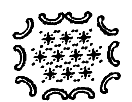
Стяжать себе не хочет боле,
Как чем лишь скромно век прожить.
Хлеб-соль простая — угощенье,
Стола опрятно украшенье,
Солонка дедовска одна;[4]
Ни алчность почестей и власти,
Ни жадность лихоимной страсти
Не возмущают легка сна.

Почто туда-сюда мешаясь,
Трудишься, краткой век губя?
Отчизны милой удаляясь,
Ушел ли кто сам от себя?
Иной под чуждо небо мчится;
Но скука с ним в корабль садится,
И от коней не отстает;
Скорей, чем лань быстротекуща,
Скорее Эвра, мрак несуща,[5]
Как тучи грозные женет.

Коль настоящее приятно,
О будущем не помышляй;
И зная, счастье сколь превратно,
Весельем горести смягчай.
Низвергла рання смерть Ахилла,
Титона дряхлость иссушила:[6]
Кто счастлив был со всех сторон?
В чем рок скупый тебе откажет?
С избытком, может быть, окажет
В том мне свою щедроту он.

Тебе в долинах Сицилийских
Рычащих сотни стад пасут;
Кони от кобылиц Тракийских
Под пышной колесницей ржут;
В червец, которым Тир гордится,
Двукратно волна погрузится,[7]

Твое чтоб рамо украшать;—
А мне судил рок часть смиренну;
Любить Ахейскую Камену,
И чернь злоречну презирать.



КРАТКОЕ РАССУЖДЕНИЕ О ГОРАЦИИ

Я переводил Горация с тем намерением, чтобы выдать книгу, полезную для училищ и вообще для упражняющихся в латинской словесности: читал же первую сатиру в *Беседе*, убежден будучи к тому почтенными сочленами моими. Теперь издаю ее как образчик труда моего, с подлинником и примечаниями, приглашая просвещенных знатоков и любителей латинского языка показать мне ошибки и недостатки мои.* Их наставления я приму с благодарностию; и прочие все сатиры, поочередно, такому же суду охотно подвергать буду, до тех пор пока, очистив их от погрешностей и надежен на себя одобрением беспристрастной критики, я издам полный труд мой достойным цели, которую себе предположил.

Муравьев-Апостол

Гораций, коего имя обыкновенно возбуждает в воображении нашем понятия о высочайшей степени совершенства в лирической поэзии, не только как соревнователь Пиндара,[1] но и как философ заслуживает уважение наше и почтение. В нем природа, кажется, хотела, как будто бы любуясь творением своим, показать явление самое редкое: совокупление изящности даров между собою противоположнейших — воображения и рассудка. Между тем как Гораций, с лирою в руках, восхищает слушателя и вводит его за собою в сонм богов на Олимпе: представляет до-

---

* Краткое рассуждение о Горации написано мною только для *Беседы*: оно служило вступлением к чтению сатиры.

бродетельного мужа, непоколебимо стоящего посреди разрушения миров;* или, увенчанный розами и плющем, пленяет то веселым голосом Анакреонта,[2] то сладким пением на ладу Лезвийской певицы;[3] в сатирах и посланиях своих он является мудрецом глубоким, но кротким и всегда любезным, играющим, как говорит о нем Персий,[4] около сердца человеческого** и который, конечно, кроме Сократа никому не уступает пальму философии.[5]

Приуготовлен ранним испытанием превратностей счастия, изучен благонравию в училище злополучия,*** он правила свои составил на тонком наблюдении человека в обществе и, презрев следовать рабски за тем или другим из основателей философских сект,4* брал золото, где находил его, и срывал цветы, где бы ни встречал их, в саду ли Эпикура или Академии.[6] Таким образом, сатиры его и послания составили полный и прекраснейший круг учения нравственной философии, тем более пленяющей нас, что проповедник оной не есть отвратительный циник или угрюмый мудрец, скрывающий под грубым плащом слабости свои и спесь, но остроумный, тонкий, ловкий придворный человек, в устах коего истина становится любезнее и добродетель краше.

---

* Si fractus illabatur orbis
Impavidim ferient ruinae
Horat. Carm. Lib. III. Ode 3.
⟨Если вдруг мир, распавшись, рухнет,
Достойный муж, не дрогнув, примет его обломки.
Гораций. «Оды». III. 7—8⟩

** Onme vafer vitium ridenti Flaccus amico
Tangit, et admissus circum praecordia libut.
Persii. Satira I. V. 116.

⟨Лукавый Флакк затрагивает все пороки друзей
И, имея позволение, играет возле сердца.
Персий. «Сатиры». I, 116⟩

*** Гораций 22 лет пристал к Бруту и Кассию;[7] служил в их войске трибуном военным; но по разбитии оных на полях Филипийских,[8] бежал и, возвратясь в Рим, долго принужден был искать пропитания в отправлении должности Квесторского писаря.[9] Таким образом, от самых юных лет гоним судьбою, он не прежде испытал благоприятство счастия, как на 30 году жизни своей, когда с Меценатом познакомился.[10]

4* Ac ne forte roges, quo me duce, quo lare tuter.
Nullius addictus jurare in verba magistri,
Quo me cunque rapit tempestas, deferor hospes.
Horat. Ep. Lib. I. Ep. I, vers. 13.

⟨И, пожалуй, не спрашивай, какой наставник или дар хранит меня.
Не присягнув на верность ни одному учителю,
Странником я влеком всюду, куда бы ни послала погода.
Гораций. «Послания». I. 1, 13—15⟩

Сколь ни различны между собою предметы размышлений Горация, сколько ни разнообразны краски, им в картинах его употребляемые, мы, однако же, находим в нем главную, господствующую мысль, которая хотя под разными видами, но всегда и везде неизменною представляется не только в философических, но и в лирических творениях его. Мысль сия может послужить определением философии его, и вот она: «*Спокойствие духа и независимость* суть верховные блага человека; *умеренность* есть вернейший способ к достижению оных».

Правилу сему Гораций во всю жизнь свою ни разу не изменил. Любимец Октавия,[11] друг Мецената, живущий посреди пышностей столицы — и какой столицы! — Рима; во времена Августовы, в столетии столько же просвещенном, как и развратном, он по уму и вкусу только современник был века своего, по умеренности же и простоте нравов достоин был бы жить вместе с Сципионом и Камиллом.[12]

«Землицы уголок»* было все желание Горация: он получил его от друга и покровителя и более уже ничего не искал. Часто удаляясь от шума городского, он скрывался в *Тибурском* домике своем, увековеченном лирою его, но которого теперь на земле и следа не осталось. Не менее того просвещенный путешественник, посещая новейший *Тиволи*, любит и поднесь, скитаясь по горам *Сабинским*, при каждом восхитительном местоположении мечтать, что, может быть, тут стоял сельский домик поэта-философа, может быть, тут, упоенный счастием *независимости* и *спокойствия*, он писал к другу своему Гросфу:

Блажен, кто в тихой, низкой доле,[13]
Богат умеет малым быть;
Стяжать себе не хочет боле,
Как чем лишь скромно век прожить.
Хлеб-соль простая, угощенье;
Стола опрятна украшенье,
Солонка дедовска одна:
Ни алчность почестей и власти,
Ни жадность лихоимной страсти
Не возмущают легка сна...**

---

* Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus.
Horat. Lib. II. Sat. 6.

⟨Желания были таковы: небольшой надел земли...
Гораций. «Сатиры». II, 6, 1⟩

** *Horat.* Lib. II. Ode XVI.

Сии-то пороки: *алчность к почестям* и *жадность к богатству* — суть предметы первой сатиры, коей перевод я осмеливаюсь читать в *Беседе*. Не входя о ней в подробности, на кои я осудил себя как толкователь Горация, скажу только нечто о догадках моих: почему Гораций посвящает сатиру сию Меценату? По тому ли только, что он и первую оду ему же посвятил? — Посмотрим.

Характер Мецената столько известен в истории, что лишнее было бы и говорить о нем; но здесь должно напомнить, что посреди господствующих в Риме пороков наперсник и друг Октавия ознаменовал себя умеренностию. Довольный состоянием своим, он не искал приращения богатств и не хотел променять свободу частного человека на все почести, коими охотно бы украсил его Август. — «*Умно живешь, естьли умеешь быть доволен участью своею!*» — говорит Гораций Аристию,* и никто истину сказания сего лучше Мецената не оправдал. Я воображаю себе, что, разделяя свободные часы с Вергилием, Варрием, Горацием[14] и прочими Муз его любимцами, ему случалось с удовольствием обращать речь на самого себя и говорить: «Я бы мог утроить доходы мои; не выезжая из Рима, управлять провинциями и накопить огромные сокровища —, но к чему лишнее богатство! — Я ценю деньги только по наслаждениям, которые они доставлять могут, и по мне довольно того, что мне осталось после отца. Также от меня зависело быть консулом и с Государем разделять верховную власть в республике. Но я и того не захотел, ибо в *широкой пурпуровой койме*** я вижу только прибавку забот и беспокойств. В рыцарском состоянии я родился[15] и в нем умру: люблю Октавия, пользуюсь его доверенностию — вот мои почести; разделяя же с ним попечения о правительстве, я не служу и свободы не теряю; но угождаю другу, коего честь и слава мне драгоценнее всего на свете». — Такой или подобный сему разговор легко мог удостоверить тонкого придворного человека, каков был Гораций, что похвала на счет умеренности не противна будет покровителю его. — Другой бы сказал: «Меценат, ты прямо философ! тебя не прельщают ни почести, ни богатство». — Гораций искуснее хвалить умеет. Исследовая загадку сердца человеческого, которое никаким

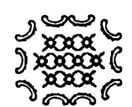
---

* Laetus sorte tua vives sapienter Aristi 〈...〉
Horat. Ep. Lib. I. Ep. X, vers. 44.

〈Довольствуясь своим жребием, ты, Аристий, будешь жить разумно 〈...〉
Гораций. «Послания». I. 10, ст. 44〉.

** Широкая пурпуровая койма, которою в два раза обшивалось платье верховных чиновников в Римской республике, называлась Laticlavium. — Angusticlavium, такая же койма поуже, принадлежала низшим чинам.

состоянием довольно быть не может, он с умыслом просит разрешения у того, который именно ознаменовал себя умеренностью в желаниях. — Вот мое заключение, и теперь приступаю к переводу сатиры, к коему наперед испрашиваю все снисхождение как не к совершенному труду и слабому, который я предпринял не из славолюбия, но для пользы сограждан моих, упражняющихся в латинской словесности.



РАССУЖДЕНИЕ О ПРИЧИНАХ, ПОБУДИВШИХ ГОРАЦИЯ НАПИСАТЬ САТИРУ 3-ю ПЕРВОЙ КНИГИ

Август, довершив порабощение Рима, начатое Юлием Цесарем, умел сохранить власть свою притворным уважением к народной свободе и тщательным соблюдением наружностей в обрядах республиканского правления. Он царствовал, но под именами консула и трибуна, столь священными для римского гражданина и с коими сопряжены были все лестные воспоминания о славе и могуществе Империи.*

В таком положении можно о нем сказать, что, не имея *двора*, он имел *придворных* и, не называясь *царем*, окружен был *царедворцами*. Что нужды, впрочем, до звания: где могущество, тут, наверно, и льстецы! В числе людей, составляющих челядь сию, были завистники Горация и Вергилия. Ума посредственного человек ничем так не оскорбляется, как преимуществами, которые дают дарования; и по сему заключить можно, что Вергилий и Гораций *оскорбили* не одного из тех, которые окружали Августа и Мецената.

Но как придраться злословию к таким людям, которых ни в чем нельзя было укорить, которые не искали у Августа ни эдильства, ни преторства[1] и из коих один состязался только с Пиндаром, а другой восхотел и разделить с певцом богов венец, до которого, чрез тысячу лет, никто коснуться не смел? — На злословие положиться можно: оно найдет, к чему привязаться.

Виргилий был неловок в обществе. Унылость его, коей отпечаток виден почти на каждой странице «Энеиды», казалась поверхностным на-

---

* Non regno tamen, neque Dictatura sed Principis nomine constitutam Rempublicam. — *Tacit.* Ann. Lib. I. IX. ⟨«Однако государство управлялось именем не царя или диктатора, а принцепса» // Тацит. «Анналы». I, 9⟩.

5 Зак. № 3250

блюдателям угрюмостью. В шумной беседе, за столом у Мецената, которую Август называл Mensa Parasitica,* где пустомели, наперерыв друг друга, старались вымолвить колкое словцо, он более отмалчивался; а иногда, выйдя из терпения, давал *паразитам* сим чувствовать свое презрение.[2]

Такой человек не мог им нравиться. *Быть в милости у Августа и Мецената и не уметь ценить наше общество! не участвовать в острых замысловатых наших разговорах! урод!* — говорили они: и подлинно *урод!* — только не в обыкновенном смысле слова сего. Между тем как подлые насмешники (не им замеченные, а другом его Горацием) насчет его перешептывались и шутили, соперник Омира мечтал: *смерть Дидоны; поражение Лауза; Мезеитово отчаяние; погребальный ход Палланта*; и, может быть, в то самое время, когда задумчивость его возбуждала улыбку кощунства, он составлял в воображении своем тот бессмертный, неподражаемый стих, которым в пяти словах он сказал, что последнее умирающее в благородной душе есть — *Любовь к отечеству!* — et dulcis moriens reminiscitur Argos.**[+3]

К Горацию труднее было привязаться и наипаче опаснее зацепить его: сатира в руках его была орудие, от которого ненавистники его трепетали. Сколько умен, столько и ловок в обществе, чист и непорочен в домашней жизни; возможности не было злословию явно на него напасть, и для того прибегло оно к обыкновенному в таком случае способу язвить изподтиха, описывая его человеком хитрым, без правил, без веры, коего нравственные начала приноравливаются ко всяким обстоятельствам так, что на Филиппийских полях при Бруте он был республиканцем, а в Эксвилинском замке Мецената ласкателем временщика и угодником единоначалия в особе Октавиана.

Я не отрицаюсь от пристрастия к Горацию: все те, которые занимаются исключительно каким-нибудь классическим автором, легко впадают в погрешность сию; а я, давно упражняясь в разборе законодателя вкуса, не избежал, конечно, общего жребия и утешаюсь только тем, что предпочтение мое к Горацию извинительнее, чем Бребефово к Лукану;[4] но несмотря на то пристрастие мое не столько еще слепо, чтоб я захотел признаться в том, что весьма трудно совершенно оправдать Горация в непостоянстве политических его мнений. — Сперва приверженец Брута и Кассия, потом, по истреблении их партии, обожатель Августа: можно не

---

* трапеза прихлебателей (*лат.*).

** и умирающему вспоминается милый Аргос (*лат.*).

без причины о нем сказать, что, подобно баснословному Протею,[5] он по обстоятельствам принимал на себя разные виды; и я на сей случай, хотя неохотно, но должен согласиться, что обвинение не вовсе без основания.

Однако же, чтобы оправдать в нем если не римского гражданина, так по крайней мере человека, то да позволено мне будет бегло окинуть глазом состояние общества во время Августа относительно ко влиянию философских мнений на политический состав империи и взаимно политических обстоятельств на философию. Может быть, взгляд сей послужит нам доказать, что в сие несчастное для республики время не оставалось другого честному человеку, как или умереть Катоном, или жить Горацием.[6]

Упоенные славою властолюбия, римляне долго не знали других ума наслаждений, кроме тех, которые дарует народная гордость, в полной мере удовлетворенная преодолением всех препятств и покорением всех врагов. Осьмой век бытия *бессмертного Рима* видел его владеющим над всем почти пространством известного тогда мира и над просвещеннейшею частию рода человеческого. Достигнув до такой высоты, обладатель света Рим не избежал общего жребия всех государств: он начал клониться к падению своему по той причине, что уже невозможно было ему подыматься выше.

Безмерной величины колосс возрастал беспрерывно до тех пор, пока не потерял равновесия своего; и хотя бы сего одного достаточно было к ниспровержению оного, но к пагубной тяжести его присовокупилися еще и другие причины, менее явные, но не менее действительные к поколеблению основания его.

Афиняне, сии любимые дети природы, которые во дни младенчества Рима немногими тысячами свободных граждан истребили миллион рабов персидского деспота, во дни Персея и Ахейского союза[7] поработили себе и завоевателей своих римлян, не тем оружием, которым сражались на полях Маратонских и при Саламине,[8] но другим, не кровью, а цветами покрытым: художествами, искусствами, философией и, опаснейшим из всех, роскошью, которая, по несчастию, всегда вслед идет за просвещением. Вотще угрюмый ценсор Катон[9] вопиял противу чужеземного учения; вотще *Отцы* Сената изгнали из стен городских мудрецов Греции: Афины, наконец, восторжествовали; и посольство Карнеадово[10] было триумфальный вход греческого любомудрия в новую область свою — Рим.

В то время философия как наука жизни (я не говорю здесь о умозрительной) разделялася на три главные отличительные черты: *Академия, Зенонова школа*[11] и *Эпикуреизм*. — Сии три различные потоки, от од-

ного источника проистекшие, представляются наблюдению нашему под следующими видами: *Доверие*, или излишнее на силы свои надеяние, в *Зеноне*; противуположное сему *безверие* в *Эпикуре*; и посреди, между двумя первыми, *недоверие* — в *Академии*. *Платон*, основатель последней, истощил богатое, живое воображение свое на то, чтобы рассмотреть со всех сторон, во всех извитиях, как говорится, *за* и *против*, все нравственные начала, которые наставник его Сократ утверждал единственно на опыте. Из сего последовало сие философское *сомнение*, которое, не допуская слепо вверяться первым впечатлениям, заставляет разбирать в тонкость предложения и основывает убеждения на большем правдоподобии.

По сему можно назвать Платона отцом того благоразумного и осторожного *скептицизма*, который, по разным изменениям, преходя чрез среднюю и новую Академию, во дни наши произвел одного из величайших умов, честь века своего — Канта.[12]

Зенон, одаренный сильною и благородною душою, слепо веровал в совершенство человеческого естества и поставил добродетель выше возможности. Возобновитель Антисфенова *космополитизма*,[13] он заключил совершенство, добродетель или верховное блаженство, что в языке его суть синонимы, в отвержении самого себя, для исполнения того, что служит к благу отечества или вообще рода человеческого.

Наконец, Эпикур, восстановитель Аристиппова *эгоизма*,[14] не веря тем утешительным началам, которые сближают человека с небом, и относя все к себе, а не себя ко всему, как Зенон, произвел тот опасный догмат, который поставляет верховное блаженство единственно в наслаждениях чувственности.

Таковы были семена философии в Греции, и таковы они были пересажены на землю Италийскую, во времена Карнеада: но сия, тогда еще мало обработанная, земля долго не производила плодов; и доколе Антиох и Митридат угрожали безопасности империи,[15] доколе продолжалась буря междоусобия и не решился еще вопрос, двум или одному достанется в добычу республика; философия, наподобие изящных искусств, занимала, исключая немногих, одни только праздные умы.

В обыкновенном состоянии общества, когда все идет известным порядком, сходным с понятиями, принятыми от воспитания и привычек, большая часть людей, увлеченная выгодами жизни или забавами ея, мало заботится о том, чтобы *постичь начала вещей*; наслаждаясь *действиями*, она не помышляет о *причинах*.

Напротив того, когда узел, связующий общество, расторгается и общее несчастие угрожает всем состояниям, тогда мыслящий человек,

лишенный с безопасностию и выгод жизни, и пораженный ужасом зла, все вокруг объемлющего, выходит, так сказать, из круга обыкновенных понятий и вне оных ищет себе утешения. В подобных сему случаях мы прибегаем к вере Святой и находим в ней спасительный оплот противу бурь житейских; древние, не имев того надежного пристанища, которое нам дает откровение, искали подкрепления, утешения, надежд в учении философов, каждый, по направлению ума или склонности сердца своего, избирая путеводителем того из мудрецов, который наиболее ему нравился.

От сего мы видим, что в одно время при тех же обстоятельствах, одушевленные одним и тем же духом, Катон и Брут следовали догматам Стои; Кассий — учению Эпикура; а Цицерон в принужденном уединении своем в Тускулане предпочитал всякому просвещению *заблуждаться вместе с Платоном.*

Из краткого сего трех систем обозрения можно уже догадаться, к которой из них должно клониться главное умов направление во время распрей между Антонием и младым Октавианом.[16]

Платонизм не мог иметь многих последователей: он требовал более утончения в понятиях, более учения, нежели было тогда в Риме; — Зеноновы правила сделались уже слишком строги для изнеженных роскошью потомков тех римлян, которые были стоиками по чувству, и не подозревая, что есть в Афинах какие-то *Врата*,[17] под коими преподаются правила, как должно быть добродетельну; — но Эпикур, угождая чувственности и освобождая умы от спасительного страха мстителей богов, должен был найти и в самом деле нашел наиболее ⟨стойких⟩ последователей в таком обществе, где хладный эгоизм, задушив все гражданские доблести, разрушил наконец состав республики, пятьсот лет стоявшей, и приуготовил ужасный век Калигулы, Нерона и Домициана.[18]

В последнюю борьбу между свободою и рабством Гораций служил в полках Брута и Кассия. В угодность ли первому или, что вероятнее, повинуясь собственным побуждениям сердца своего, молодой Трибун следовал тогда учению Зенона; в чем, как мне кажется, он и сам признается в первом послании своем к Меценату.* Когда же спор навсегда решился в

---

* Nunc agilis fio, et mersor civilibus undis,
Virtutis verae custos, rigidusque Satelles.
Epist. Lib. I. E. I. Vers. 16.

⟨То становлюсь деятельным и погружаюсь в житейские волны:
Страж и непреклонный спутник истинной доблести.
«Послания». I. 1, 16⟩

пользу деспотизма и *бесстрашные пали и обагрили кровью своею поля Филиппийские*,* тогда Гораций, случаем спасенный и случаем же пристроенный к жизни беспечной и спокойной, уразумел, что в состоянии, в котором общие нравы тогда находились, если бы воскресли Брут, Катон и им подобные, то и их покушения были бы тщетны: возвратить свободу недостойным ее римлянам, которым вместо всех гражданских доблестей осталась единственная рабства добродетель — слепое повиновение. В таком отчаянном положении вещей он составил себе, можно сказать, собственную свою систему нравоучения, почерпнутую из всех моралистов, наипаче же из преданий о Сократе, и приложенную к обстоятельствам в такой силе, чтобы *ими обладать, а не им покориться* — mihi res, non me rebus subjungere,** + [19] — и когда уже возможности не было спасти свободы, ни гражданской, ни политической, то по крайней мере свою бы личную избавить от насильства страстей и владычества неумеренных желаний.

Что Гораций в сем успел, мы можем в том поручиться; ибо вся жизнь его служит тому ясным свидетельством: но не менее того *политическая апостасия* его подала легкий повод завистникам его, носящим на себе личину последователей Зенона, укорять его в перемене правил, приписывая оную перемену не убеждению, а непостоянству характера, которое всегда обличает или слабый ум, или поврежденное сердце. По сей догадке моей можно, кажется, ясно видеть, почему Гораций всегда с приметною досадою говорит о последователях Хрисиппа,[20] одного из твердейших подпор Зенонова учения.

Я вошел в подробности, коими боюсь наскучить; но они мне показались необходимыми для лучшего уразумения следующей сатиры, которую, как явствует из вышесказанного, Гораций написал в защиту друга своего Вергилия от глупого кощунства и себе в оправдание. В ней три главных предмета: 1-й, показать, что мы замечаем в ближнем самые легкие погрешности, тогда как в себе и гнуснейших пороков не видим; 2-й, что без взаимного снисхождения к слабостям дружба существовать не может. — До сих пор на счет Вергилия. — 3-й предмет, которым он

---

* Cum fracta virtus et minaces
Turpe solum tetigere mento.
Carm. Lib. II. Od. VII

⟨Когда доблесть пала, и грозные воины
Покорно склонились долу.
«Оды». II. 7, 11—12⟩

** подчинить себе обстоятельства, а не покоряться им (*лат.*).

себя имел в виду: что мы с большою осторожностью должны наблюдать, чтобы в обвинении ближнего следовать уставам рассудка, а не пристрастиям. По поводу сего последнего он разбирает парадоксы стоиков *о равенстве пороков, о совершенстве мудреца* и до конца сатиры преследует их бичом самой острой и колкой насмешки.

Еще остается мне сказать несколько слов о *музыканте Тигеллии*,[21] описанием коего начинается сатира. Певец сей был родом сардинец; в милости у Цесаря, у Клеопатры и, наконец, у Августа. Человек низкого происхождения; из земли, коей жители были в презрении у римлян,* он втерся в общество сперва к Цесарю, а потом к Октавиану сколько по художеству своему, столько и по искусству льстить порокам и угождать страстям. Люди такого разбора нередко бывают терпимы у вельмож, которые ими забавляются, хотя в душе их и презирают.

Как ни трудно с первого взгляда поверить, чтобы можно было согласить *забаву* и *презрение*, но не менее того оно так водится на свете; и случается, что Августы, вместе с Вергилиями и Горациями, принимают и Тигеллиев; да еще того удивительнее, иногда с сими последними забавляются на счет первых. При таковых обстоятельствах и то должно вменять в благополучие, когда шуты только что забавляют, а не вредят, повидимому, оно так было при Августе.

Но кто бы поверил, что во дни еще республики Тигеллий мог быть вреден, и кому? — Цицерону! По несчастию, оно так: мы видим из письма в Аттику, что Цицерон упрашивает друга своего употребить все меры для примирения его с Тигеллием, *в чем имеет крайнюю нужду*: Tigellium totum mihi et quidem quam primum nam pendeo animi.** — Итак, бывший консул, *спаситель Рима, отец Отечества* боится! Кого? — Певца Тигеллия! Можно с ним же вместе воскликнуть: *О, времена! О, нравы!*

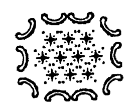
Заметим еще следующее: 1-е, веселое и шутливое вступление сатиры: Гораций пишет против злых пересудчиков и начинает с того, что сам пересуживает с тем намерением, чтобы его спросили: А ты сам каков? — Из чего так непринужденно и ловко последует прекраснейший разговор о злословии, составляющий первую часть сатиры. 2-е, пересуждение

---

* В пословицу вошло говорить о них: Sardi venales, alius alio nequior. ⟨Продажные сардинцы, один другого негоднее (*лат.*)⟩.[22]

** «О Тигеллии расскажи мне все и как можно быстрее: ведь я в нерешительности» (*лат.*).

именно Тигеллия с тем, как мне кажется, чтобы зацепить неприметно и самого Августа. Повелитель Рима унижается до того, чтобы *просить*, тогда как принудить может, и кого же? — Сардинца Тигеллия! Умоляет его *из дружбы к отцу и к себе*; и не успевает! Прекрасный урок: и такой, что рассердиться нельзя было, ибо весь смех кажется на счет упрямого музыканта.



ПИСЬМО К ПРИЯТЕЛЮ

Δωροφάγοι, σκολιῶγ δὲ δικῶγ ἐπὶ πάγχν λὰβεσβε.
Οἶ δ' αὐτῷ κακὰ ἶεὐχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεὐχων

Пожирающие дары, хорошенько скрывайте ⟨ваш⟩ кривосуд.
Самому себе вредит тот, кто наносит вред другому.

Hesiod. Op. cit. Dies. 264—5.

Вы желали иметь историческое сведение о моем *апостольстве*, о деле, которое, конечно, займет не последнее место в собрании (естьли за таковое когда-нибудь и у нас примутся) des Causes Célèbres:* ополчитесь же терпением; ибо я, по примеру древних повествователей о Троянской войне, должен начать *от яйца*, из которого вылупилась Елена, *толиких бед виновница!*[1]

В 1796 году, путешествуя по южной России, я заехал к Апостолу, потому что жилище его было на пути моем в Киев. Он принял, обласкал меня, как ближайшего родственника. Я прогостил у него дня три; и этим ограничилась тогда связь наша: ибо, возвратясь в столицу, я вскоре был назначен министром вне государства и не прежде возвратился в отечество мое, как чрез четыре года, в конце 1800.

Я не успел еще оглядеться около себя, как явился ко мне поверенный Апостола, прося меня защитить верителя своего от нападений ближних его родственников, кои, пользуясь его сиротством и заключив союз между собою, истощали все способы ябеды, дабы лишить его, еще при жизни, всего достояния его. Руководствуясь простым, бескорыстным участием, внушенным мне, с одной стороны, сожалением к беззащитности, с другой презрением к корыстолюбию, я горячо вступился за обиженного, и мне посчастливилось представить дело его в настоящем виде некоторым особам, тогда делами рода сего управлявшим.[2] Человек, который был накануне того, чтобы всего лишиться, даже убежища и пропитания, и вдобавок к тому быть заключенным в монастыре,[3] увидел себя

---

* «Знаменитых Тяжеб» (*лат.*).

вдруг торжествующим над врагами своими, их уничтоженными, себя освобожденным от их угнетения.

Таков был внезапный оборот дела Апостола, и в сем состояло единственное право мое на благодарность его, которой, впрочем, я не ожидал и не требовал. Да и он, так сказать, не помрачил чистоты моих намерений: ибо не знав еще о неожиданном перевороте в его делах, он сделал мне первое предложение принять фамилию *Апостол* и по нем в наследство все имение.

Я долго колебался принять предложение его, представляя ему: 1) что вся цена моих к нему заслуг потеряется, как скоро можно будет привязать к ним мысль о корысти; 2) что он имеет родственников, которые хотя по крови к нему и не ближе меня,[4] но по установленному законами порядку имеют преимущественное против меня право на наследство; 3) что, имев счастие защитить его от гонений его ближних, я чрез то самое сделался неспособным быть беспристрастным судьею между ним и ими, и, наконец, 4) что, будучи лишен, от самого рождения моего, удела, принадлежащего матери моей,[5] я довольствоваться буду им одним, и тем охотнее, что я приму от него *как дар* то, что он исполнит *как долг*.

Все отговорки мои остались тщетными. Апостол непоколебимо стоял в своем намерении, отражая мои заключения следующими доводами: на 1) что чистота намерений моих не может затмиться подозрением видов корыстолюбия, ибо он давно уже питал в душе своей мысль иметь во мне единственного преемника имени и достояния своего, чему служит доказательством и то, что он сделал мне предложение прежде, нежели мог узнать о успехе дел своих в столице; на 2) что по праву естественному он никогда не признáет родственниками гонителей своих; а по праву гражданскому, то есть по конституции, которая в силе в Малороссии,[6] может отдать имение свое не только мимо племянниц, но даже и мимо детей своих, кому заблагорассудит, хотя бы и совершенно постороннему лицу;* на 3) что он не приглашает меня быть судьею между ним и ближними его, но желает только, чтобы я убедился в том, что во всяком случае отрицание мое останется для прочих родственников его бесполезным: ибо он непоколебимо решился отдать, естьли бы я отказался, имение свое

---

* Узаконяем, что каждому позволяется свои имения, отцовские и матерние, выслуженные и купленные и другим каким-либо образом приобретенные и названные, не токмо треть или две трети, но все вообще, сколько бы кто ни имел, или половину, или по какой бы ни было части, или людей, или земли, что похощет по желанию и намерению своему отдать, продать, подарить, записать, заложить, или от детей и родственников отдалить и по своему усмотрению распоряжать. — Статут. Разд. VII, арт. I.

первому кого повстречает, с тем только, чтобы оно никогда не могло достаться в руки тем, коих единственная цель была отравлять спокойствие его жизни.

После сего мне ничего другого не оставалось, как или принять предложение без условий, или наотрез отказаться от оного. В недоумении моем я прибегнул к советам друзей моих: просил их, чтобы они решили за меня ответ мой. В числе друзей сих я с гордостию назову тех, которых теперь уже нет на поприще жизни: то были брат мой Михайла Никитич Муравьев, графы Строгановы, отец и сын,[7] Гаврила Романович Державин.

Любя меня и славу мою, они прилежно занялись предметом сим, рассмотрели оной со всех сторон и единоустно объявили мне, что я без всякого зазрения совести не только могу, но должен принять предложение Апостола; должен как в отношении к Апостолу, дабы оправдать его ожидания, так и в отношении к самому себе, дабы не приуготовить себе позднего раскаяния в том, что, будучи обременен многочисленным семейством, я отказался от благосостояния оного, самим Провидением мне представляемого; тем еще более, что и самое отрицание мое не может оправдаться даже излишнею нежностию чувств; ибо по принятому Апостолом твердому намерению оно не принесет ни малейшей пользы прочим родственникам его.

Я убедился. Однако же намерение мое было, чтобы Апостол в унаследовании меня не утруждал государя императора, а поступил бы просто, по законам, по неоспоримому праву, данному ему Литовским Статутом. Он на то не согласился. Желание его состояло в том, чтобы к его праву присовокупить еще торжественность монаршего утверждения. Я должен был и тут уступить желанию его. Прошение Апостола подано было государю императору, и изложенная в оном воля его удостоилась высочайшего одобрения чрез именный указ Правительствующему Сенату от 9 апреля 1801 года.

Таким образом, сделавшись сам Апостолом и наследником, я вскоре отправился в Вену с поручениями нашего двора. Два года спустя по отъезде моем Селецкая (мать Синельниковой) подала на имя государя просьбу, в которой она представляла, что Апостол не имел права унаследовать мимо меня его дочерей. Государь император, по свойственной ему любви к правосудию, несмотря на утверждение свое, повелел Сенату рассмотреть дело мое снова в комитете правоведцев и доложить ему, подлинно ли усыновление и унаследование меня Апостолом основано на правах и коренных законах Малороссии.

Сенат докладом своим государю императору донес, что поступок Апостола подлинно основан на неоспоримых правах Литовского Статута и что вследствие сего никто уже из прочих родственников не имеет права требовать мне записанного имения.

Я подлинно и не был тревожен никакими притязаниями чрез целые 15 лет, до самой кончины Апостола. Тут вдруг появилась духовная, чрез которую умерший, будто бы, отрешает меня и называет наследницею всего имения своего Синельникову.

Я некоторое время не мог верить, чтобы право мое, на столь незыблемых началах основанное, могло быть поколеблемо иным чем, как только тою властию, которая одна может переменить то, что сама утвердила.

Однако ж заблуждение мое кончилось, когда я узнал, что Миргородский поветовый суд, из ничтожнейших и подлейших людей составленный, не только что чрез несколько часов по смерти Апостола утвердил духовную и ввел Синельникову во владение имением, но даже и мгновенно не поколебался в поступке своем и не уважил акта усыновления моего, 15 лет уже существовавшего и высочайшею волею утвержденного.

Тогда, дабы по крайней мере остановить расточение имения, я прибегнул к последнему средству; к прошению наложить опеку на имение до Высочайшего разрешения, ибо сего рода дело и не подлежало никакому другому разрешению.

Полтавское губернское правление, вняв справедливой просьбе моей, приступило уже к наложению опеки; но Синельникова предупредила исполнение сей меры жалобою на правление в Сенат; а бывший тогда министр юстиции предписал, чтобы опеку отменить, имение отдать Синельниковой, а мне предоставить ведаться с нею формою суда. Последствием сего несправедливого решения было конечное разорение всего имения; конной завод, в котором и государство находило выгоды, приносивший до ста тысяч рублей дохода, истребили до основания.

При таковых обстоятельствах мне оставалось только прибегнуть к источнику правосудия, к государю. Он немедленно благоволил повелеть Комитету министров своих рассмотреть просьбу мою и дать свое мнение о ней. Сей Комитет, исключая одного пристрастного голоса, единогласно положил, что права мои неотъемлемы, заметив при том, что 3-й Сената департамент поступил неправильно и вследствие заключений своих определил, чтобы имение мне немедленно было отдано, за исключением, однако же, Киевского и Херсонского, о которых в просьбе Апостола не было упомянуто, предоставляя мне, впрочем, право и те имения отыски-

вать судебным порядком. Журнал Комитета министров удостоился Высочайшей конфирмации.

Здесь заметить должно в помянутой просьбе Апостола два обстоятельства: 1) на которое опирались люди, желавшие лишить меня достояния моего; 2) по которому гг. министры заключили оставить в руках Синельниковой Киевское и Херсонское имения.

1). Слова Апостола: *но доколе я жив, по то время располагать всем тем имением право остается при мне* толковались недоброхотами моими следующим образом: *хотя я и отдаю все имение по смерти моей Муравьеву, хотя торжественный акт усыновления и унаследования его сверх непоколебимости своей по Статуту Литовскому, утвердился еще и монаршим словом; однакож, несмотря ни на святость монаршего слова, ни на непреложность записи, которая по Статуту Литовскому никакою уже другою записью, а того еще менее духовною, отмениться не может,** *я предоставляю себе право все это отменить, когда только мне заблагорассудится.*

Для чего же было все это делать, и с таким *громом*, как говорит сам Апостол, если намерение было все это отменить? Но вопрос сей давно уже решен. Гг. министры, исключая одного, видели ясный смысл в сем предложении, и *сей один* доказал только то, что пристрастие имеет свою особенную логику, которая видит в словах то, чего ей хочется видеть, а не то, что подлинно есть. Ибо, если бы он вникнул только в точное значение наречия *по то время*, то признал бы, что *по то* не значит *за то*, или яснее сказать: *предоставляя себе право располагать имением при жизни моей, я не предоставляю себе права располагать оным за пределами жизни*, — и тут, конечно бы, вспомнил, что духовная располагает не *по то*, а *за то* уже время.

2). Имения Киевское и Херсонское, Апостолом не упомянутые, потому только не были включены в прошении его, что они тогда не были еще за ним; ибо просьба его, поданная государю императору, была писана в 1800 году, а Киевское имение приобретено им в 1804. В Херсонской же губернии 1800 года был только хутор, впоследствии уже населенный из тех самых имений, Апостолом упомянутых в прошении его, которыми я теперь владею.

---

* Статут Литовский дает право умирающему завещать по духовной только движимое и приобретенное имение, а не родовое. А поелику Апостол чрез запись свою, Высочайше утвержденную, усыновил меня еще за 15 лет до смерти своей, то никакая духовная не могла уже лишать меня наследства, на которое я получил право сыновнее (Разд. VIII, арт. 1).

В 1817 году приехав в Малороссию, я нашел в имении моем одни только развалины и следы опустошений, которые оставила по себе Синельникова. Хотя и задолго до прибытия моего в Малороссию я имел сильные подозрения, что духовная была подложная, рукоделье Синельниковой и соумышленников ее; однако же, не имев верных на то доказательств, я на первых порах моего там пребывания позвал Синельникову к суду в Киев, по причине ее там пребывания и потому, что имение, которое я доискиваю, лежит в той губернии.

Дело началось там гражданским порядком. Я имел в виду доказывать: 1) что духовная составлена не по правилам, законами предписанным; 2) что имение, мне возвращенное, которым Синельникова владела незаконно, произвольно ею разорено до основания; 3) что Киевское имение не упомянуто в просьбе Апостола потому только, что оно не было тогда еще в руках его; но что он не исключал и оного из общего мне по нем наследства, как то явствует из акта, в котором Апостол меня признает наследником своим в имениях его, в трех губерниях лежащих.

Между тем как иск мой начался в Киеве, я, будучи сам на месте, где скончал жизнь свою Апостол, открыл уже не одни подозрения, но яснейшие доказательства о подлоге духовной, как то: что Апостол никогда не помышлял о духовной, а того еще менее приглашал к себе суд для составления оной; что вызванный Синельниковой поветовый судья Киз, приехав к Апостолу за несколько часов до смерти его, впущен был в комнату его с таким объяснением: *что г-н Киз, случайно проезжая мимо Хомутца, заехал в дом, чтобы осведомиться о здоровье больного*; что часу во втором пополуночи священник, духовник Апостола, призван был с св. дарами для приобщения умирающего, коего (священника) Синельникова, встретив у дверей, убеждала, чтобы он на духу просил *дядюшку не оставить ее* (следственно, *дядюшка* ничего еще тогда не сделал для *племянницы*, иначе ей не для чего было бы просить священника), что священник не мог исполнить желания Синельниковой, потому что больной во время исповеди и причастия боролся уже со смертию; что священник не успел возвратиться в церковь (во ста шагах от дома), как уже прибежал посланный звать его читать отходную по *скончавшемся уже* Апостоле; что духовная подписана была в промежутке нескольких секунд, т. е. между борьбою со смертию и последним издыханием Апостола; что ослабевшею рукою умирающего или, лучше сказать, мертвого, водил некто Ломиковский, один из свидетелей духовной, и тьма подобных обстоятельств, одно другого гнуснее и подлее.

Открыв такое злодеяние, что должно было мне делать? Не говорю уже о том, что тяжба моя решится в ту минуту, как духовная признается ложною, я спрашиваю: можно ли мне было видеть зло и не открывать оное? Нет! Погрешает и тот, кто видит преступление и молчит о нем. Я отнесся к местному начальству; оно нарядило следствие, и следствие открыло все то, что я сказал, и может быть еще более. С тех пор губернское правление и военный губернатор неоднократно требовали чрез суды, чтобы Синельникова явилась в Миргород к ответу; но она более года, переезжая из губернии в другую, отклонялась от законного требования и, наконец, скрылась в С.-Петербурге, где вопиет против меня: «что я, не довольствуясь четырью тысячью душами, отнимаю у нее последний кусок хлеба и что, начав иск мой против нее гражданским порядком в Киеве, дал ему двоякий противузаконный ход в Полтавской губернии».

Ложь и бессмыслица. 1) Я не отнимаю у нее ничего, а возвращаю себе то, что мне принадлежит и что, если и будет мне возвращено, то не вознаградит и десятой доли того, что она у меня разграбила; 2) я не даю двоякого хода одному делу, но преследую Синельникову: в Киеве, как незаконно владеющую имением моим, а в Полтавской губернии, как преступницу по уголовному делу.

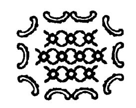
Следственно, Сенат не может видеть, будто бы я даю двоякий ход делам одинаковой сущности. Нет! Дело в Киеве гражданское; оно там и пойдет своим порядком, если я не докажу подложности духовной: ибо, начав дело в Киеве и взяв оное, как говорится тамошним судебным слогом, на поправку, я имею право возобновить оное когда захочу. Дело же в Миргороде совсем другого рода: оно уголовное, а всякое уголовное дело не может производиться иначе, как на месте преступления.

Я достиг до конца моего повествования. Но Троя еще не взята. Чем кончится осада, не знаю;[8] а единственное желание мое

Εὐ δ'οἴκαδ' ἱκέσθαι.*

---

* «Благополучно в дом возвратиться». Начав повествование мое Троянскою войною, я счел пристойным и окончить оное стихом из Омира.



ПИСЬМО
К ИЗДАТЕЛЮ «С⟨ЫНА⟩ О⟨ТЕЧЕСТВА⟩»

Имея честь уже несколько лет преподавать уроки Истории и Географии в благородном пансионе города *Череповца*, я, для руководства ученикам моим, написал «*Краткую древнюю Географию*», которую готов был издать, если бы не остановил меня № 7 «*Вестника Европы*», в котором имянно сказано, что *Эней создал Лациум.**+1 Я весьма в том сомневаюсь: но если оно, по несчастию моему, подлинно так, то мне должно будет переделать всю статью мою о древней Италии; и вы себе легко представить можете, какого это мне стоить будет труда.

Не имея чести быть знакомым с переводчиком первой песни «*Энеиды*» и не ведая даже о месте пребывания его, я принужденным нахожусь утруждать вас, милостивый государь мой, покорнейшею просьбою вывести меня, как можно скорее, из моего недоразумения, по двум причинам, для меня весьма неприятного ⟨свойства⟩: первое, потому что остановилось издание книги, от которой я ожидал себе и чести, и выгод; второе, что с тех пор, как появился здесь 7 № «*Вестника Европы*», я не знаю, как и совладать с учениками моими. Я говорю одно, а они другое. Я ссылаюсь на самого Вергилия, а они на перевод, говоря: *что в Москве нас умнее; что без основательных причин не заставили бы Энея созидать Лациум.* — Да помилуйте, — возражаю я, — сам певец Энея ясно говорит: inferretque Deos Latio, то есть внес богов в *Лациум*, а не создал оный; итак, если вы не хотите согласиться, что Лациум был от времен Сатурновых, то по

---

* «Много в войне пострадал он, прежде чем Лациум создал...»

крайней мере вспомните, что до Энея был Царь *Латин*, от которого ближе производить *Латинов*, когда вы не хотите, чтоб они были от *Лациум*, земли, однако же, а не города, о котором до сих пор и слуху не бывало. — Ничто не берет: ученики мои от рук отбились; да сверх того еще, на беду мою, замешался тут француз-учитель, великой мне не доброхот и сам толкователь Вергилия по Делилю.[2]

Находясь в таком затруднительном положении, мне вскоре придется или лишиться места, или убедить учеников моих, *что Эней Лациума не созидал*. Я знаю, что в Италии ежедневно отрываются обломки с надписями: может быть, и в самом деле на какой-нибудь из оных открылось, *что Эней создал Лациум*. В таком случае из снисхождения к нам, отдаленным от источников просвещения, должно было бы оговориться, сказав: *мы отступили от подлинника по таким-то и таким-то причинам*.

Если же это просто опечатка, то и тогда непременно нужно было бы, вслед за нею, объявить погрешность. Вы себе не вообразите, милостивый государь мой, какое зло может произойти от упущения сего необходимого печатного объявления о погрешностях. Мы от него лишились прекрасного молодого человека, который и до сих пор без места. Некто есть Полиандров.[3] Он преподавал Ботанику девицам нашего же пансиона.

Говоря о полах растений, а именно о шафране, одна из учениц, попроворнее других, прервав речь его, сказала: «Я знаю; разумею, что вы говорите: *шафран растет на тмине*». — «Как на тмине?» — возразил учитель. — «На тмине! На тмине!» — закричали все девицы в один голос и торжественно раскрыли перед ним «*Вестника*» же «*Европы*», в котором точно напечатано, что *шафран растет на тмине*; и это в переводе первой Вергилиевой «Георгики».*[+4]

Взбеленился мой Полиандров, более с Линнеем, нежели с Вергилием, знакомый,[5] начал шуметь, запутался в речах, пуще того рассердился; а девушки над ним смеяться, называть его *шафраном*; и кончилось тем, что он, схватив шляпу, ушел из класса и в тот же день отказался от места своего.

---

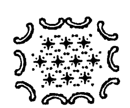
* «Не видишь ли ты, как *шафран* ароматами дышит на *тмине*»
В. Е. 1815. № 16,

а в подлиннике сказано:
«...Nonne vides, croceos ut Tmolus odores».[6]

Избавьте же меня, милостивый государь мой, от подобной участи скорейшим разрешением моего недоразумения: а я в предисловии моем к «Краткому руководству к древней Географии» не премину изъявить вам, пред лицем целого света, благодарность и почтение, с коими навек пребудет

Милостивый государь мой,
ваш покорнейший слуга
Вакх Страбоновский [7]

29 апреля, 1817
Череповец, Новг⟨ородской⟩ Губ⟨ернии⟩



⟨РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:⟩

Поэзия Эллинского языка, или Греческая Просодия, где ясно открыты правила, как писать греческие стихи, с прибавлением в разных родах стихотворений греческих. Москва, в Унив. тип. 42 стран. в 8*

Издатель сей книжки, принося ее любителям эллинского языка, между прочим, говорит в предисловии: «занимаясь преподаванием греческого языка, (я) нашел *новые, яснейшие* и полные правила поэзии греческой»

Смелым Бог владеет!

Но искать *новых* правил для поэзии греческой, кажется, уже поздно. Должно думать, что издатель не так объяснился: ему, конечно, хотелось сказать, что он нашел новый, лучший способ для изложения правил поэзии? Однако ж и после того, как *Эфестионы* и *Воссии*, древние и новые метристы их излагали, и наконец *Герман* со всею ученостию [1] исследовал и раскрыл метрическую систему греков и римлян, — и после того найти способы яснее, полнее?..

Cornua pavper sumit!**

С книжкою в 42 страницы мы теперь можем выступить перед ряды метристов древних и новых, вооруженных томами!

Полюбопытствуем узнать эту книжку. В ней не одна Просодия; г. П. издал ее, *желая, чтобы обучающиеся греческому языку, приобретши способность* (с помощию его книжки) *разбирать древних пии-*

---

* Рассмотрение этой книжки прислано к нам от неизвестного из *Полтавы*. Благодарим за доставление сей интересной статьи и помещаем оную по приличию здесь в Библиографии. — *Примеч. ред. С. О.*

** Пословица: *и бедный бывает смел.*

*тов и, читая оных песнопения, насладились бесценными красотами Гомера, Пиндара и проч. и наконец чрез подражание оным могли изливать собственные мысли свои в стихах греческих.**

Следовательно, г. П. предлагает книжку свою, как полную метрику греческой поэзии. Такая книжка должна быть у нас принята с великою благодарностию: мы не имеем на русском языке даже первоначального к ней руководства, кроме весьма недостаточного, печатаемого при греческих грамматиках.

Первое отделение книжки содержит просодию. В ней нет и, кажется, быть не может ничего нового. Правила изложены в хорошем порядке, как в просодиях *Веллера, Крузия Лясического* и других.[2] — За сим — два отделения, составляющие метрику. — Конечно, в ней изложены правила новым яснейшим образом? — Совсем нет. — Неизвестно, от чего это случилось, может быть, от того, что Издатель избрал слишком тесные пределы для своей книжки, а в ней нет полных, ясных или новым образом изложенных правил; нет даже и многих старых — или старые так не полны, что с помощию их не только нельзя научиться *писать стихов греческих* — нельзя даже узнать свойств греческого стихосложения.

Чтоб научить *разбирать древних Пиитов*, кажется, мало одного названия разных родов их стихосложения; чтоб научить *наслаждаться красотами Гомера и Пиндара*, не довольно, если скажут, что стихи их двустопны или шестистопны и что стопы их так-то называются; чтобы дать, наконец, способ и *свои мысли изливать в стихах греческих* — нужно, кажется, раскрыть все изменения свободного механизма, объяснить примерами все красоты их полиметрического (*многоразмерного*) стихотворства.

Но г. П. приучает наслаждаться стихами *Гомера* совсем другим образом. Сказав, например, что стих экзаметр состоит из таких-то стоп, вдруг он вот к чему переходит: *в сих стихах замечаются три рода не-*

---

* Что касается до последнего желания г. П., то можно просить его уволить нас от стихов греческих русской школы. В пространной России пишут их на французском, немецком, польском, шведском, чухонском, калмыцком и прочих языках; а есть еще охотники, которые готовятся писать и на *санскритском*: этого довольно! Притом же, если верить одному из моих соседей, человеку весьма ученому, то греки за искусство слагать стихи обязаны едва ли не нашим предкам.[3] Следственно нам, когда мы хотим возвратить древнее наше достояние, лучше *изливать свои мысли* в столь же прекрасных гекзаметрах, как греки, но только русских, которые с соседом своим, хоть я и принужден в уважение старости его вместе побранивать, но наедине, но в душе моей, но с приятелями словесно и письменно одобрял и хвалил начавших писать русские гекзаметры... именно потому, что они мне напоминают греческие.

совершенства. Но в чем же их совершенство? Или учащимся его знать не нужно? И почему — Licentia poetica — есть несовершенство?

Если экзаметры имеют пятую стопу спондея, называются спондеические. Так; но каково свойство этих стихов? для каких действий или движений они способны? Неужели это — *яснейшие* правила? Но их, т. е. спондеические стихи, *редко видеть можно*. Вот, наконец, одно из новых мнений: ибо старые метристы говорят: Spondaici versus apud Graecos frequentes sunt. *Crusius** и проч.

Бывают ироические стихи и из одних спондеев. Так. Но что если ученики г. П. начнут писать такие стихи, и еще, не дай Бог, русские? ибо он не говорит ни слова, хорошо или худо употреблять их без нужды; а старые грамматики, наприм. M. Victorinus, hoc genus durum esse ait,** — сей род стихов жёстким называет. —

Vilem spondeo totum conclugere versum.***

Не хорошо спондеем наполнять целый стих, говорит также *Альбин*, упрекающий самого *Гомера* за частое употребление стиха сего; а к ним можно еще прибавить и голос *Горация*:

In scenam missos magno cum pondere versus, *etc*.4*

Третья стопа экзаметра должна содержаться в двух словах, одним словом начинаться, а кончиться в другом...

И только? — Кто же, читая или слушая это правило, догадается, что в нем дело идет о цезуре, известной у греков под названием Τομη; но которой положение бывает не только в 3 стопе, но в 1 слоге, после 1, 2, 3, 4 и 5 стопы, от чего цезуры и называются μονοημιμερὴζ, τρὶθημιμερὴζ и так далее. Об этом в правилах ни слова.

Об цезуре в *Арисе* и *Тезисе* стихов, которой положений считается до 16, одним словом, о том, что составляет главнейшее свойство и превосходство5* стиха эпического в *Поэзии эллинского языка* нет и в помине.

* Спондеи часто встречаются у греков. *Крузиус* (*лат.*).

** М. Викторин говорит, что этот род ⟨стихов⟩ жёсток (*лат.*).

*** Чтобы презренный спондей заполнял всю строку (*лат.*).

4* Тяжеловесные стихи, звучащие со сцены... и т. д. (*лат.*).

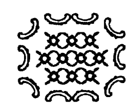
5* Nam haec caesurarum multitudo non solum avres grata varietate delectat, sed etiam ad onmes animi affectiones exprimendas alpum et habilem hunc versum reddit. Ибо это множество цезур не только пленяет слух приятною переменою, но еще к выражению всех движений души делает стих сей способным и выгодным.

Herm. de Metr. Graec.

Надобно, чтоб г. П. имел не очень выгодное мнение о русских любителях эллинского языка, если, принося им свою книжку, думал он, что для них довольно еще понятий, едва ли достаточных и для учеников классных. А мы думаем, что, если можно узнать эллинское стихотворство, то, может быть, с помощью уроков г. П., но не правил, им изданных.

Впрочем — гораздо лучше иметь что-нибудь, нежели ничего; приятнее видеть хотя начало (почти везде несовершенное), нежели совершенное невнимание к познаниям. И в сем отношении нельзя у нас видеть без почтения служителя церкви, который, изучая язык *Омера* и *Пиндара*, благороднейшим, достойным образом платит дань отечеству: преподает духовным питомцам язык, которым гремели *Златоусты* и великие учители Церкви христианской.[4] В таком отношении труд г. П. — сколь бы он ни был несовершенен — заслуживает уважение.

Полтава.



ВЗГЛЯД НА ЗАГОВОР КАТИЛИНЫ*

Рим достиг чрез пять веков до зрелости своей. Сила, сперва благодетельная, единовластная, потом во зло употребленная, борьба между благородным честолюбием патрициев и еще более благородною любовью к свободе плебейцев, войны необходимые с народами пограничными и, наконец, спасительный страх** врага и соперника в славе и величии — все сие послужило постепенно к укреплению и возвышению исполина, ужасавшего современников и поныне еще удивляющего потомство.

В промежутке двух последних Пунических войн[1] Рим вознесся на ту степень высоты, с которой ему долженствовало медленно спускаться и, наконец, упасть, дабы оправдать вечный закон Промысла, положившего предел всякому делу человеческому. Сия есть главная причина падения Рима. Но мы не дерзнем вопрошать Провидение и проникать уставы его, довольны будучи причинами, хотя второстепенными, но достаточными для удовлетворения ума любопытного.

Состязание аристократии с демократиею служило первым оплотом благоденствия республики, точно так, как оппозиция в Англии есть палладиум ее конституции. Доколе процветало богопочитание, с ним всегда

---

* Один знаменитый любитель словесности классической и отечественной принял на себя труд перевесть на русской язык *Письма Цицероновы*. К каждому письму приобщает он замечания археологические, исторические и пр., отличающиеся своею важностию, подробностию и новостию. Мы получили от почтенного переводчика позволение украсить наш журнал одним из сих примечаний, содержащим в себе историю заговора Катилины, которая написана им для наполнения двухлетнего промежутка между 11 и 12 письмами Цицерона и — «посвящается юношам, начинающим заниматься историею как наукою, а не просто упражнением памяти». — Книга сия уже печатается в Москве. — *Изд.*

** Горе тому (говорит Плутарх), кому некого уважать и нечего бояться!

неразлучная чистота нравов и любовь к отечеству; доколе опасение внешнего врага благодетельным страхом сопрягало воедино все члены политического тела к защите и сохранению целого, дотоле укреплялся Рим и возвышался.

Но когда софисты побежденной Греции, в свою очередь, победили завоевателей своих и пагубным учением эпикуреизма отравили нравственность в самом ее источнике, когда Атталовы стяжания вместе с сокровищами внесли в Рим роскошь и негу Азии, наипаче же когда пали стены Карфагена, Нуманции и Коринфа — тогда рушилось спасительное равновесие двух пружин, которых сила до тех пор не расторгала, а связывала узел гражданского общества. И с тех пор та или другая из пружин сих превозмогала попеременно, и республика между ними растерзана была на части.

VII-й век Рима с самого начала ознаменован был народными смутами, которые довели его, наконец, до порабощения Августу и недостойным преемникам его. Братья Гракхи, Тиберий и Каий,[2] первые необузданным честолюбием своим открыли будущим их подражателям опасную тайну, что чернь может служить орудием тому, кто захочет похитить власть. Они пали жертвами покушений своих; но пагубное семя осталось и возрастило плоды ужасные. И до них, конечно, патриции и народ не любили и боялись друг друга, но по крайней мере их обуздывало взаимное уважение; когда же богатство стало сперва заменять достоинства, а потом цениться и выше оных, тогда взаимное презрение заступило место уважения; все гражданские узы разорвались, и Югурта, пример вероломства, чудовище, обагренное кровию всех родственников своих, имел право, по собственному опыту своему, воскликнуть:

Рим, продажный город! ты будешь добычею того, кто найдется в состоянии купить тебя![3]

В средине века сего явились плоды столь пагубного разврата — междоусобная война. Марий и Силла[4] честолюбием, враждою, мщением довели республику до краха гибели, пролили лучшую кровь ее как в самом городе, так и на полях Италии и первые доказали Риму, что можно похитить у него свободу и *остаться в живых*.

Между тем, как Силла довершает победы свои над Митридатом, непримиримый враг его, в шестой раз консулом, истощает над согражданами своими всю ярость врожденного ему зверства (зверства, до которого не дошли бы и побежденные им кимвры, если бы они овладели Капитолием) и умирает на ложе своем, пресыщенный кровию, но не насыщенный еще честолюбием.

Свирепый соперник его, мщением пылающий, возвращается в Рим и из защитника отечества делается палачом его. Кровь льется еще ужаснее, нежели при Марии. Страшный лист осуждений (proscriptio) поражает всякого, кто имеет что-либо терять, кто только может возбудить чем-нибудь корыстолюбие послушников тирана. Период сей в Риме являет позорище, подобное тому, которое недавно представлялось в Париже при Робеспьере.[5]

Но исчадие революции пало под тою самою гильотиною, которая мановением его пролила столько французской крови; а Силла, утомленный убийствами Силла, добровольно отрекается от диктаторства и дерзает в толпе народной стать на чреде простого гражданина.

После сих ужасных потрясений усталость злодеев произвела мгновенное спокойствие — вид обманчивого порядка. Это была искра, тлеющая под пеплом. Сообщники Мария и Силлы ждали только удобного случая, чтобы снова возжечь пожар, и случай сей вскоре представился: появился Катилина. От него до падения республики история представляет беспрерывный ряд крамол, междоусобий, убийств и в заключение всеобщее рабство на развалинах свободы.

Луций Сергий Катилина происходил от древней фамилии Сергиев, коих родоначальник был один из первых патрициев при основателе Рима. Природа одарила его необыкновенными силами душевными и телесными, но вложила в него сердце коварное и злое. Рожденный в самое несчастное для республики время, приобыкший с отроческих лет к хищениям, сварам, кровопролитию, он в них провел всю молодость свою и служил Силле орудием неслыханных злодеяний. Будучи *ума необузданного*, всегда стремящегося к чрезвычайному, всегда желающего невозможного, по смерти Силлы он решился во что бы то ни стало похитить власть в республике.

Общий разврат, неоплатимые долги, тяготеющие на многих знатных молодых людях, побужденных чрез то желать какой бы то ни было перемены, лишь бы только освободиться от долгов и открыть себе снова путь к расхищению сокровищ народов, подвластных Риму; явное неудовольствие всех партий, особливо приверженцев Силлы, столь же легко расточивших, сколь неистово стяжавших имущества во время междоусобной брани; отдаление от Рима войск республики, употребленных тогда на Востоке против Митридата — все сии обстоятельства благоприятствовали намерениям Катилины. Но всего еще более собственная его расстройка и дух смущенный, плод растерзанной совести, влекли его к ниспровержению законов отечества; безопасность его и Рима не могли уже существовать совместно: долженствовало пасть тому или другому.

В 687 году Катилина, обремененный проклятиями и сокровищами Африки, где он находился пропретором, возвратился в Рим для искания консульства и нашел против себя доносчика, Клодия Пульхера,[6] позвавшего его к ответу за грабительства его в провинции. Будучи, таким образом, под судом, он принужденным нашелся отстать от иска своего и тогда уже положил первое основание заговора, к коему приобщил Пизона и Автрония:[7] первого юношу благородного, но разоренного и готового на всякое дерзкое предприятие, сколько из честолюбия, столько и из ненависти к Помпею, а второго, Автрония, раздраженного против правительства за отвержение его от консульства, на которое он и Корнелий Силла были уже избраны, но оба отрешены, уличенные в подкупе голосов на выборах.

Предначертание заговора сего состояло в том, чтоб 1-го января 688 года умертвить обоих консулов (Манлия Торквата и Аврелия Котту)[8] и, похитив власть, разделить ее между собою и другими сообщниками своими, между коими, полагают, находились Марк Красс и Юлий Цезарь.[9] Как бы то ни было, покушение сие в назначенный день не удалось и, будучи отложено до 5 февраля, осталось также тщетным.

Суд над Катилиною по поводу вышепомянутого на него доноса наряжен был в течение 688 года. Против всякого чаяния и несмотря на то, что доказательства против него были так ясны, как то, *что солнце светит в полдень*, суд оправдал обвиненного и чрез то дал ему право снова явиться в числе кандидатов на консульство. Но и тут Катилина не успел: Цицерон вместе с Антонием Ибридою[10] назначены были консулами на 690 год, и злодей, обманутый во всех надеждах своих и доведенный до прежней его нищеты (ибо награбленные им в Африке деньги издержаны были на подкуп судей и самого доносчика) вознамерился привести в исполнение ужасное намерение свое чрез заговор, прославивший Цицерона спасителем отечества и положивший начало событиям, довершившим падение республики.

Преступники, трепещущие от справедливой мести законов; юноши развратные, промотавшие наследства свои и утопающие в долгах неоплатных; злодеи всякого звания, привыкшие во времена Мария и Силлы жить грабежом или мздою убийств — словом сказать, все те, которым одно ниспровержение общего порядка могло сулить безопасность, были давно приверженцами Катилины. Из них он избрал развратнейших и отважнейших в сообщники заговора, и, чего, может быть, не помыслил бы и сам Аннибал, если бы после Каннской битвы овладел Римом,[11] то вознамерился исполнить римлянин-патриций, а именно: консулов и большую

часть сенаторов умертвить, город выжечь, казну похитить и, одним словом, ниспровергнуть республику.

Первое собрание злоумышленников было в доме Катилины около первого числа июня 689 года. На оном, по преданию Саллустия, находились из сенаторов П. Лентул Сура, П. Автроний (тот самый, о котором выше сего помянуто), Л. Кассий Лонгин, К. Цетег, Публий и Сервий Силлы, племянники диктатора, Л. Варгунтей, К. Амний, М. Порций Лекка, Л. Бестиа и К. Курий, о котором Цицерон с таким презрением говорит в письме 10-м к Аттику; из всадников: М. Фульвий Нобилиор, Л. Статилий, П. Габиний Капито и К. Корнелий.

Катилина хотя и прежде с каждым из них порознь переговаривал об умысле своем, но тут впервые открыл всем вообще намерение свое. Изверг, предпринимающий убийства, пожары, прикрывал гнусные виды свои священными именами свободы, отечества — всегдашняя уловка возмутителей спокойствия! «Власть, — говорил он, — в руках у немногих; общий жребий наш — рабство. Не лучше ли нам умереть, как пристойно мужам отважным, нежели влачить жизнь позорную в неволе и посрамлении? Ваш вождь или ратник, вам подчиненный, — я готов на всё, если вы предпочтете свободу рабству».

Сообщники хотели узнать, какие точно будут последствия перемены, и Катилина обещал им уничтожение долгов, убиение (proscriptio) богачей, дележ между своими сокровищ и почестей республики, одним словом, все то, что завоевание доставляет победителям. Обольщенные сими надеждами, заговорщики признали в Катилине достойного их вождя, приступили к присяге и клятвенно обреклись стоять заодно и умереть друг за друга.

Мы видели, что в числе злоумышленников находился Курий.[12] О нем было уже говорено в замечаниях на 10-е письмо;* здесь нужно прибавить, что ко всем порокам своим он еще присовокуплял самолюбие, равняющееся с одною только дерзостию его, и хвастливость, которая не позволяла ему молчать ни о том, что слышал, ни о том, что сам предпринимал. Кто бы подумал, что самые пороки сии спасли республику?

Курий был в связи с некоторою Фульвиею, женщиною рода знатного, но поведения, породе ее не соответствующего. Пока он имел, чем платить за ласки ее, до тех пор был всем предпочтен; но Курий, разоренный и безденежный, мечтал сохранить прежнее право свое над любовницею, и в этом он ошибся: Фульвия не хотела более знать нищего обо-

---

* «Курий знатного рода, но столь развратный человек и до того отчаянный игрок, что цензоры выключили его из списка сенаторов». — *Примеч. 10 на X письмо Цицерона.*

жателя, а он, чтобы преклонить ее к своим желаниям, приступил к угрозам и лестным обещаниям золотых гор.

Такие посулы от человека, ничего не имеющего, возбудили женское любопытство: Фульвия захотела узнать причину Куриева хвастовства; она сделалась послушнее, а Курий болтливее, так, что вскоре она выведала от него все подробности заговора, начала поговаривать с знакомыми о предстоящих в республике переменах и хотя утаила об источниках ее сведений, но довольно было уже сказанного ею, чтобы распуститься по городу слуху о каком-то заговоре, угрожающем правительству, и сего достаточно было к ускорению избрания Цицерона в консулы.

Здесь начинается тот период жизни Цицерона, в котором он истощил всё то, что может благоразумие, предусмотрительность, отважность в начинаниях, решимость в исполнении и великодушие, побуждающее жертвовать самим собою для спасения отечества. Зная, что товарищ его Антоний не только развратный человек, но еще и сообщник Катилины, Цицерон умел, если не склонить его на добрую сторону, то по крайней мере сделать бездейственным, обещав ему уступить правление Македонии, провинции, на которую имел сам неоспоримое право как старший консул.

Чрез Фульвию он согласил болтливого Курия быть переносчиком всего, происходящего на тайных сходбищах у Катилины и таким образом, окружив невидимою сетью всех заговорщиков, он узнавал заблаговременно о всех покушениях, и не было намерения, предприятия, движения, которые бы могли сокрыться от прозорливых очей его.

Катилина, худо надеющийся на Антония, дышащий местию и яростию против Цицерона, решился приступить к делу, не храня более никаких мер. Он разослал многих из сообщников своих по разным местам, где казалось ему удобнее произвесть возмущение: Сатрия в Пицен, Юлия в Апулию, главного, Маллия, в Этрурию,[13] где более всего надеялся найти недовольных,* а сам, как глава заговора, остался в городе. Ни днем, ни ночью не вкушая покоя, он метался из места в другое, поощряя бодрых, укоряя ленивых, заготовлял всё нужное для сожжения города, расставлял по улицам шайки тайно вооруженных, сам без кинжала не выходил со двора и неусыпно везде искал случая умертвить Цицерона.

Несмотря на двукратный отказ в консульстве, Катилина не постыдился и в третий раз стать наряду с кандидатами на будущий 691 год. Консульство в руках его было бы вернейшим способом ниспровергнуть

---

* По причине раздражения этрурцев против Силлы, раздавшего земли их приверженцам своим.

республику: для такой цели он не мог терять его из вида и для того начал еще теснее дружиться с Антонием, который, как по всему видно, и тогда обещался быть ему помощником.

Сильного орудия к возмущению черни, денег, недоставало Катилине; он занимал их сам и через сообщников своих, где только мог, и рассыпал золото в народе для приманки к себе приверженцев. В том же намерении он вызвал из Этрурии в Рим множество отставных воинов, служивших при Силле. При появлении в городе сих людей, напоминавших минувшую тиранию, ужас объял граждан; напротив того, окруженный толпою разбойников, достойный вождь их казался деятельнее и веселее. Он уже мысленно торжествовал; ему мечталось, что верховная власть не избежит от рук его и утвердится навсегда в его потомстве. Веселость злодея имеет что-то страшное для добрых людей: в глазах Катилины сверкала ярость; в чертах лица его видна была вся гнусность порока, и уста его дышали лютостию.

Но Цицерон, между тем, не дремал. Столько движений со всех сторон произвело ужасное смятение в городе, однако же причины оных не были еще довольно ясны и не позволяли Цицерону поступать открыто. Он знал через Курия о всех замыслах Катилины, знал, что он покушается на жизнь его, но доказательств на все сие еще других не имел, кроме тайных сообщений Курия, которого выставлять ни под коим видом не мог, ибо чрез то лишился бы единственного способа проникать сокровеннейшие тайны злоумышленников, из коих не все еще были ему известны.

Один Катон, опираясь на общую молву,[14] восстал в Сенате противу Катилины и угрожал ему местию законов. На сие злодей с неслыханною дерзостию отвечал: «Вы раздуваете огонь против меня; но гасить буду не водою, а потушу его под развалинами республики». После такого ответа надобно было, не коснев, приниматься за дело, и Катилина определил 26 октября на исполнение заговора, а к Маллию послал приказание, чтобы он между тем с вооруженною силою приближался к Риму.

И сие намерение не укрылось от Цицерона, а как уже и день (20 число) назначен был на умерщвление его, то далее отлагать донесение обо всем заговоре не дозволяли ни обстоятельства, ни собственная опасность его. 19-го октября он созвал Сенат в первый раз по сему предмету. Открыв, что Маллий чрез четверо суток должен возмутить Этрурию, он присовокупил к сему, что мятежник сей есть не иное что, как орудие людей, более его значущих, в самом Риме пребывающих и замышляющих ужаснейший заговор против республики.

Тут он рассказал все подробности сего заговора, не называя злоумышленников по имени, но употребляя, впрочем, такие выражения, кото-

рые не могли оставить под сомнением, на чей счет клонилась речь его. По различным наклонностям сенаторов, донос Цицерона произвел различные впечатления на умах слушателей его: некоторые из патрициев, по выходе из собрания, немедленно удалились из Рима; но большая часть начала подозревать консула в клевете на Катилину, по старой злобе на него.

Положение Цицерона было затруднительно: конечно, признаков было много, но все еще недоставало ясных и неоспоримых доказательств к обвинению человека столь знатного, как Катилина, и Сенат довольствовался отменением народного собрания для выборов, на завтрашний день (20 числа) назначенного, определив при том быть вторичному совещанию по поводу консуловых открытий.

Удивленный такою холодною беспечностию Сената, Цицерон принял все меры для безопасности своей. Он иначе не выходил из дома как окруженный приверженцами своими, коих толпа была столь велика, что она занимала почти всю большую площадь (forum). Неведение в рассуждении того, что будет решено в завтрашнем заседании Сената, тревожило его и в часы ночного отдохновения; но благоприятный случай прекратил сие беспокойство. Часа в два пополуночи Красс, Марцелл и Метелль Сципион,[15] пришед к воротам его, приказали привратнику разбудить консула и доложить ему, что они имеют говорить с ним о самом важном деле.

Цицерон немедленно позвал их к себе, и Красс объявил ему, что сейчас только неизвестный оставил у привратника его пук писем на имя его и многих других; что, открыв одно из сих писем, которое было без подписи, он прочел в нем совет немедленно выезжать из Рима, ибо Катилина готов начать в нем жестокое кровопролитие; что после сего он рассудил других писем не распечатывать, а вручить их консулу точно так, как он их сам получил. Цицерон, по совещании с Крассом и двумя другими, также положил не раскрывать писем иначе как в полном собрании Сената.

Настало 20-е число. Рано поутру сенаторы собрались в Храме Единодушия (templum concordiae), и сам Катилина тут же явился. Цицерон роздал все письма, каждое по назначению своему, требуя притом, чтобы всякой получивший письмо прочел его вслух. Содержание всех сих писем было почти одно и то же: подтверждение о существующем в Риме пагубном заговоре. Вдобавок к сему К. Марций, бывший претор,[16] человек всеми уважаемый, объявил, что и он получил известие чрез письмо о вооружении Этрурии и о том, что Маллий с многочисленною дружиною своею ожидает только начала движений в Риме, чтобы напасть на него.

По сем Цицерон обратился к Катилине и повелел ему отвечать и оправдаться. Бесстыдная ли то была наглость или уверенность, что боль-

шая часть сенаторов желает перемены, или намерение ободрить всех, показывая неустрашимость, — Катилина возразил, что он ничего сказать не имеет кроме того, что республика состоит из двух тел, одного слабого и с дурною головою, другого крепкого и безглавого, но что сему последнему, доколе он на свете, недостатка в голове не будет.

Услышав такие слова, Сенат затрепетал от гнева, а Катилина, приметив сие, вдруг стал скромнее и к вышесказанному прибавил, что совесть его ни в чем не укоряет; что он готов к ответу по установленному законом порядку; что он будет к тому приготовляться и, между тем, если опасаются его побега, добровольно себя отдает под охранение любого из сенаторов. Вследствие сего он предложил первому Лепиду принять его к себе в дом; но Лепид отказался.

«Я готов и к Цицерону», — сказал Катилина; но Цицерон отвечал прямо, что он с ним не только под одною кровлею, но и в одном городе не почитает себя безопасным. Тогда Катилина, вышед из храма и получив подобный же отказ от Метелла Целера,[17] поместился, наконец, в доме у Марцелла.

Сенат, не определив ничего против него особенно, повелел только консулам *блюсти о безопасности республики* (ne quid Respublica detrimenti caperet): мера чрезвычайная, принимаемая только при опаснейших обстоятельствах, требующих скорого исполнения и тайны и дающая верховным начальникам республики временную диктаторскую власть исполнять все то, что, по усмотрению их, может служить к спасению отечества.

Переселившись в дом к Марцеллу, Катилина умышленно провел несколько дней в бездействии, дабы чрез то усыпить подозрения о себе. Приметив, однако же, что между тем Антоний час от часу более слабеет; что Лентул, от природы ленивый,[18] не движется и что, несмотря на множество сообщников, никто действительно ему не помогает, он вознамерился, ни на кого не полагаясь, сам за все приняться.

Несмотря на строгой присмотр Марцеллов и неусыпное наблюдение Цицерона, ему удалось снестись с Маллием, условиться с ним о дне прибытия своего в Этрурию и отправить вперед часть ополчения своего с повелением ожидать его Форум Аврелиум. Сверх того, в ночь на 1-е ноября он устроил козни для овладения Пренестою, весьма значащею для предприятий его колониею; но тут счастие республики и Цицероново превозмогли: правительство было предостережено о всем происходящем, и Катилинины покушения остались безуспешны.

Наконец, в ночь с 6-го на 7-е ноября Катилине удалось уйти тайком от Марцелла и соединиться с сообщниками своими у Лекки в доме. Тут

он объявил им о намерении своем отправиться в стан к Маллию, и каждому из них предписал, что делать в отсутствие его: Лентулу оставаться в Риме главою заговора, ибо, будучи претором, он не мог отлучиться из города; Цетегу напасть на противников и умертвить их; Кассию зажечь город; Антонию же следовать за собой в Этрурию. Сверх того, еще извещены были соумышленники о местах и домах, где скрывалось запасное оружие; заготовлены были письма в разные муниципальные города и, наконец, чего наиболее желал Катилина, определено было, чтобы К. Корнелий, всадник, и Л. Варгунтей, сенатор, с вооруженною свитою на другой день рано поутру шли в дом к Цицерону под видом поклона и там его умертвили. Курий, находившийся в тайном сем собрании, чрез Фульвию успел еще до света известить Цицерона обо всем. Корнелий, как было условлено, явился с свитою своею у ворот консула, но допущен к нему не был.

Несмотря на все неудачи, лютый Катилина не отставал от намерения своего. 8-го ноября Сенат собрался в храме Юпитера Статора,[19] и Цицерон хотел уже открыть заседание, как увидел перед собою — кого же? — Катилину, имевшего дерзость занять место свое на лавке. Тут-то, объятый ужасом и гневом воспаленный, проговорил он сию славную речь (Quousque tandem etc.),[20] которая навсегда останется образцом жаркого, пламенного красноречия.

Катилина, выслушав ее до конца, с притворным смирением встал, обратился к патрициям и просил их, чтобы они не верили клевете, чтобы вспомнили, что он потомок Сергиев, которым во многом была обязана республика, и что сохранение оной невредимою согласнее с выгодами его, патриция, нежели с видами безыменного пришельца. К сему присовокупил он еще личные ругательства против Цицерона и хотел продолжать; но Сенат потерял терпение: все встали со своих мест; все удалились от Катилины, как от язвы, и в сводах храма раздались громкие восклицания: изменник! предатель! отцеубийца!

Дышащий яростью обнаженный злодей выбежал тогда из собрания и, созвав наскоро сообщников в свой дом, поручил им, ничего не опасаясь, продолжать начатое, уверяя их, что сам не замедлит вскоре явиться у Римских стен. В глухую полночь он оставил город с немногими приверженцами и отправился в стан Маллия в Этрурию.

Между тем как сие происходило, претор Марций получил письмо от Маллия, в котором бунтовщик сей старался представить поступок свой вынужденным притеснениями заимодавцев и жестокостию преторов. «Тебя (сказано было в заключении) и Сенат умоляем, да сжалитесь над бедными согражданами, да возвратите нам защиту законов, похищенную у нас

неистовством преторов, и заклинаем не доводить нас до крайности — искать, погибая, отмщения за пролитую нашу кровь». На сие Марцелл отвечал: Если кто имеет какое-нибудь требование от Сената, тот бы положил оружие и шел бы в Рим в виде просителя: ибо народ римский, неоднократно испытавший милосердие и правосудие Сената, должен пребывать в непоколебимом уверении, что в справедливых требованиях его отказа опасаться не должно.

Со своей стороны Катилина также писал ко многим значащим особам в правительстве. Он уведомлял их, что, не допущен будучи врагами своими к оправданию, он уступает року и, жертвуя своим спокойствием общему, удаляется в Марселию, не потому, чтобы чувствовал себя виноватым, но дабы сопротивлением не нарушить общей тишины. Таковы были его объяснения с некоторыми из патрициев; но Катулл получил от него письмо[21] совсем противного содержания. В нем Катилина горько жаловался на отвержение его от консульства, говоря, что такая обида нестерпима для человека его породы. «Не подумай (продолжал он), чтобы расстройка моя по долгам была побудительною причиною моих поступков; нет, я видеть не могу людей низкого происхождения, занимающих высшие степени в республике, тогда как меня оскорбительные подозрения отдаляют от должных мне почестей. Такая несправедливость оправдает все меры, мною приемлемые, дабы доказать, что я еще в силах защитить мою честь и поддержать славу имени моего».

Написав письмо сие с дороги, Катилина проехал сперва через Арециум и оставался на несколько дней у Непоса Фламиния для воинского образования возмущенного в том краю народа и потом прибыл в стан к Маллию, украшенный всеми знаками и принадлежностями верховного начальника над войсками республики.

Как скоро известие о сем дошло в Рим, то Сенат объявил *врагами отечества* Катилину и Маллия; прочим же приверженцам их обещал прощение, если только они положат оружие и возвратятся в домы до назначенного срока. Сверх того еще Сенат предписал консулам делать наборы для легионов; Антонию велел идти с войском против мятежников, а Цицерону оставаться в Риме для охранения города от покушений внутренних врагов.

Лентул, оставшийся начальником заговора в городе, продолжал, как сам собою, так и чрез соумышленников своих, увеличивать партию Катилины, подговаривая на свою сторону людей всякого разбора и всякого состояния. В то самое время случились в Риме послы аллоброгов.[22] К ним Лентул подослал некоего Умбрена с тем, чтобы, если можно, склонить их

6 Зак. № 3250

войти в заговор для возмущения земляков своих. Казалось несомнительным, что народ, обремененный долгами и податьми, легко преклонится к видам, обещающим освобождение от тягостных римских уз.

Умбрену, некогда бывшему в Галлии и знающему многих из тамошних жителей, нетрудно было свести знакомство с послами аллоброгов. Повстречавшись с ними на площади, он сперва начал расспрашивать у них о состоянии вообще провинции, потом, услышав от них жалобы на римских начальников и притворясь соболезнующим о несчастном их положении, спросил, какой конец они предвидят бедам своим. — «Предел жизни! — отвечали аллоброги, — грабительство преторов и послабление Сената не позволяют нам ожидать другого конца нашим напастям». — «Если б вы были, — возразил Умбрен, — люди твердого духа, то я бы открыл вам несомненный способ выйти из сего положения». — От сих слов луч надежды блеснул в унылых сердцах аллоброгов, и они стали неотступно просить Умбрена, дабы он сжалился над ними и был уверен, что они на все готовы, не щадя и живота своего, лишь бы только избавить отечество свое от несносного угнетения.

Услышав такие речи, Умбрен, который того и ждал, отвел послов в дом Брута, на площади стоявший и удобный для тайных переговоров, ибо хозяин оного находился в отсутствии, а жена его Семпродия участвовала в заговоре. Тут ожидавшие их Лентул и Габиний открыли им подробно все умыслы Катилины, назвали по имени главных сообщников его, а дабы придать еще более важности предприятию, упомянули и о многих таковых, которые вовсе не знали о существовании заговора.

Возвратясь на постоялые дворы свои, долго послы колебались, принять ли сделанное им предложение или отказаться от него. С одной стороны, манила их надежда освободиться от долгов и налогов, и плоды побед обольщали воображение воинственных галлов; с другой стороны, их устрашало превосходство сил республики, и рассудок противополагал воображению, вместо обманчивых надежд, несомненные награды и безопасность. Гений Рима преодолел все искушения аллоброгов: они объявили о всем происходившем Фабию Санге, защитнику их провинции; а Цицерон, уведомленный Сангою, приказал чрез него послам притворяться, будто они усердно приступают к заговору. Это был вернейший способ открыть всех злоумышленников и проникнуть в сокровеннейшие их замыслы.

В самое сие время примечены были начинающиеся движения мятежников в обеих Галлиях, в Пицене, в Бруттии и Апулии.[23] Но возмутители, незадолго перед сим Катилиною разосланные, поступили без расчета: ночные их скопища, перенос с места на место оружия, тревога, смятение

вскоре открыли глаза начальствующим в провинциях, и Метелл Целер был первый, который, проникнув намерение злоумышленников, заключил многих из них в оковы; пример, коему последовал и Мурена, легат в ближней Галлии.[24]

Таким образом, вне Рима обстоятельства не столько были страшны, сколько казались такими; напротив того, внутри города они были и грозны, и опасны. Лентул и все с ним начинщики заговора, узнав, что вооруженная их сила готова, что Катилина не замедлит приступить к стенам Рима, что партия их усилена, и рассуждая притом, что в их положении успех зависит от скорости исполнения и что, одним словом, надобно менее говорить, а более делать, положили единогласно без отлагательства привести предприятие к окончанию.

Собравшись в последний раз вместе, они сделали следующее постановление: исполнению заговора быть 17 декабря, во время Сатурновых праздников (Saturnalia);[25] — Катилине направить путь свой из Этрурии так, чтобы ему подойти к городу на второй день праздника; накануне того к трибуну Бестии собрать народ и описать Цицерона в виде возмутителя общего спокойствия, выдумывающего умышленно небывалые заговоры с таким намерением, чтобы, посеяв раздор между сословиями, удобнее покорить республику Сенату; — расположив таким образом народ против консула, чтобы на другой день поутру Лентулу и Цетеге, с кинжалами под тогою, идти в дом к Цицерону и, под видом тайного переговора, отвести его в отдаленный покой и, там умертвив его, тот же час начать истребление сенаторов и значащих людей противной партии, не щадя никого, кроме детей Помпеевых,[26] дабы они могли, как аманаты, служить способом к преклонению отца их на свою сторону; — и наконец, что если не удастся в то утро умертвить Цицерона, то отложить убийство до ночи, во время смятения от пожаров.

Сверх сих главных постановлений, сделаны были еще следующие распоряжения: у Цетега в доме быть запасу оружия, пеньки и серы горючей; — выбрать сто человек, которые бы в одно время зажгли в сте разных мест и таким образом вдруг произвели бы пожар во всех двенадцати частях Рима; и в то время другим шайкам заткнуть водяные трубы и, стоя при них, убивать, без пощады и без разбора, всех тех, которые для погашения огня будут прибегать за водою.

Между тем как туча сия спускалась над Римом аллоброгские послы по приказанию Цицерона неоднократно виделись и переговаривали с заговорщиками. Они потребовали от Лентула, Цепиона, Статилия и Кассия письменного с их стороны обязательства, на которое бы могли сослаться

пред согражданами своими, представляя при сем, что без такого верного документа они никак не могут надеяться склонить земляков своих на столь отважное предприятие. Все согласились на требование их без всякого подозрения, кроме одного Кассия,[27] который обещал сам вскорости быть в их земле и подлинно выехал немедленно из Рима. С своей стороны, послы также собрались в путь, получив от Лентула проводником некоего Вултурция, Кротонского уроженца, которому предписано было провести их к Катилине для подтверждения им договора, в Риме с аллоброгами заключенного. Данное сему Вултурцию верющее письмо содержало в себе следующее:

«Узнаешь, кто я, чрез подателя сего. Помышляй о крайности, в которой ты находишься, и помни, что твердость духа в положении твоем необходима. Рассуди также, что при твоих обстоятельствах нет такого низкого состояния людей (разумеется, рабов), которого вспоможением можно было бы гнушаться».

Цицерон, сведав от самих послов, что они должны выехать в полночь, призвал к себе преторов Валерия и Помптина и приказал им, взяв с собою отряд воинов, идти заблаговременно к мосту Мильвию (ныне Ponte mollo, на дороге от Рима в Сиэнну), засесть в овраге и там ждать проезда послов. Он открыл преторам всю важность сего предприятия, оставляя их испытанному благоразумию образ исполнения оного.

Как скоро в глухую полночь Вултурций с послами подъехал к мосту, преторы с отрядом своим выскочили из оврага и напали на них. Галлы, знавшие наперед о приготовленной им встрече на мосту, сдались без сопротивления. Вултурций хотел было сперва обороняться и поощрял к тому же сопутников своих, но, видя, что аллоброги его оставили, последовал и сам примеру их и сдался Помптину, с которым был прежде знаком, прося его и умоляя со всеми знаками малодушия и трусости о пощаде жизни.

Нарочный немедленно уведомил консула, что захвачены послы. Такое известие, с одной стороны, привело Цицерона в восторг, с другой — ввергло его в крайнее недоразумение, что предпринять против такого числа преступников, людей знатного рода, имеющих большие связи и сильное влияние. Оставить их в живых было бы не докончить спасительного дела освобождения отечества от врагов его; предать заслуженной казни все равно, что самому идти на гибель неминуемую, вооружа против себя всю знать Римской республики. Недолго, однако же, колебался Цицерон, и любовь к отечеству превозмогла в душе его над желанием собственной безопасности.

Письма, у Вултурция и послов захваченные и Цицерону доставленные, были все без надписи. Некоторые знатные особы, по первому слуху о происшествии в доме консула собравшиеся, советовали ему сперва прочитать самому письма, дабы не подвергать себя нареканию, если в них не откроется ничего достойного внимания республики и служащего к обвинению соумышленников Катилины; но Цицерон совета сего не принял, полагая, весьма основательно, что в настоящем положении дел лучше ему подвергнуть себя нареканию в лишней предосторожности, нежели ослабить главное доказательство — целость печатей. Итак, положено было представить письма Сенату точно в том виде, в каком они отобраны были от аллоброгов и Вултурция.

Наутро 3-го декабря Цицерон призвал к себе первого Габиния, наиболее участвовавшего в переговорах с галлами, за ним Статилия, потом Цетега и напоследок Лентула. Приведя их за собою ко храму Единодушия, он Лентула, как претора, ввел за руку в Сенат; прочих же за крепкою стражею оставил в преддверии храма. Заседание открылось допросом Вултурция. Перехваченные письма были ему представлены. Так как они все были без надписей, то Вултурций долго запирался, но наконец, когда обещали ему прощение, если признается, то открыл, что сам он недавно с злоумышленниками спознался чрез Цепария и Габиния; — что уже по отъезде Катилины Автроний послал к нему отряд новонабранных войск; — что захваченное у него письмо было писано Лентулом, который сверх того еще поручил ему сказать изустно Катилине, чтобы он скорее вооружал рабов и подступал к Риму, дабы в готовности быть, или принять к себе соумышленников, или без потери времени соединиться с ними в городе.

То же самое подтвердили и послы, прибавя, что Лентул, Статилий и Цетег, отдавая им письма к землякам их, клятвенно пред ними обязались сохранить верно условия свои и что сверх того Кассий просил их убедительно, дабы, приехав домой, они выслали немедленно аллоброгскую конницу в Италию, по той причине, что они более всего нуждаются в лошадях.

По сих и многих других показаниях, приступили к настоящему допросу преступников. Первый позван был Цетег. На вопрос о найденном в его доме запасе оружия он отвечал, что во всю жизнь свою был охотником до оного и всегда щеголял красивыми кинжалами. Это бы могло послужить к оправданию, но как отпереться от письма своего, на котором и печать была цела? Письмо его было прочтено вслух; в нем Цетег призывал Сенат и народ аллоброгский к точному исполнению обещанного, ручаясь и за свою сторону в верности взаимных обязанностей.

Против такого доказательства ничего не оставалось сказать в оправдание, и Цетег замолк. Потом вошел Статилий. Письмо его при нем же распечатали, прочли, и он во всем признался безотговорочно. За сим приведен был к допросу Лентул. «Знаешь это письмо? — спросил его Цицерон, — здесь на печати изображение лица предка твоего, в его время не было лучшего гражданина в Риме, усерднейшего поборника за Сенат против покушений Гракхов; и ты мог смотреть на лик его, не содрогаясь от ужаснейшего предприятия?» —

Письмо сие было одинакового содержания с Цетеговым, однако же Лентул отперся от него. На очной ставке с Вултурцием и послами он с досадою спросил их, зачем они к нему в дом ходили. — Ты сам посылал за нами, — отвечали они, и тут объявили, сколько раз были у него; кто именно приходил за ними и, одним словом, всё, что только могло послужить к обличению преступника.

Лентул, которому легче было отречься от показания Вултурциева и послов, нежели от собственного письма своего и печати, против чаяния всех признался во всем. Габиний явился последний: он долее и наглее всех прочих защищался; однако же, уличенный неоспоримыми доводами, повинился, как и все прочие.

Таким образом, Сенат, получив вернейшие доказательства о заговоре в признании самих зачинщиков, повелел сперва, чтобы Лентул сложил с себя сан преторский, и потом, чтобы все обличенные преступники отданы были, каждый особливо, в чей-нибудь дом на поручительство хозяина и под стражу оного. Вследствие сего отведены были: Лентул к Лентулу Спинтеру, бывшему тогда эдилем, Цетег к Корнифицию, Статилий к Юлию Цезарю, Габиний к Крассу и Цепарий, незадолго перед сим на дороге пойманный, к Теренцию.

Собрание Сената кончилось в сумерки. Народ, наполнявший всю площадь, толпился около храма в нетерпении узнать о происходившем в оном. Цицерон удовлетворил желание его. Вышед из Сената, он занял ростру и подробно описал народу все обстоятельства заговора, допроса и признания виновных. Чернь, дотоле доброхотствовавшая Катилине, вдруг, по свойственной ей любви к перемене и особливо от ужаса к пожарам, с яростью восстала против злоумышленников и с восторгом начала превозносить до небес Цицерона как спасителя своего от порабощения.

Никогда и никто не видал таких почестей, каковыми осыпан был тогда Цицерон. От площади до самого дома народ торжественно нес его на плечах при громких восклицаниях радости и восхищения. Катул, старший сенатор (princeps Senatus), сопровождаемый всем сословием, пришел

к нему на поклон и объявил, что Сенат дает ему титло *Отца Отечества*; титло, которым до него никто в республике не украшался и коим впоследствии гордились лучшие из императоров.

Цензор Геллий поднес ему венец гражданский (corona civica), объявляя, что республика дает ему знак сей как спасителю граждан. Котта и Катон вписали в сенатское того дня определение, что предписанное всенародное молебствие от имени Цицерона важнее всех прежде бывших за победы и распространение пределов империи; ибо настоящее молебствие есть благодарение богам за спасение консулом *самой* республики.

Капуа ему воздвигнул монумент, позлащенную статую с надписью: *Хранителю нашей жизни, наших детей, свободы и имуществ.* — После сего должно ли удивляться, что Цицерон был чувствителен к похвале? и можно ли пенять ему, что он часто сам себя превозносит, противополагая подвиги свои злобной клевете врагов и гонителей?

На другой день по изобличении преступников первое попечение Сената состояло в том, чтобы прилично наградить, по данному обещанию, Вултурция и послов. Цицерон провел день сей в размышлениях о важности предстоящего решения, но не в бездействии, ибо, узнав, что Лентуловы отпущенники с некоторыми из его клиентов бродят по улицам и подговаривают сволочь ворваться в домы, где заключались Лентул и Цетег, дабы освободить их, — он удвоил везде стражу и принял все меры к отвращению внезапных нападений. В сем опасном положении дел надобно было решиться не теряя времени, и 5-го декабря, рано поутру, Сенат созван был в тот же храм Единодушия.

Консулы не давали голосов в Сенате; их должность была предлагать дела на рассуждение и собирать голоса прочих сенаторов; Цицерон предложил решить судьбу обличенных в измене против отечества. Силан, как назначенный консул,[28] первый подал следующий голос: предать смертной казни виновных, как тех, которые уже обличены и находятся под стражею, так и тех, кои по сему же преступлению могут быть пойманы и обличены. Некоторые пристали к стороне Силана; другие, желая смягчить участь обвиненных, присуждали их на вечное заключение. Мнение сие было первого Тиберия Нерона, склонившего многих на свою сторону, даже и самого Силана; но главный и красноречивейший защитник оного был Юлий Цезарь.

Сей удивительный человек, который был бы величайшим оратором, если бы не предпочел, по несчастию, быть величайшим полководцем, говорил речь, в которой истощил всю силу красноречия и диалектики; он желал доказать, что преступление виновных так ужасно, что нельзя и

придумать для него наказания довольно жестокого; и потому должно держаться существующих законов (возбраняющих казнить смертию римского гражданина), дабы нарушением оных не подать опасного примера в республике, — что смерть, будучи конец страданиям, не есть наказание, ибо за пределами жизни нет ни мук, ни наслаждения; — и, наконец, что вследствие сего смертная казнь для преступников ничтожна и может быть вредна для остающихся. В заключение всего он подал следующий голос: чтобы, осудив преступников на вечное заточение, разослать их по разным муниципальным городам и там содержать под крепкою стражею; имение их описать в казну и утвердить законом, что всякой тот, кто осмелится предложить о их возвращении, почтется изменником и нарушителем общественного спокойствия.

На Цезарево мнение возразил Катон: «Я часто (говорил он между прочим) восставал здесь против роскоши; но теперь не спрашивается, добродетельно ли мы живем или развратно, а дело идет о том, оставаться ли нам в живых или отдать себя на жертву лютейшим врагам республики? — Давно значение слов у нас изменилось, и до того, что мы теперь называем дерзкие покушения твердостию, а расточение чужих имуществ щедростию. Но пусть так! Пусть слывет щедрым тот, кто рассыпает заемные деньги, а милосердным — кто щадит воров и грабителей: лишь бы только щедрота их не была на счет крови нашей, и помилованием немногих злодеев не вовлечь нам в погибель всех добрых людей. — Цезарь не верит мучениям, ожидающим злодеев в преисподней, и осуждает преступников на лишение имуществ и заточение по городам. Но довольно ли сего для нашей безопасности? Разве он думает, что кроме Рима нигде нет бездельников? И кто поручится нам, что они не найдут способа уйти из-под стражи? Он ли один того не опасается? В таком случае мы должны еще более бояться, и я заключаю, что, щадя Лентула и сообщников его, мы щадим самого Катилину, а поражая здесь злодеев, мы низлагаем их повсюду. Когда Рим процветал добродетельми, тогда Манлий Торкват не поколебался осудить на смерть родного сына своего[29] за одно только непослушание, а вы медлите казнить отцеубийцу, предателя отечества! — Мое мнение: с преступниками, как с обличенными в измене против отечества, поступить по обычаю предков наших — предать их смертной казни».

Сия речь Катонова сомневающихся подкрепила, робеющим дала бодрость и такое произвела действие, что все единогласно определили изменникам смерть. — А Цицерон, все еще опасаясь, чтобы возмущение или какой-нибудь непредвиденный случай не исторг злодеев из рук его, приказал триумвирам (так называлися тюремщики), чтобы они все не-

медленно приготовили к казни преступников, и в ту же ночь, расставив вооруженных по дороге, отвел Лентула сам, прочих же всех чрез преторов, в Туллиеву темницу, где они от рук палачей приняли наказание, достойное их ужасного преступления.

Между тем как сие происходило в стенах Рима, Катилина имел уже при себе два легиона и ожидал только известия об успехе заговора, чтобы самому с войском подойти к городу. Вместо сего, узнав, что Лентул и соумышленники его казнены, и видя, что неудача остановила стечение к нему в стан недовольных правительством, он отступил с войском далее в Тоскану, и в намерении пробраться чрез Альпы в Галлию дошел до Пистоии, где принужденным нашелся остановиться, ибо, с одной стороны, Метелл Целер, угадывая намерение его, успел занять ущелия, которых, идучи в Галлию, нельзя было миновать, а, с другой стороны, к полудню Антоний с главным войском занял все проходы, дабы отрезать путь неприятелю в случае покушения оного обратиться в Рим.

В таком положении оставалось Катилине одно средство: открыть себе путь мечом — и он решился напасть на Антония, от которого ожидал себе пощады в случае неудачи, а может быть, и содействия как от человека, всегда потворствовавшего его намерениям. Антоний отгадывал мысли его; но видя, что уже поздно помогать партии, совсем изнемогающей, он сказался больным и поручил начальство над войском второму по себе, Петрею. Битва была жаркая и отчаянная. Ни один из мятежников не попросил пощады и ни один из них не достался в плен: все грудью полегли на том самом месте, где началось сражение.

Один только Катилина найден был далеко впереди, поверженным на груде неприятельских тел: он еще дышал, но и при конце жизни дышал яростию и мщением.*

---

* Ferociam animi, quam habietant vivis, in vultu retiners. ⟨«Его лицо сохраняло печать той же неукротимости духа, какой он отличался при жизни» (*лат.*).⟩ Мне кажется, что Тасс имел в виду Саллюстиевы слова о Катилине, когда он описывал смерть Арганта.[30]

Moriva Argante; e tal moria, qual visse:
Minacciava morendo, e non languia.
Superbi, formidabili, e feroci
Gli ultimi moti fur, l'ultime voci.
Ger. XIX, 26.

⟨Умирал Аргант; и так умер, как жил:
Угрожал, умирая, и не падал духом.
Гордыми, ужасными и жестокими
Были последние звуки его голоса.
«Освобожденный Иерусалим». XIX, 26⟩.

Таким образом кончился Катилинин заговор, в котором, как мы видели, Цицерон показал все то, что твердый, великодушный, мужественный человек может сделать для спасения отечества своего, — показал, говорю я, но не избавил отечества от гибели, ибо зло в нем слишком уже вкоренилось, и частные добродетели не в силах были при общем разврате сделать спасительный перевес.

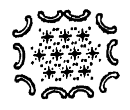
Еще Катилина был жив; еще пылала война междоусобная на полях Этрурии, а уже враги отечества старались очернить Цицерона пред народом, описывая его убийцею и нарушителем законов. Трибун народный Непос, брат Метелла Целера,[31] тайно подстрекаемый Цезарем, был первый из восставших на Цицерона. Он вперед объявил, что не допустит его говорить к народу (в последний день консульства его), полагая, что римлянам непристойно слушать того, который, нарушив все законы, предал смерти граждан, не допустив их оправдаться пред собранием народным.

Тщетно Цицерон искал отвратить от себя такую обиду, употребляя на то Клодию и Муцию, жен Целера и Помпея.* Старания обеих сих женщин не подействовали над упрямым Непосом, который в день смены консулов поставил кресла свои на ростре и в силу трибунской власти запретил Цицерону говорить другое что, кроме обыкновенной в таком случае присяги.

Тогда Цицерон, видя себя принужденным уступить силе, громко воскликнул: *Клянусь, что я спас Рим и Империю!* — и клятва сия произвела столь сильное действие, что народ, как будто вновь опомнившись, пошел за ним вослед до самого его дома, повторяя беспрестанно: *клятва его справедлива!*

---

* Помпеева жена Муция была родная сестра Непоса.



ПИСЬМО ОТ ЦИЦЕРОНА К ПОМПОНИЮ АТТИКУ*

691 году от С. Р.

От *Троянки* толку не добиться;[1] а с тех пор и Корнелий глаз Теренции не кажет; остается мне, я вижу, прибегнуть к Консидию, Акцию или Селицию;[2] о Селиции же нечего и помышлять: он с отца родного сдерет по двенадцати процентов.[3] Обращаясь к *Троянке* нашей, скажу тебе, что я отроду ничего не видывал бесстыднее, коварнее, несноснее. — *Посылаю к тебе отпущенника моего; я уже Титу поручил заплатить тебе*; все только обман, отговорки да проволока.

Однако же и в сей неудаче, может быть, *случай* устроит к лучшему: мне сказывали передовые Помпеевы, что он намерен явно требовать Антониевой смены; и что здесь о сем в то же время предложено будет претором народу. Дело это такого рода, что мне никак нельзя вступиться за него, вопреки общему мнению и заключению честных людей; а всего лучше еще то, что мне самому не хочется защищать его. Ко всему же этому последовало обстоятельство, о котором я хочу, чтобы ты имел ясное понятие.

Есть некто бездельник, именем Илар, мой отпущенник, а твой клиент и бывший счетчик. О нем извещает меня Валерий-переводчик,[4] и то

---

* Сие письмо есть отрывок из полного собрания всех *Писем Цицерона*, переведенных на русский язык *Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом* и печатаемых в Москве. Почтенный Переводчик не удовольствовался одним *переводом*: он присовокупил к нему исторические, филологические и нравственные *примечания*. Одно из сих примечаний, заключающее в себе *Историю заговора Катилины*, напечатано в прошлогоднем издании *Сына Отечества*. — Из многих примечаний на письмо Цицерона к Помпонию Аттику помещаем некоторые главнейшие, чтобы дать нашим читателям понятие, сколь они важны и любопытны. — *Изд.*

же самое пишет Хилий:[5] «Что Илар сей находится при Антонии, что Антоний называет меня участником своим в денежных поборах в провинции; и что будто бы я, для верных с ним расчетов, держу при нем и отпущенника моего».

Известием сим я был чрезвычайно расстроен; и хотя не верю слухам, но догадываюсь, что тут, конечно, было говорено что-нибудь похожее на это. Пожалуй, друг мой, обо всем расспроси, узнай, разведай; и, если можно, удали мошенника из того края. Валерий в слышанном им ссылается на Кв. Планция;[6] а я обо всем тебе пишу подробно, дабы ты знал, как и за что приниматься.

По всему видно, что Помпей ко мне очень благосклонно расположен. — Развод его с Муциею[7] одобряется всеми вообще. Ты, конечно, уже слышал о приключении Клодия, Аппиева сына, которого застали в женском платье в доме Цезаря, во время тайных жертвоприношений *за здравие народа*. Его спасла служанка, доставившая ему способ выбежать из дому; однако же дело гласное и самое бесчестное, о котором и ты, конечно, с прискорбием узнал. Более писать к тебе нечего; да, признаться, и охоты нет. Я лишился любезного, дорогого моего писца Соситея и смертию его расстроен более, нежели бы надлежало потерею раба. Пиши ко мне чаще; если не о чем, так пиши все то, что на ум тебе придет.

Примечания

Троянка, Teucris illa; по целой связи письма нет никакого сомнения, что под сим названием Цицерон разумеет Македонского проконсула Антония. Теряться с комментариями в догадках, почему он так его называет, было бы занятие самое пустое. Довольно знать, что это слово может значить малодушного человека, так как в площадном языке трусливого мужчину называют *бабою*. В «Илиаде» вождь укоряет бегущих греков: *axaices oux et axaiti* (троянки не трояне!) и, может быть, Цицерон имел в виду сей стих, когда называл Антония *Троянкою*.

Публий Клодий Пульхер, молодой человек, и по себе знатный, и по связям родства почти со всеми родами патрициев в Риме. Мы уже видели, что две родные сестры его, первая, Клодия, была замужем за К. Метеллом Целлером; Муция за Помпеем; третия же, средняя из них, за К. Марцием Рексом.

Такие связи, и без знатной породы на его стороне, могли бы доставить ему большое уважение в республике: ибо кажется, что он, по личным своим достоинствам, мог бы заслужить оное, если бы приключение, о котором здесь речь, не вовлекло его в бедствия и гонения, которые пресеклися только преждевременною его смертию.

Гораций, который лучше проповедовал, нежели поступал, сказал римлянам великую истину в следующей строфе:

Foecunda culpae saecula nuptias[8]
Primum inquinavere et genus et domos:
Hoc fonte derivata clades
In patriam populumque fluxit.*

И подлинно народ, потерявший уважение к браку, очень близок к разрушению; ибо сим первым естественным законом, и единственно им, держатся все священнейшие узы, связующие общество человеческое. В Риме во времена, которыми мы теперь занимаемся, они были не только послаблены, но совершенно расторгнуты: распущение дошло до высшей степени, до той, на которой оно уже представляется не пороком, а простительною и почти любезною слабостию.

В таком положении вещей и волокита Клодий мог бы спокойно упражняться в ремесле своем и прослыл бы только *любезным повесою*, если бы он не вздумал отмстить Цезарю за всех мужей, а жене его доказать, что он на все готов, дабы опытом уверить ее в своей страсти к ней. Нельзя было избрать удобнейшего случая к тому, как празднество *доброй богини, за здравие римского народа.*

Добрая богиня, сия Bona Dea,[9] была римлянка, в древности прославившаяся целомудрием, жена некоего Фауна. Ее звали Фауна и Фатуа. Народ же, тогда еще почитавший целомудрие добродетелью, обоготворил ее по смерти. Жертвы приносились ей втайне, ночью и одними женщинами.

Во время сего празднества мужчины не могли оставаться в том доме, в котором поклонники *Доброй богини* собирались для совершения таинств. Не только мужчинам, но даже самцам животных нельзя было оставаться в том доме; статуи, мужчин изображающие, выносились из оного и даже картины те завешивались полотном, на которых изображены были лица мужеского пола.

---

* Сперва поколения, плодовитые на проступки,
Запятнали святыни брака, рода и дома.
Происшедшие отсюда несчастья
Хлынули на родину и народ (*лат.*).

Обряд сей сугубо уважался в Риме по той причине, что жертвы приносилися *за здравие римского народа* (pro salute populi Romani); и суеверие, всегда готовое видеть нечто страшное во всем том, что покрыто завесою тайны, уверяло́ простолюдинов, что никто из мужчин не может увидеть сих сокровенных обрядов, не будучи мгновенно ослепленным.

Клодий доказал тому противное, оставшись по смерть свою с обоими глазами. Он, как видно из письма, переодетый в женское платье, введен был в дом к Цезарю, у которого происходило празднество. Можно представить себе, с каким ужасом открылось, что таинства нарушены присутствием мужчины, весталки (они по долгу находились при сих жертвоприношениях) остановили обряд; все в доме взволновалось и пришло в смятение, которым Клодий воспользовался и выбежал из дома, выпущен будучи служанкою, может быть, тою самою, которая впустила его. Если б он был захвачен на месте, то суд бы над ним был короткий, и он бы не избежал лютейшей казни. По счастию его, несмотря на гласность дела, не доставало точных доказательств, что мужчина, прокравшийся в женском платье в Цезарев дом во время торжества *Доброй Богини*, подлинно был Клодий, а не другой. Поводом сим воспользовалась вся знатная родня его и спасла от казни преступника, как мы увидим из следующих писем.

Хотя в римских календарях праздник *Доброй Богини* поставлен 1 мая, он был, однако же, в числе подвижных; и что касается до празднества, о котором здесь говорится, то, по недавности Клодиева приключения, надобно думать, что оно происходило в декабре. Тайные обряды всегда исполнялися в доме какого-нибудь из главных чиновников республики: например, в прошлом годе — у консула Цицерона, а в настоящем — у Цезаря, по чину его престора.

«Я лишился любезного, доброго моего писца Сосития и смертию его расстроен более, нежели бы надлежало потерею раба». — *Более нежели бы надлежало*! — Размышляющий читатель, конечно, будет поражен этим местом и откроет в нем разительную черту, отличающую политеиста (и, может быть, деиста) от христианина. Цицерон, философ Цицерон, некоторым образом упрекает себя в том, что он живо чувствует потерю *раба*.

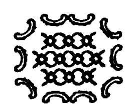
Что это значит? То, что по мнению политеиста, раб был не человек. В отношении к политическим и гражданским правам я с ним согласен, но во всяком другом смысле спрашиваю: в наши времена и в землях, где

гражданское рабство еще существует, найдется ли хотя один господин, который бы постыдился уронить слезу на могилу, сокрывающую прах доброго и верного раба его? — Конечно, нет. Отчего же такая разница? — От Веры Святой, преобразившей весь ход моральных понятий, от откровения, сего Божественного закона, который единый мог восстановить человечество, указав на прямое достоинство оного не здесь, а за пределом гроба.

Я никогда не был вольнодумцем, но если бы тень сомнения коснулась души моей и смутила ее, то мне стоило бы только вспомнить, что *уничтожение рабства есть подвиг Христианской религии*, дабы непоколебимо признать в ней небесное происхождение. И сколько новых, неизвестных древности добродетелей возникло с нею! С тех только пор, как свет Евангелия разлился по земле, человек восприял свое истинное моральное бытие. Все понятия его возвысились: открылся перед ним мир новый, мир невещественный, и идея *бесконечности* положила печать свою на все творения, на все помышления человеков, озаренных спасительным светом Веры Святой.

В заключение к письму сему заметим, что Цицерон был чрезвычайно неосторожен в переписке своей. Он сам в одном месте изъявляет опасение свое, чтобы письма его не были перехвачены и прочтены; а между тем пишет так, что почти каждое письмо могло бы поссорить его с первыми лицами в республике, если бы они попалися в чужие руки.

Положим, что он полагался на Аттика как на самого себя, но кто мог поручиться ему за всю толпу его приятелей (familiares)? Что, если бы которому-нибудь из них вздумалось, по ссоре или по вражде, представить письма его в Сенат? Если бы... — Но нет; я гнушаюсь даже и этим *если бы*: быть не может, чтобы и в развратном Риме нашелся такой человек, который бы добровольно захотел отказаться от уважения всех честных людей чрез нарушение священной тайны писем, начертанных в минуты излияния сердечных откровений.



МНЕНИЯ ЧЛЕНА ГЛАВНОГО УЧИЛИЩ ПРАВЛЕНИЯ СЕНАТОРА МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА

По делу д⟨ействительного⟩ с⟨татского⟩ с⟨оветника⟩ Попова о цензуре

Обвинение против д⟨ействительного⟩ с⟨татского⟩ с⟨оветника⟩ Попова заключается в 3-х пунктах, из коих составлены *вопросные*, данные ему Правительствующим Сенатом, следующего содержания:

1-й

Попов виновен в том, что не только поправлял своею рукой книгу Госнера, но излагал собственные мысли в том же духе, в каком вся книга написана.

2-й

Кроме сего виновен он в том, что, будучи известен о заключении правительства как на счет Госнера, так и сочинения его, дозволил себе и после того, в письменном отзыве к обер-полицмейстеру, изъясняться о книге, что она хорошего духа, а о Госнере, что он человек истинно христианских правил образа мыслей, и никакими словами или поступками никогда не подавал повода к иному о нем заключению.

3-й

В особенности же он виновен в том, что ему не следовало поправлять никаких сочинений или переводов, тем более, что он находился директором департамента народного просвещения, под ведением которого состоят цензоры; участием же своим и покровительством

сочинителю Госнеру ввел цензоров в заблуждение так, что они приняли к рассмотрению такого рода книгу, которая не подлежала гражданской цензуре, и по сему влиянию своему, вероятно, одобрил оную к напечатанию.

В сих трех пунктах заключается предполагаемое *подлинное состояние преступления.*

На 1-й пункт: *что он только поправлял*, и проч., Попов отмечает, «что собственно от себя ничего не писал, а только поправлял весьма нечистый слог переводчика, излагая смысл подлинника, как оный сам разумел». Я рачительно сличал исправленный перевод с подлинником и нашел:

1) Что Попов в переводе собственно поправлял один только слог.

2) Что он смысла подлинника нигде не изменил.

3) Что своих собственных мыслей, вместо авторских, нигде не поместил.

4) Что если он и *целые страницы* на поле перевода написал своею рукою, так это не оттого, что он хотел *составлять целые страницы* (он своего ничего не составлял), но единственно потому, что иначе возможности не было исправить дурной, наполненный германизмами слог переводчика; и, наконец, вследствие всего вышесказанного.

5) Что как занятие его в поправлении перевода было, так сказать, механическое, то и образ мыслей его *принужденно сходствует* с толкователевым, а не так, как заключает о нем обер-полицмейстер, сказавший в исследовании своем, что образ мыслей его, Попова, *не сходствует с толкователем.* Напротив того, исправленный им перевод можно назвать *буквальным*, сколько то позволяет свойство нашего языка.

Я должен еще заметить в отношении к исправленной рукою Попова тетради:

1) Что не была она еще в руках цензора.

2) Что часть оной, т. е. исправленная рукою Попова, состоит из 19 полулистов, писанных вполовину, и что, следственно, часть сия не составила бы и одного полного печатного листа в осьмушку.

3) Что исправленное Поповым место едва ли равняется с одною 57 долею всех отпечатанных листов.

На 2-й пункт: «*Что Попов дерзнул упорствовать в мнении своем насчет книги и автора, как будто в охуждение заключения о них правительства*», обвиняемый в оправдание свое ссылается на подлинный ответ свой к обер-полицмейстеру. И действительно, в ответе сем, пред нами лежащем, ничего нет такого, что бы могло вмениться в дерзость и,

того меньше, в *охуждение*. Его спрашивают: «По какому случаю он поправлял перевод?» Он отвечает: «Потому, что пастор Госнер *был* известен ему за человека (сколько мог он видеть) истинно христианских правил, а посему он не *сомневался*, чтобы и книга его не была написана в духе благочестия».

Но таким образом он выражается насчет мнения своего о книге и авторе ея не в *настоящем*, а в *прошедшем* времени. Другого ответа не можно было и ожидать от него. А чтобы из данного им выводить *послесловие*, как заключает обер-полицмейстер, *что таковым изъяснением он, Попов, решился как бы охуждать решение Высшего Правительства*, то я, по совести моей, должен сказать, что я и тени похожего на это не вижу.

Пример: *я был* знаком с человеком, который впал в тяжкое уголовное преступление, вследствие коего он осуждается на позорную казнь. Меня спрашивают: «Как мог я иметь сношение с таким человеком?» Потому (отвечаю я), что он мне *казался* хорошим, и я его *почитал* таковым. Неужели таковой ответ мой вменился бы мне в порицание судейского над преступником приговора? Конечно, нет; ибо я так *думал* о нем *тогда*, когда не я один, а все общество, в коем он обращался, находило в нем хорошего человека. Это не значит, что я и *теперь* то же о нем заключаю.

Так точно и Попов, говоря о Госнере и книге его в секретном донесении своем обер-полицмейстеру, открывает мнение свое о авторе и сочинении, *бывшее* до заключения, а *не настоящее* по заключении о них правительства. В 3 пункте поставляется в вину Попову: «*Что ему не следовало поправлять никаких сочинений, а что участие его и покровительство автору ввело в заблуждение цензоров, которые, вероятно по сему влиянию, одобрили книгу к напечатанию*».

Здесь, где дело идет о судьбе человека, гадательно ничего принимать не должно, а прежде всего потребно определить с ясностию, в чем состояло покровительство Попова Госнеру, или то, что, собственно, принадлежит к предмету, могло ли влияние действовать на цензоров? Скорее всего, это окажется чрез внимательное соображение обстоятельств *времени и места*.

Первое представляется мне то, что Попов, уволенный в чужие краи для поправления расстроенного здоровья своего, выехал из Санктпетербурга 1-го марта 1823 года больной и еще за полгода до того никакими делами, по болезни своей, не занимавшийся. Рукопись перевода Госнеровой книги, о которой Попов тогда еще не слыхал, поступила в цензуру

только в начале того года, а пропущена была к напечатанию уже в мае месяце, т. е. во время пребывания Попова вне России.

Как же он того же самого года сентября 13 возвратился в отечество свое, то книги той уже было отпечатано 50 листов или еще более. Если бы Попов поправлял *первые листы* сочинения, то это могло бы еще послужить *безмолвным одобрением*, подавшим цензорам повод к пропущению книги в печать; но он в начале и не знал о книге сей, а если в этом и не давать ему веры, то, по крайней мере, можно уже утвердительно сказать, *что он первых листов не поправлял, что печатание 50 первых листов книги произведено было в отсутствие его и, наконец, что поправленная им тетрадь не проходила еще чрез руки цензора.*

Какое же влияние с его стороны остается еще возможным? Или письменное — извне, или словесное, еще в России до отъезда его в чужие краи? Ежели есть *такое письмо*, которым можно уличить его, — пускай оно представится; если есть *такой человек*, которому Попов внушал одобрение книги, — пускай он станет противу него свидетелем: без того я не могу признать *влияние его на напечатание книги*, и тем еще более, что сам цензор Бирюков, который бы мог одним двусмысленным словом облегчить лежащую на себе ответственность, предпочел, однако же, святую истину своей безопасности, объявив с чистосердечием, что со стороны Попова никогда не было никакого внушения ни в пользу, ни во вред рассмотренной им помянутой книги.

Относительно же к 1-й части того же 3 пункта обвинений, коей сказано: «*что ему не следовало поправлять никакого сочинения*», то я не знаю закона или предписания, возбраняющего директорам народного просвещения такое занятие. Если бы такой закон существовал, то, конечно, поправление книги было бы преступлением оного; но как он не существует, то нельзя вменить поступок Попова в преступление; ибо в самых начальных основаниях уголовного правоведения принимается за аксиому: *нет преступления без закона, иначе, что не возбраняется, то не осуждается.*

Таково мое мнение о Попове. Оно основано на одной истине, по крайней мере, на внутреннем моем в оном убеждении, которое я открываю здесь со всею смелостию, внушенною мне сознанием исполнения священного долга, возложенного на меня знанием моим. Впрочем, мне кажется, если я не ошибаюсь, что и сами гг. министры, просвещенные исследователи Госнеровой книги, указывают нам на ту точку зрения, с которой мы должны рассматривать поступок Попова.

В заключении своем о цензоре они сказали, во 1-х: «Цензор может не иметь достаточного проницания... вместо цензора поставим директора и скажем их же словами: во 1-х: *Директор* мог не иметь достаточного проницания *во вред, прикрытый в книге мнимою пользою наставления в вере и просвещении*; во 2-х: публичное проповедование и печатание книг сих в здешней столице могли отвлечь директора от сомнения; и если бы он увидел что-либо сомнительное, то опасался бы изъявить свое сомнение при явном покровительстве и благорасположении к сим сочинителям и переводчикам».

То, что служит к оправданию цензора, может, без всякого сомнения, служить к тому и в отношении к директору; в настоящем же случае еще и более в пользу сего последнего, ибо цензор, имев почти всю книгу в руках своих, мог судить о духе, в коем она писана, основательнее, нежели директор, видевший из нее только одну какую-либо 57 долю.

Таким образом, в заключение всего, я мнением моим полагаю: что поелику ничто не доказывает *ни отступления от подлинника в поправленном переводе, ни порицания заключения высшего правительства о Госнеровой книге, ни влияния на цензора в рассуждении печатания оной*, то закон воспрещает признать в г. Попове умышленного преступника.

Что же касается до поступка его, т. е. собственно до поправления им перевода Госнеровой книги, то, не приемля в уважение господствовавшего тогда духа в нашей литературе, я должен признаться, что директор департамента народного просвещения, занимавшийся поправлением такого рода книги, чрез одно уже обличает себя человеком, совершенно неспособным к тому месту, которое он занимал.

О запрещении профессорам выписывать иностранные книги

Вникнув с должным вниманием в предмет заседания нашего, я долгом почел предложить здесь на просвещенное суждение почтенных сочленов моих размышления мои, возникшие от вопроса: полезно ли и будет ли ответствовать предполагаемой правлением цели, если мы лишим профессоров права, коим они до сих пор пользовалися — выписывать книги на имя свое прямо, минуя всякую цензуру?

Рассматривая предмет вопроса сего со всех сторон его и соображая выгоды и невыгоды, с предполагаемым намерением сопряженные, я таким образом рассуждаю:

Здесь цель правления не в том ли состоит, чтобы заградить путь в отечество наше соблазнительным книгам? Цель, конечно, самая благонамеренная; но кто поверит, чтобы средство к оной было достаточное? Если и полагать, что в порядке, теперь существующем, проскочат какие-нибудь две или три худые книги, то что это значит в сравнении со множеством таковых, которые со всех сторон могут к нам вкрадываться, которых никакая полиция не может устеречь и на которые мудрое правительство наше смотрит сквозь пальцы, с презрением или, лучше сказать, с равнодушием, ибо великое, могущественное, твердое, оно не может опасаться бредней теории воспаленных воображений, которые и увлекают по большей части праздное любопытство потому только, что они запрещены. Кажется, довольно уже и сего соображения для показания бесполезности мер относительно к заграждению ввоза к нам книг соблазнительных, и я теперь от вещи обращаюсь к человеку.

Профессор или заслуживает доверенность правления, или не заслуживает. В последнем случае ему не только книг выписывать, но и кафедру ни на одну минуту не должно занимать, ибо подозревать человека способным к подлым, вредным умыслам и между тем вверять ему моральное образование юношества есть такое противоречие, какого я и предполагать не смею. Следовательно, запрещение падет на кого? На одних профессоров, достойных носить почтенное название сие, — на тех, коих правление признает заслуживающими лестную доверенность отечества. Сколько оскорбительно должно быть для них подозрение, скрывающееся в мере предосторожности, явно противу их предпринимаемой, — об этом нечего уже и говорить. Но я прибавить к тому должен, что после этого ни один профессор не останется у нас, да и не может оставаться.

Профессор (разумеется, настоящий, не зауряд, каковые, по несчастию, находятся и у нас), профессор, говорю я, есть человек, который посвятил жизнь свою исключительно какой-нибудь из многочисленных отраслей познаний человеческих, который, так сказать, ею и для нее живет. Он должен беспрестанно следовать за успехами науки своей, взором обнимать весь ход ее. Ему непременно нужно знать о вновь открытых истинах, даже о новых заблуждениях ума, и в этом одном отношении гражданин мира, ему не может быть чуждо ничто, касающееся до цели жизни его, ни в Калькутте, ни в Филадельфии. Что, если у такого человека отнять единственное средство сообщения мысли с рассеянными по пространству образованного света согражданами его, то есть людьми, занимающимися одинаковыми с ним проблемами. Не все ли это равно, что поставить его в необходимость или изменить призванию своему, или от-

казаться от кафедры своей? В обоих сих случаях потеря будет на нашей стороне, ибо в первом — худой профессор у нас останется; в последнем — хороший профессор нас оставит. Профессорам, — возразят мне, — не возбраняется выписывать книги, до наук их касающихся! Хорошо, но каким образом? Профессор должен будет отнестись в университетский совет, совет к попечителю, попечитель к министру; министр отдаст это на рассмотрение главного училищ правления, то есть такое время пройдет в переходах из места в другое, в которое профессор два или три раза мог бы уже иметь книгу в руках своих, и все это для того, чтобы мы здесь решили, полезна ли такая книга профессору или нет. Однако же к этому я осмеливаюсь сделать еще вопрос: мы по какому праву можем произнесть такой приговор? Я смотрю вокруг себя и вижу между нами только одного почтенного сочлена, имеющего полное право дать мнение свое, и то по одной своей части, прочие же все мы — недостаточные судьи, ибо тут речь не о вере, не о политике, не о нравственности, а просто о такой-то книге для такого-то профессора. И эта книга во всех помянутых отношениях может быть самая худая; но она нужна профессору, следственно ему одному и отвечать за нее. Положим, например, что астроном Струве потребует Лаланда.[1] Что мы скажем на это? Нам всем здесь известно, что Лаланд был открыто, явно атеист. Я не читал его, однако же не сомневаюсь, что в ученых его сочинениях должно находиться много похожего на систему Эпикура или отголоска его — Лукреция.[2] Но нам какое дело до исповедания Лаланда, когда и Струве нужны одни только вычисления его?

В заключение скажу, что запрещение профессорам выписывать книги есть мера для них без нужды оскорбительная, как средство — бесполезная, а для общей цели, для просвещения — вредная.

О преподавании философии

§ 1-й

Под именем *философия* (в пространном смысле слова сего) я разумею рассуждение о крайних началах познаний человеческих. В таком смысле каждая наука, каждое художество имеют свою философию. Она основана на естестве человека, разумом от Бога одаренного. Развитие же разума ничто не может останавливать, по той единственно причине, что ничто не может противиться воле Создателя.

В теснейшем смысле *философия* значит понятия наши, опытом и разумом извлеченные и в систематический порядок приведенные: о естестве человека, о мире, в коем он находится, и, наконец, о Боге Вседержителе, сколько разум может ⟨понять⟩ его без помощи откровения. Сия философия обыкновенно разделяется на умозрительную и практическую, а вступлением к ней служит логика.

Как во всех образованных землях законодатели усмотрели, что нет никакой возможности воспретить рассуждения о предметах, на которые мысли человеческие обращаются беспрестанно и, так сказать, невольно, то нигде и никто не помышлял вовсе запретить учение философии в университетах и гимназиях, а довольствовался единственно тем, чтобы давать сему учению такое направление, которое бы ручалося за пользу и безопасность оного. Поистине я говорю *за пользу*, ибо противу философизма, то есть *злоупотребления философии*, нет лучшей защиты, как здравая философия, пред которою, как дым, исчезают все начала, противные спокойствию государств и святости религии.

К сему еще в заключение сказать должно, что как философские понятия находятся во всех науках и служат им основанием, то курс философии почитался всегда необходимым приуготовлением к учению Богословия, правоведения и врачебной науки, и потому Логика и краткой курс теоретической и практической философии всегда преподавалися в гимназиях и семинариях как в местах, где юношество готовится к университетскому учению.

§ 2-й

Так как заблуждение ума человеческого доказывает только слабость нашу, а самого употребления ума не отвергает, так точно и злоупотребление философии не доказывает, чтобы употребление оной было бесполезно: напротив того, и я выше сего сказал уже, что она, т. е. здравая философия, есть нужнейший оплот против нападений лжемудрия. Это заключение заслуживает особливое наше внимание.

Мы часто принимаем злоупотребление вещи за самую вещь и в таком понятии некоторые говорят: «Поелику Софисты употребляют философию во зло, следственно, и философия есть зло», — умозаключение ошибочное, *не философское*, и которое одно уже достаточно доказывает пользу учения философии, ибо с нею никто бы не сделал такого предложения и никто бы и не принял оного. Впрочем, вышеприведенный сил-

логизм не есть ли тот самый, который вольнодумцы употребляют против религии. Не у них ли беспрестанно в устах Лукрециев стих:

〈Tantum religio potuit suadere malorum!〉*[+3]

Но кто здравомыслящий отнесет к религии костры инквизиции, канун Варфоломеева дня или позор человечества,[4] гонителей, каковы были Филипп II Испанский и достойная супруга его Мария Великобританская?[5] Истинный философ не сделает такого отвратительного смешения в понятиях, потому что истинный философ есть *истинный христианин*, коему откровение не воспрещает употребления умственных сил его, но служит как аромат, предохраняющий науки от порчи.

§ 3-й

Чувство внутреннее — чувство моральное — назовите, как хотите, но это не есть какая-нибудь отвлеченность моралистов-мечтателей, а сущность, чувство ясное, громко гласящее каждому человеку: вот что до́лжно делать! — вот чего не до́лжно делать! Сие-то самое чувство и есть то, что называется естественным законом, коим мы определяем моральное достоинство каждого поступка: вне себя — одобрением или отчуждением, внутри же себя — сознанием правоты или угрызением совести. Без этого я не понимаю, как бы мог человек избрать *то* или *иное*; и тогда где была бы моральная свобода его, на которой единственно основаны добродетель и порок.

Итак, из сего следует, что все положительные Законы должны непременно проистекать от сего естественного, коему полное и окончательное развитие даровал тот божественный законодатель, который один испытал сердце человеческое, испытал щастие общественное и открыл великое будущее, без коего жизнь наша была бы как вещь без употребления.

Обращаясь к предмету моему, я повторяю, что Закон естественный есть источник всех положительных, а кто говорит *Закон*, тот признает право и обязанность: истина, как аксиома, не требующая доказательств; из коей следует, что Право естественное существует; а когда существует, то нельзя отвергать его и не должно молчать о нем.

Бредни Руссо и подобных ему софистов,[6] искавших источника прав в каком-то естественном, отвлеченном человеке, в одном только воображении их существовавшем, ничего другого не доказывает, как то, что мы уже видели, говоря о философии, — злоупотребление. Но как эпитет *естест-*

---

* Столько зол могла внушить религия! (*лат.*).

венное дает в политике повод к кривым толкам, то можно, по мнению моему, без него обойтиться, лишь бы только сохранить необходимое в преподавании положительного права, что и можно присовокупить в преподавании под видом вступления и под заглавием *Философия права*, в таком точно смысле, в каком говорится *Философия Истории*, *Философия Ботаники* и проч.

§ 4-й

По всем сим соображениям я полагаю, что Главное училищ правление должно ограничить себя *направлением* преподавания философских наук вообще и исправлением курсов философии в особенности. Прилежно наблюдая положение, в котором мы находимся, легко усмотреть можно, что, в отношении преподавания философских наук, благоразумные меры в одной земле могут быть совершенно неуместными в другой. Я здесь разумею Францию, которой, как мне кажется, мы не должны в этом деле подражать.

Там была политическая революция, там и до сих пор еще две партии, одна против другой остервененные, наблюдаются и друг другу угрожают; там, по всему этому, трудно еще находить Профессоров довольно осторожных, скромных и беспристрастных, которым бы можно было поверить преподавание некоторых отраслей наук философских; а у нас что общее между нами и французами?

У нас не было революции и не будет ее, потому что народ наш одарен лучшею философиею — здравым смыслом, который беспрестанно твердит ему, что он под отеческим правлением благоденствует и что от добра добра не ищут. У нас поэтому нет ни фракций, ни партий политических; а если бы и случилося немного воспаленных мозгов, то что они значат? они одиноки, они отверженные, они ни одной точки соединения с целым обществом не имеют; да такое заблуждение их не есть, так сказать, домашнее: оно ввезено, как моды, и так же преходяще, как они.

§ 5-й

В ограничении времени курса я не вижу никакой пользы: вред не в количестве, а в качестве; и в 60 уроков можно наделать зла более, нежели в 600.

§ 6-й

В мерах, предполагаемых относительно к программам, я также не вижу большой пользы: программа сама по себе есть скелет, которому

профессор на кафедре дает бытие и вид; следственно, все зависит от толкования, а от программы ничего.

§ 7-й

Итак, мнение мое состоит в том, что мы должны наблюдать над образом преподавания философских наук, а не останавливать их; и наблюдение наше должно быть отеческое, а не полицейское, ибо сие последнее в науках никогда ничего доброго не производило.

Наблюдение таковое, я разумею, должно состоять в том, чтобы:

1-е, возложить на кураторов ненарушимую обязанность не иначе избирать в Профессоры как людей, на опыте дознанных честными и добрыми. Наука и в самом Профессоре не есть еще главное достоинство его относительно к ученикам: он должен быть прежде всего человеком чистой нравственности, спокойного духа и особливо истинным христианином. За таковых ручаются здесь непорочность прошедшей жизни; вне — одобрение людей, на коих можно положиться. Наипаче требует большой осторожности выбор молодых людей в Профессоры, ибо таковые могут быть весьма учены, но им все еще недостает опыта и, следственно, этих спокойствия и крепости в заключениях ума, которые суть плоды опытности.

2-е, избрав такого Профессора, как сказано в 1-м пункте, куратор откроет ему изустно, наедине, намерения правительства о духе, в котором должно преподавать науку. Он войдет с ним в рассуждение о предметах, наиболее требующих осторожности, не для того, чтобы выведать из него и потом доносить на него, но для того, чтобы поставить его на путь желаемый.

3-е, после этого он пройдет с Профессором представляемую им программу. Рассматривая оную, он будет иметь случай заметить камни преткновения, остеречь на их щёт. Профессор по большей части, кроме науки своей, ничего не видит. Для этого надобно, чтобы куратор открыл ему глаза и поставил ему на вид предметы, требующие осторожности; те, о коих можно говорить, и в каком смысле говорить; и те, которые должно пройти в молчании. Предохраненный таким способом от преткновения, Профессор не впадет в погрешности, которые по большей части бывают плодом неведения: ибо преподававший какую-нибудь науку, чрез многие годы и с одобрением начальства, Профессор часто и не догадывается, что времена уже не те, что были, что обстоятельства переменилися и что иногда одно слово, да не в пору сказанное, может служить поводом к кривым и вредным толкам.

Таким только образом, думаю я, можно надеяться привести преподавание философических наук в надлежащий порядок, а не чрез доносы.

Тут действует один только *страх*; а система страха ни к чему не годна; всего еще менее в науках.

§ 8-й

На щёт нынешней немецкой философии я весьма соглашаюсь, что она нам не прилична. Кантова темна; последователей его, Фихте и Шеллинга, с великим трудом понятна; а в переводе у нас на русской язык становится иногда такою трансцендентальною галиматьею, которая равняться может только с Сганарелевыми доказательствами в Мольере.[7]

Впрочем, не во всем могу согласиться с определением Мограса о Кантовой философии[8] и, следственно, о философии немецкой вообще. «Кантова философия (говорит Мограс) способствует к фатализму, потому что делает из души человеческой Автомата, принимающего непроизвольно *всякие познания* (это ложно: К⟨ант⟩ этого не говорит) точно так, как тело принимает движения». — Здесь даже в устах самого Мограса выражение *точно так, как тело и проч.* не иное что, как сравнение, а не доктрина механизма; а все то, что охуждает французский Профессор, не иное что, как обращение к *врожденным понятиям*, или, лучше сказать, к Платонову спиритуализму, который, как ни говорите, а все лучше Кондильякова *Человека*,[9] т. е. статуи, способной принимать впечатления извне.

Ежели немецкая школа ведет к фатализму, то французская прямо к материализму; и я не знаю, что из двух хуже; а что до меня касается, то если бы я нашелся принужденным непременно избрать одну из сих двух школ, то, не колеблясь нимало, предпочел бы немецкую.

В этом, однако же, положении мы не находимся; и можем держаться, при некоторых только оттенках, старой нашей системы, я разумею Вольфовой философии, или, лучше сказать, эннтомотора его Баумейстера.[10] Хотя же в рассуждении нравственной я и принял бы охотно шотландскую школу, однако же и того не смею советовать, единственно потому, что у нас до сих пор не составился еще язык философский.

По этой-то причине желал бы я, чтобы философия преподавалася у нас не на русском, а на латинском языке. В этом средстве я вижу две ощутительные выгоды: *первую*, это бы служило побуждением для студентов к основательному изучению классического, необходимого языка; *вторую*, русские Профессоры в курсах своих избежали бы чрез то темноты и амфилологии, послуживших уже к не выгодным и, может быть, несправедливым о правилах некоторых из них заключениях, и все от того толь-

ко, что у нас до сих пор нет еще ясных философских определений, короче сказать, нет еще вовсе философского языка.

Не это ли самое, может быть, и послужило поводом к обвинениям, здесь произнесенным против г. Давыдова?[11] Однако же, обвинив человека, должно бы выслушать его и дать ему способ оправдаться — ибо ежели гласно только обвинение, а безгласно оправдание, то в таком случае как бы ни был чист в совести своей обвиняемый, но все будет лежать на нем подозрение, все останется пятно; тем горестнейшее, что он не будет иметь способа стереть его: и доброе имя есть драгоценнейшее достояние Гражданина, которое если и может человек сам утратить, то, по крайней мере, никто уже не имеет права отымать его у другого.

Я говорю это, отдавая всю справедливость искренности побуждений г. Казанского попечителя,[12] хотя, впрочем, и не могу согласиться видеть с ним в г. Куницыне «орудие врага Божия,[13] потрясающее Неаполь, Мадрид, Турин, Лиссабон, внушающее Капингу политическую исповедь его и вооружающее одною строкою до 200 штыков и 200 линейных кораблей...».

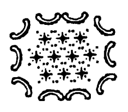
Власть ужасная! и если половина, если сотая доля этого справедлива, то мало того, чтобы говорить здесь о Куницыне и обвинять его, надобно требовать над ним суда, и суда примерного, строжайшего. Ежели же вся эта картина не иное что, как призрак увлеченного усердием воображения... то что бы это значило?..

То, что в записке названо преусердием, от которого человек, при самых чистых движениях сердца, не умеет остановиться на той счастливой *средине*, о коей Гораций говорит:

⟨Áureám quisquis mediocritatem[14]
Diligit, tutus caret obsoleti
Sordibus tecti, caret inidenda
Sobrius aula⟩.*

---

* Тот, кто золотой середине верен,
Мудро избежит и убогой кровли,
И того, в других что питает зависть
Дивных чертогов (*лат.*).



ПРИЛОЖЕНИЯ

В. А. Кошелев

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ И. М. МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА

1

Отцом писателя, дипломата и тайного советника Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола был военный инженер, генерал-майор Матвей Артамонович Муравьев (старший; 12 ноября 1711—после 1777). В конце жизни Муравьев-старший составил специальный «Журнал от начала рождения моего...», автобиографические записки, которые редактировал сын. В этом «Журнале...» о рождении Ивана Матвеевича сказано следующее:

«Когда Ея Императорское Величество имела шествие в ⟨1⟩767 году в Казань, тогда я с приуготовленными планами и прожектами касательно до постройки вновь на Мстине озере шлюза и протчих работ, ездил в Тверь к Ея Императорскому Величеству для поднесения оных и был принят весьма милостиво. А потом возвратился на Опеченскую пристань, где того ж ⟨1⟩767 году в октябре месяце покойная моя супруга Елена Петровна, разрешась от бремени, скончалась. Это удар мне великой был, даже что я и тогда несколько почувствовал разбитием параличной болезни, а сын мой после ее остался трех недель».[1]

В других источниках называется точная дата рождения: 1 октября.[2] Правда, в ряде документов есть расхождение в годе: называются еще 1762, 1765, 1768-й. Но кажется, что это, отцовское (прочитанное и редактированное сыном), свидетельство наиболее верно: не мог забыть Матвей Артамонович даты смерти любимой супруги, тем более, что эта

---

[1] Записки М. А. Муравьева // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах. М., 1994. Вып. V. С. 63.

[2] Все даты указываются по старому стилю.

дата подкрепилась в его сознании еще и аудиенцией у императрицы. Место рождения — Опеченский Посад близ Боровичей Новгородской губернии — тоже весьма естественно: отец устраивал там шлюзы и боролся с Боровичскими порогами на реке Мсте. И, наверное, завел в этих местах небольшое имение.

Муравьевы принадлежали к старинному, но небогатому дворянскому роду: потомкам петровского ландкарта, полковника Артамона Захарьевича Муравьева (ум. 1745), пришлось для продвижения по службе использовать свои недюжинные способности. Они и использовали. Старший сын, Федор Артамонович (1710—после 1764) дослужился до полковника, Матвей Артамонович-старший — до генерал-майора, Матвей Артамонович-младший (1714—1799) — до суздальского воеводы, Никита Артамонович (1721—1799) стал тверским вице-губернатором, сенатором и тайным советником... Внуки Артамона Захарьевича стали европейски образованными людьми, оставившими после себя яркую память, как, к примеру, замечательный писатель и ученый XVIII столетия, наставник Александра I Михайло Никитич Муравьев (1757—1807) или Захар Матвеевич Муравьев (сын Матвея Артамоновича-младшего, 1759—1832), артиллерийский полковник, потом действительный статский советник... А среди правнуков семь человек оказались видными «декабристами», которые не только разрабатывали проекты уничтожения крепостного права и самодержавия, но и готовы были с оружием в руках реализовать эти проекты: два сына Михайла Никитича (Никита и Александр Муравьевы), сын Федосьи Никитичны (Михаил Лунин), три сына Ивана Матвеевича (Матвей, Сергей и Ипполит) и сын Захара Матвеевича Артамон...

Иван Матвеевич принадлежал к поколению просвещенных, творческих людей, предшествовавшему декабристам. По характеристике современного историка, он представлял собою тип «сибарита, селадона екатерининских времен», которому сыновья, погибшие в рядах декабристов, представлялись «слишком серьезными, не чувствующими сладости жизни и юмора».[3]

Его мать Елена Петровна, урожденная Апостол (1731—1767), была внучкой последнего украинского гетмана Данилы Павловича Апостола (ум. 1734). В конце XVII—первой трети XVIII века Данило Апостол был одним из виднейших представителей Украинской казацкой старши-

---

[3] *Эйдельман Н.* Грань веков: Политическая борьба в России. Конец XVIII—начало XIX столетия. М., 1982. С. 154—155.

ны, полковником Миргородского полка.[4] «Великой неприятель Мазепы» (как назвал Апостола Петр I) вынужден был, однако, играть роль гетманского «друга» и даже уйти с ним в 1708 году к шведам. Спустя три недели он вернулся в расположение русских войск, получил прощение Петра и позднее принял участие во многих его походах. В 1723 году он принял участие в деле наказного гетмана Полуботко (тогда казацкая старшина заявила протест против петровских реформ) и был доставлен в Петербург. Там, приняв верность императору, Данило Апостол был отпущен на родину, а в Петербурге, как заложник, остался его старший сын Петр. В октябре 1727 года на Раде в Глухове бывший казацкий полковник был избран гетманом, потом по указу Сената получил грамоту на гетманство и кафтан...

Его сын Петр (дед Ивана Матвеевича) остался между тем в Петербурге, под надзором А. Д. Меншикова, и сумел получить прекрасное для своей среды образование. Потом тоже был отпущен на Украину. О дочери гетмана, Елене, Матвей Артамонович Муравьев, который увез невесту, не получив согласия родителей, писал: «Вместо приданого ее я любил, разумная и добродетельная была, притом богобоязливая, советы преподавала мне как другу, от горячности меня удерживала. Однем словом сказать, подобной для меня сыскать было не можно, в гонение ж моих нещастий утешала меня».[5]

Именно благодаря своему происхождению от украинского гетмана Иван Матвеевич и получил в 1801 году вторую часть своей фамилии. А заодно стал наследником значительного (около 4 тысяч крепостных душ) состояния и владельцем богатейшей усадьбы Хомутец Миргородского уезда Полтавской губернии. За пять лет до того он познакомился со своим двоюродным братом, тоже правнуком Данилы Апостола, подполковником Михаилом Даниловичем Апостолом. Этот последний представитель Апостолов был большой чудак, прогнавший свою жену и уведший чужую, но не имевший прямых наследников. В конце концов у него возникли тяжбы из-за наследства с многочисленными дальними родственниками, и тогда он порешил все разом, распорядившись достоянием своим в пользу Ивана Матвеевича. Тот похлопотал перед сильными мира сего — и 4 апреля 1801 года явился указ императора Александра I (только что вступившего на престол) о том, чтобы Иван Матвеевич, которому

---

[4] Родословную Апостолов см.: Русская родословная книга. СПб., 1873. С. 122—123, 235—236.

[5] Записки М. А. Муравьева. С. 49—50.

было дозволено к родовой фамилии Муравьева «присоединить фамилию Апостол», стал полновластным наследником и потомком последнего гетмана Украины.[6] К этому времени сам Иван Матвеевич сделался весьма влиятельным лицом.

Поначалу служба его шла по заведенному в те времена порядку. В 1773 году, в пятилетнем возрасте, он был записан солдатом в Лейб-гвардии Измайловский полк, а через три года, в 1776-м, отец отдал его в пансион академика Леонарда Эйлера на Васильевском острове в Петербурге — там он обучался математике и иностранным языкам, обнаружив к последним замечательные способности. В следующем году пансион закрыли, и «маленький Иван Матвеевич» «образовывался и обучался» самостоятельно (часто встречаясь с жившими в Петербурге двоюродными братьями). Михаил Никитич Муравьев в своих письмах к отцу именует его «маленьким», ибо был еще «большой» Иван Матвеевич, сын Матвея Артамоновича-младшего.[7] В десятилетнем возрасте «маленький Иван Матвеевич» дебютировал в печати, выпустив свой перевод с французского под названием «Наставление знатному молодому господину, или Воображение о светском человеке» (СПб., 1778), посвященный фельдмаршалу князю Н. В. Репнину.

В октябре 1784 года Муравьев вступил в действительную службу — обер-аудитором в штате петербургского генерал-губернатора Я. А. Брюса, а уже в следующем году стал губернаторским флигель-адъютантом. В 1788 году в чине секунд-майора переведен в Коллегию Иностранных дел, с 1790-го — заведовал Ладожским каналом в Шлиссельбурге. В 1792 году, по протекции Михаила Никитича, премьер-майор И. М. Муравьев был приглашен ко двору и определен воспитателем («кавалером») к великим князьям Александру и Константину Павловичам, зачем назначен обер-церемониймейстером. При дворе он сумел понравиться и императрице Екатерине II, и далекому от нее великому князю Павлу Петровичу, будущему императору; это умение «понравиться» в общем-то и обеспечивало успешную карьеру.

27 февраля 1793 года на сцене Эрмитажного театра состоялась премьера сатирической комедии Р. Б. Шеридана «Школа злословия» в переводе Ивана Матвеевича. Это был первый перевод на русский язык выдающейся комедии, выполненный к тому же прямо с английского ориги-

---

[6] См.: Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. XXXIV. С. 80—82.

[7] См.: *Муравьев М. Н.* Письма к отцу и сестре 1777—1778 годов // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 259—377.

нала. В противовес тогдашней традиции, это был именно перевод, а не переложение; разве что несколько изменен порядок сцен и русифицированы фамилии. Сэр Питер стал именоваться Досажаевым, Чарльз — Ветроном, Джозеф — Лукавиным, сэр Бенжамен — Клешниным-племянником и т. п. Пьеса очень понравилась императрице и двору; ходили даже слухи, что в переводе принял участие великий князь Александр Павлович, воспитанник автора.[8] Пьеса была издана, а позднее перевод Муравьева-Апостола был использован А. И. Писаревым в комедии «Лукавин» (1823).

В 1794 году Иван Матвеевич издал комедию под заглавием «Ошибки, или Утро вечера мудренее». Это тоже была не оригинальная пьеса, а переделка на русские нравы еще одной вершинной комедии английской просветительской драматургии — «Ночи ошибок» Оливера Голдсмита. Премьера ее состоялась в том же Эрмитажном театре в декабре 1794 года. Она отстояла дальше от английского оригинала, чем «Школа злословия». В типах провинциальных чудаков и светских «петиметров» в этой комедии явственно угадывалось влияние Д. И. Фонвизина, его «Бригадира» и «Недоросля». Обе пьесы потом шли в московских и петербургских театрах вплоть до середины 1820-х годов.

12 декабря 1796 года, после смерти Екатерины II и воцарения Павла I, Иван Матвеевич, в звании камергера великого князя Константина Павловича, был отправлен министром-резидентом в Эйтин, ко двору герцога Ольденбургского. В следующем году он становится к тому же министром-резидентом в Гамбурге, а в 1798 году — еще и в Копенгагене. К тому времени он был уже женат и поселился с семейством в Гамбурге. Старший сын его, Матвей, вспоминал:

«При тогдашних политических обстоятельствах гамбургское посольство служило нашему правительству дипломатическим аванпостом. Первые переговоры нашего правительства с Французской республикой вел отец мой. Профессор Гейдельбергского университета в своей истории Европы в XIX веке отзывается с похвалой о деятельности на дипломатическом поприще отца моего в Гамбурге.

Большая часть французских эмигрантов съехалась в Гамбург. Многие из них, бежав из отечества, лишились всего своего состояния, взялись за торговлю, за ремесла. Помню, как по утрам у нас в доме про маркиза де Романса говорили, что он, сын Людовика XV, ходил в ра-

---

[8] См.: *Кубасов И.* Драматические опыты И. М. Муравьева-Апостола // Известия ОРЯС АН. СПб., 1903. Т. VIII. Кн. 4. С. 304—319.

бочей куртке, с фартуком, а потом в кафтане сидел за обедом с нами. Этот маркиз сделался обойщиком ⟨...⟩ Революционное правительство французское требовало выдачи одного эмигранта, проживавшего в Гамбурге. Сенат гамбургский готовился выдать жертву, обреченную на смерть. Отец взял эмигранта под покровительство России и выпроводил его в Петербург. В инструкциях, данных батюшке об эмигрантах, не было вовсе о том упомянуто. За свое заступничество отец ждал быть отозванным или получить наистрожайший выговор. Отец имел Аннинскую ленту, единственный орден, который он имел. Павел остался совершенно доволен заступничеством, оказанным эмигранту. „M. Mouravieff a agi comme un Dieu",[9] — вот как выразился Павел о поступке моего отца».

В этой обстановке Матвей Муравьев-Апостол, будущий декабрист, был, по его собственному признанию, «ярый роялист», сочувствовавший всем бедствиям, выпавшим на долю аристократов-страдальцев. «Отец его садится, бывало, за фортепиано и заиграет „La Marseillaise" («Марсельезу»), а мальчик затопает ногами, расплачется, бежит вон из комнаты, чтоб не слушать ненавистные звуки, которые сопровождали к смерти жертв революции».[10]

В июле 1800 года Иван Матвеевич был произведен в тайные советники, а в конце года возвратился с семейством в Петербург, «чтобы занять пост вице-президента иностранной коллегии».[11] Несмотря на благосклонность к нему императора Павла, наградившего его за «рыцарский поступок» со спасением французского эмигранта орденом Св. Анны 1-й степени, Муравьев-Апостол искренне не принимал начавшегося сближения России с Наполеоном Бонапартом и не стал его сторонником. Доверенное лицо вице-канцлера Никиты Петровича Панина, он был осведомлен о планах дворцового переворота и приветствовал его в секретных депешах к русскому послу в Англии С. Р. Воронцову,[12] хотя непосредственного участия в заговоре не принял.

Впрочем, и осведомленность о заговоре была наказуема. В. Е. Якушкин, со слов старшего сына Муравьева-Апостола, Матвея, отметил: «Иван Матвеевич пользовался большим расположением Александра Пав-

---

9 Господин Муравьев действовал по-божески (*франц.*).

10 *Муравьев-Апостол М. И.* Воспоминания детства // Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982. С. 165—166.

11 *Якушкин В. Е.* Матвей Иванович Муравьев-Апостол // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 101.

12 Письма И. М. Муравьева-Апостола к С. Р. Воронцову // Там же. С. 121—128.

ловича: Матвей Иванович помнил у своего отца целую кипу писем великого князя к нему ⟨...⟩ С воцарением Александра I Иван Матвеевич мог, казалось, рассчитывать на особое расположение императора во имя прежних отношений. Но дело вышло не так. Когда составлялся заговор (против Павла I), Иван Матвеевич тоже получил было от кого-то из заговорщиков приглашение принять в нем участие и отказался; потом участники заговора сумели восстановить Александра I против Ивана Матвеевича, который так никогда не пользовался его милостью».[13]

Возможно, однако, что эта опала объяснялась не только «осведомленностью». Во главе «антипавловского» заговора стояли петербургский генерал-губернатор П. А. Пален и вице-канцлер Н. И. Панин. Иван Матвеевич был «человеком Панина» и вполне мог быть посвящен в конституционные проекты, которые тот лелеял: сразу же после возведения на престол молодого государя законодательно ограничить самодержавную власть. Этих проектов не сохранилось — разве что глухие намеки, один из которых зафиксирован Пушкиным в «Table-talk». Пушкинская запись датирована 6 октября 1834 года, где он ссылается на разговор с многознающим И. И. Дмитриевым: «Дм⟨итриев⟩ предлагал имп⟨ератору⟩ А⟨лександру⟩ Муравьева в сенаторы. Ц⟨арь⟩ отказал начисто и, помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален доставил М⟨уравьева⟩ писать конституцию — а между тем произошло дело 11 марта. — М⟨уравьев⟩ хвастался в последствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию, как с тем, чтоб наследник подписал хартию».[14] А участие в проектах ограничения самодержавия — эта провинность была уже крайне серьезной.[15]

Летом 1801 года Муравьев-Апостол едет с посланием Александра I о перемене власти в России к австрийскому и прусскому дворам, а вслед за тем получает назначение на должность полномочного министра в Испании. Это была в сущности почетная дипломатическая ссылка. По дороге в Мадрид он посетил Францию (в Париже оказался свидетелем коронации Наполеона и заодно определил старших сыновей в тамошний пансион), потом Италию, где познакомился со многими выдающимися европейскими знаменитостями.

О дипломатической деятельности в Мадриде и о попытке противостояния Ивана Матвеевича предательской «профранцузской» политике испанского премьер-министра Мануэля Годоя сохранились воспоминания

---

[13] *Якушкин В. Е.* Матвей Иванович Муравьев-Апостол. С. 101.
[14] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 16 т. М.; Л., 1937—1949. Т. 12. 1949. С. 161.
[15] См.: *Эйдельман Н. Я.* Грань веков... С. 291—292.

Матвея: «В то время, как отец мой поступил на должность посланника при испанском дворе, ему поручено было поддерживать мадридский кабинет против честолюбивых замыслов Наполеона. Испанский министр Годой вполне доверился русскому посланнику и в сношениях с Наполеоном держался политики, внушаемой ему представителем русского двора, что возбудило против отца сильное негодование Наполеона, высказываемое им в дипломатических нотах и на столбцах официальной французской газеты.

После Аустерлицкого сражения Годой, устрашившись возрастающего преобладания французского императора, стал заискивать его милости и в угождение ему начал чуждаться русского посланника. В то же время между нашим кабинетом и французским шли переговоры о примирении, поэтому предстоящая перемена в отношениях наших к французскому двору повлекла за собой замещение нашего посланника в Испании. Отец мой, воротившись в Петербург, явился ко двору, где нисколько не чаемое холодное обращение с ним императора Александра I убедило его в утрате царской милости, утрате, оставшейся и впоследствии необъяснимой для него».[16]

Единственное, весьма туманное, упоминание самого Ивана Матвеевича об этой опале сохранилось в его позднейшем письме к Г. Р. Державину от 10 сентября 1814 года: «Честолюбие! — ненавистный призрак! Он помрачил свет дней моих. — Первые следы мои на его поприще усыпаны были цветами, последние — терпием. Я многим показался любимцем щастия, и гнусная клевета отравила полдень жизни моей. С тех пор протекло восемь лет; недавно еще раны сердца моего совсем закрылись; я отдохнул; и теперь *честолюбие* представляется мне как некакой тяжкий сон, от которого просыпаясь, душою веселюсь, что снова ощущаю жизнь и сладость бытия».[17]

Как бы то ни было, в 1805-м или в 1806 году, возвратившись в Россию, Иван Матвеевич оказался в немилости у Александра I и без всякого назначения. Ему ничего не оставалось, как продолжать жизнь «частным человеком», «выключенным из службы», — и он уехал в свое имение в Полтавской губернии.

Тайный советник Муравьев-Апостол продолжал числиться в службе по ведомству Иностранных дел, но был фактически без места. В 1806—

---

16 *Муравьев-Апостол М. И.* С. И. Муравьев-Апостол (1796—1826 гг.). Заметки по поводу его биографии // Мемуары декабристов. Южное общество. С. 187—188.

17 *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. СПб., 1876. Т. 6. С. 333.

1807 годах он принял участие в формировании народного ополчения («милиции») для противодействия наполеоновской кампании в Пруссии.

Матвей вспоминал один любопытный эпизод: «В 1807 году батюшка мой, вступив в милицию, был назначен окружным начальником. Желая возобновить старое знакомство с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, бывшим тогда киевским военным губернатором, он заехал повидаться с ним и не мог не выразить ему своего удивления при виде такого знаменитого воина, занимавшего гражданскую должность в военное время. Отец рассказывал, что Михаил Илларионович, взяв его за руки, сказал: „Голубчик, настанет время, когда я и им на что-нибудь пригожусь". Кому не известно, что сбылось его пророческое слово».[18]

2

В 1810 году К. Н. Батюшков, только что познакомившийся с Муравьевым-Апостолом, своим дальним родственником, зафиксировал в записной книжке первое впечатление: «И. М. М⟨уравьев-Апостол⟩ — любезнейший из людей, человек, который имеет блестящий ум и сердце, способное чувствовать все изящное, — сказал мне, что он не выпускает Горация из рук, что учение сего стихотворца может заменить целый век опытности, что он всякий день более и более открывает в нем не только поэтических красот, но истин, глубоких и утешительных».[19] Это почитание античности и Горация объясняет многие его последующие поступки.

К античной словесности Иван Матвеевич пристрастился в первые годы после опалы: он провел их в своем полтавском имении Хомутец. Это имение, доставшееся по наследству от Апостолов, было расположено по соседству с родовым имением знаменитого поэта и комедиографа Василия Капниста Обуховкой: оба имения были заметными культурными гнездами на Украине, а семьи их владельцев находились в постоянном и тесном общении. Оттуда Иван Матвеевич послал московскому профессору изящных искусств Иоганну Теофилу Буле переведенную им в стихах оду Горация к Помпею Гросфу (ода 16 из II книги). Буле напечатал ее в «Вестнике Европы», при своем «письме» в журнал.[20]

В это время в Московском университете шла «мышиная возня», и «подсиживавший» Буле профессор М. Т. Каченовский не замедлил ото-

---

18 Мемуары декабристов... С. 188.

19 *Батюшков К. Н.* Сочинения. В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 27.

20 Вестник Европы. 1809. № 20. С. 267—274.

зваться на статью Буле (а заодно и на перевод Муравьева-Апостола) язвительной критикой, высмеивавшей попытки «русификации» античности.[21] Этот перевод стал в сущности единственным его стихотворным произведением, до нас дошедшим. Современники его оценили; тот же Батюшков в письме к Н. И. Гнедичу[22] указывал «прекрасные стихи», восходившие к державинской описательной традиции:

Хлеб-соль простая — угощенье;
Стола опрятна украшенье;
Солонка дедовска одна:
Ни алчность почестей и власти,
Ни жадность лихоимной страсти
Не возмущают легка сна...

Между тем этот перевод явился поводом для «ученой распри», а сама «распря профессоров» привела к тому, что Буле был отстранен от преподавания в университете (по обвинению в антибонапартистских настроениях), а молодой студент А. С. Грибоедов положил ее в основу своей ранней пародийной комедии (не дошедшей до нас) «Дмитрий Дрянской».[23]

Около 1809—1810 годов Иван Матвеевич стал появляться в обеих столицах — в Петербурге и в Москве попеременно. Привыкший жить на широкую ногу и не отказывать себе, он снял дома и в Петербурге (на Караванной улице), и в Москве (на Старой Басманной). Сразу же по прибытии в Москву его постигло несчастье: скоропостижно умерла жена, Анна Семеновна, дочь сербского генерала Семена Черноевича, на которой Муравьев-Апостол женился еще в 1790 году и которая родила ему трех сыновей и четырех дочерей. Батюшков в письме к Гнедичу от 1 апреля 1810 года трогательно откликнулся на эту смерть: «Столь неожиданная кончина женщины, которой едва было сорок лет, матери, у которой семеро детей, меня истинно поразила». Однако, к удивлению знакомых, сам Иван Матвеевич, кажется, не очень-то сокрушался: два года спустя, в возрасте 45 лет, он женился вторично (на тридцатилетней Прасковье Васильевне Грушецкой), и от этого брака имел сына и двух дочерей. Через несколько месяцев после смерти первой жены Батюшков

---

21 Там же. № 21. С. 46—60.

22 *Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 122.

23 См.: *Фомичев С. А.* Реконструктивный анализ литературного произведения: Комедия А. С. Грибоедова «Дмитрий Дрянской» // Анализ литературного произведения. Л., 1976. С. 212—225.

в письме к тому же Гнедичу заметил, что Иван Матвеевич «совершенный Алкивиад и готов в Афинах, в Спарте и у Даков жить весело...».[24]

Человек замечательной эрудиции, блестящего ума и необыкновенных талантов, эстет, полиглот и библиофил, Муравьев-Апостол стал желанным гостем в литературных обществах начала XIX века. Он блещет своей эрудицией в салонах А. Н. Оленина и А. С. Строганова, бывает в доме Карамзина, общается с Державиным, Крыловым, Гнедичем, Жуковским. Его охотно приглашают во все литературные общества. В 1811 году он становится членом Российской Академии и тотчас же оказывается у истоков «Беседы любителей русского слова». Во втором заседании «Беседы...» (22 апреля 1811 года) он читал «Краткое рассуждение о Горации». Батюшков, не присутствовавший в этом заседании, спрашивал Гнедича: «Муравьев-Апостол читал „Жизнь Горация"? — Я бьюсь об заклад, что это было хорошо».[25]

В «Чтениях в „Беседе..."» печатаются его статьи о Горации и прозаические переводы сатир — и таким образом он получает литературное имя и амплуа знатока и любителя античности. В январе 1812 года его избирают председателем IV разряда «Беседы...», а граф Д. И. Хвостов, «поэт, любимый небесами», посвящает ему обширное послание, которое заканчивалось пожеланием:

Душа у смертного лишь мыслию жива,
Она среди сует и шума бурь мертва.
Склоняйся к Музам в сень, красуйся их дарами,
Любуйся славными на Пинде образцами,
И знай, что принесут твои для нас труды
Сторичные тебе и вкусные плоды.[26]

Впрочем, литература, по большому счету, занимает Ивана Матвеевича лишь как способ приятного времяпрепровождения во время вынужденной отставки и условие воплощения в жизнь горацианского идеала. Современники часто вспоминали о том, как в быту он воплощал и достоинства, и пороки богатого и знатного барина. С. Н. Бибикова называла его «большим эгоистом и большим гастрономом» (у него был славный повар, привезенный из Испании). С. В. Капнист-

---

[24] *Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 128, 154.
[25] Там же. С. 167.
[26] Полн. собр. стихотворений графа Хвостова. Т. 3: Послания к разным лицам. СПб., 1829. С. 133.

Скалон так описывала вседневное бытие Муравьева-Апостола в полтавском имении:

«Он жил, можно сказать, роскошно. Несмотря на скромное помещение свое, роскошь его состояла в изящном столе. Он, как отличный гастроном, ничего не жалел для стола своего. Дородный и франтовски одетый испанец, maitre d'hotel, ловко подносил блюда, предлагая лучшие куски и объясняя то на французском, то на немецком языке, из чего они составлены, — с хозяином же говорил по-испански. Довольно обширная гостиная Муравьева вмещала в себе кабинет и его обширную библиотеку, и рояль, и разные игры, и камин, вокруг которого усаживались обыкновенно и гости, и хозяева, беседуя или читая вслух, а большею частью слушая чудное пение самого хозяина и дуэты с прекрасною его дочерью».[27]

Война 1812 года застала Ивана Матвеевича в Петербурге, откуда он, вместе с Батюшковым, отправился в Москву, а затем, вместе со множеством москвичей, не желавших оставаться в городе, который вот-вот должны были занять наполеоновские войска, «эмигрировал» в Нижний Новгород.

«От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя. Нет, я слишком живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, чтоб минуту быть покойным. Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством».[28] Это признание Батюшкова из письма к Гнедичу из Нижнего Новгорода (октябрь 1812 года) ярко напоминает публицистические «Письма» Муравьева-Апостола, написанные чуть позднее.

Во второй половине 1812 года Нижний Новгород был город, «чудный по вмещению Москвы», «обломок огромной столицы». Туда съехались московские аристократы — Архаровы, Глинки, Оленины, Пушкины — и образовали в Нижнем то замечательное единство, которое могло (хотя бы на одну зиму) именоваться единством патриотизма. Жили, как

---

27 Из воспоминаний С. В. Капнист-Скалон о декабристах // Декабристы в воспоминаниях современников. С. 115.

28 *Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 234.

и положено по военному времени, тесно и стесненно: Иван Матвеевич, привыкший жить широко, вынужден был удовлетвориться одной комнатой вдвоем с Батюшковым. Рассуждали, естественно, о злодействах «новых вандалов» — французов, о наших поражениях и победах... И о прежнем поклонении общества французской культуре — о том, хорошо или плохо это было. Василий Львович Пушкин, один из французоманов, «спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности». Иван же Матвеевич приводил свои аргументы, и спор разрастался. Из этих споров впоследствии и выросло самое известное публицистическое сочинение Муравьева-Апостола.

Батюшков был его основным и самым частым «собеседником» и единомышленником — и, кажется, основным адресатом его «Писем», хотя само представление об «адресате» в данном случае оказывается весьма условным. Как только стало понятно, что наполеоновская армия покидает Россию не солоно хлебавши, и Батюшков, и Иван Матвеевич уехали из Нижнего: Батюшков для вступления в действующую армию,[29] Муравьев-Апостол — в развалины сгоревшей Москвы.

Триктраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной
Среди развалин и могил...

Там, «среди развалин и могил», Иван Матвеевич написал первые статьи публицистического цикла «Письма из Москвы в Нижний Новгород». «Приезжай сюда сам, — замечает он уже в „Письме первом", обращаясь к условному адресату, — и увидишь, что русскому с русским сердцем и душою в обращенной в пепел Москве не так легко говорить о ней, как то нам казалось издали. Здесь — посреди пустырей, заросших крапивою, где рассеянные развалины печей и труб свидетельствуют, что за год до сего стояли тут мирные кровы наших родственников и сограждан, — здесь, говорю я, ненависть к извергам-французам объемлет сердце, и одно чувство мщения берет верх над всеми прочими».

Статьи эти он отослал в новый петербургский журнал «Сын Отечества»; журнал был создан в сентябре 1812 года с целью мобилизации общественного мнения в России на борьбу с нашествием Наполеона, а его редактор, Н. И. Греч, получил разрешение на значительное расширение политической информации и литературной пропаганды.[30] Как образец

---

29 См.: *Кошелев В.* Константин Батюшков: Странствия и страсти. М., 1987. С. 133—186.
30 См.: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 290—306.

патриотической пропаганды статьи и были восприняты: уже первое письмо оказалось оценено как самый «ударный» материал — и открывало августовский, 35-й номер журнала за 1813 год. И остальные «Письма...» печатались как главные материалы номера. Они, казалось бы, идеально подходили для «сынотечественной» публицистики с ее «антифранцузскими» и «антинаполеоновскими» лозунгами, но и на общем патриотическом фоне они сразу же выделились своей неожиданной направленностью.

Давний исследователь публицистики Муравьева И. Кубасов так охарактеризовал их: «...это яркие картинки нашего общества, перенесшего Отечественную войну, картинки, набросанные искусной рукой горячего патриота, в объяснительном тексте которых читатель услышал еще не слыханные до того времени вещи: автор старался доказать, что вся ложь и зло в нашем обществе происходят от отсутствия у нас общественного и национального самосознания, а последнее — от рабской привязанности к вековым предрассудкам и требованиям минутной моды».[31]

Чувство боли за поруганное Отечество рождало основной публицистический пафос произведения и, кстати, делало его почти текстуально близким одному из самых проникновенных поэтических шедевров периода Отечественной войны — посланию Батюшкова «К Дашкову». Близость эта настолько бросается в глаза, что заставляет поневоле предположить общий (во всяком случае, жизненный) источник. Вот текст Батюшкова:

Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.

А вот — Муравьев-Апостол: «Я видел... Нет! этого я никогда не могу вспомнить без ужаса — я видел зарево пылающей Столицы! — Видел всю дорогу от Москвы до Владимира, усеянную гражданами, ищущими спасения в бегстве; видел — с грудными младенцами — бледных матерей, в отчаянье подъемлющих к небу слезами наполненные глаза;

[31] *Кубасов И.* И. М. Муравьев-Апостол, автор «Писем из Москвы в Нижний Новгород» // Русская старина. 1902. Т. 112. № 10. С. 93.

видел на одной повозке целые семейства, вчера — богачей, сегодня — нищих, в рубищах и без пропитания...».

Но дело даже не в ярчайшем накале патриотизма, не в обвинениях «злодею Бонапарте», не в призывах свергнуть «колосс, давящий Европу». Дело даже не в обвинениях по адресу французов, «сумасбродного и развращенного народа», — всего этого было и без того предостаточно в публицистике периода наполеоновских войн. Иван Матвеевич был, кажется, первым из публицистов, кто, на основе невзгод, постигших русское общество, призвал его прежде всего «на себя оборотиться». Поэтому рассказ о нечестивых французах и о последствиях опустошительного набега Наполеона на Москву переходит в рассуждение о противоестественности русского светского мифа о «прекрасной Франции». И тут же автор выступает не только против губительного влияния галломании на нравы, но и против подражания иностранному, воспринятому как принцип. А от этого переходит к недостаткам современного светского воспитания, о литературных и просветительских предрассудках в современной русской культуре. И о губительности предрассудков для современного русского общества. И о нравственном зле войны, причиной которой стало непомерное честолюбие властителя, вознесшегося на волне кровавой революции.

Примечательно уже заглавие цикла — «Письма из Москвы в Нижний Новгород». В нем три «опорных сигнала»: *Письма, Москва* и *Нижний Новгород*.

Письма как литературная форма не были для начала XIX века новостью: в конце предыдущего столетия читатель многократно мог натолкнуться в любом из журналов на какое-нибудь *Письмо* к другу, причем к другу не только живому, но и умершему, а то и вовсе «из царства теней». Письмо как литературный жанр (и прежде всего жанр публицистики) пришло в русскую литературу с Запада, из той же Франции (русские дворяне со школьной скамьи учились на Письмах мадам Севинье или мадемуазели Аиссе): Иван Матвеевич прямо рассчитывает на то, что его читатель знаком с этой формой. В «Сыне Отечества» того же 1813 года было опубликовано не менее двух десятков самых различных «Писем».[32]

---

[32] Ср.: публикации в журнале «Сын Отечества» за 1813 год: «Отрывок из письма путешественника, бывшего во Франции» (№ 13); «Письмо русского офицера из Берлина» (№ 14); «Послание казака Ермолая Гаврильевича к атаману своему Матвею Ивановичу» (№ 16); «Письмо из Сарепты» А. Ф. Воейкова (№ 18); «Письмо из Витебска» (№ 20); «Перечень письма из Москвы» (№ 21); «Перечень письма русского офицера из армии» (№ 29); «Письмо к архимандриту Филарету» А. Н. Оленина (№ 32); «Письмо к издателям из Дорогобужа» (№ 39); «Письмо о сражении близ города Теплица» А. А. Писарева (№ 40); «Письмо к друзьям о Бонапарте и о нашем времени» (№ 51) и др.

Впрочем, кажется, Муравьев-Апостол именно и рассчитывал на прямое знакомство читателя с этим жанром — это облегчало задачу автора. Письма — известная «журнальная» форма; основное ее достоинство — свобода повествования. В ней-то автор и не стесняется. Чего тут только нет! Есть и образчики «путешествия», написанные в манере сентименталистов. Есть и написанные в «классическом» духе рассуждения о системах русского и английского воспитания. И философские диалоги-сценки в духе Дидро. И философские эссе в стиле Монтеня. И критические разборы произведений иностранных литератур, и даже переводов. И новые переводы классической поэзии. И мемуары — воспоминания о встречах автора с Кантом, Клопштоком, Альфиери, Наполеоном. И *Письма* внутри «Писем»: зачем-то автор «посылает» в Нижний Новгород пришедшие к нему письма от разных лиц. И парадоксы — например, развернутое доказательство о вреде изучения математики. И анекдоты из простонародного быта... Автор постоянно меняет манеру повествования — форма *литературного письма* не мешает, а помогает ему в этом.

Успех «Писем» превзошел все ожидания. В 1813 году «Сын Отечества» публикует, из номера в номер, семь *Писем*; потом возникает продолжение, и публикация «Писем...» переходит на следующий год, потом и на 1815-й, пока, наконец, не исчерпывается на «Письме пятнадцатом», в котором автор проводит свой, горацианский, идеал житейского и политического поведения в аллегорической новелле «Сельская жизнь». Как и положено письмам, они появляются в журнале по горячим следам прошедших великих событий войны: изгнание врагов из России, Лейпцигская «битва народов», взятие Парижа и ссылка Наполеона, «Сто дней», битва при Ватерлоо... Но это отнюдь не только отклик на «события», но и нечто большее. Прочитав в августе 1814 года «Письмо десятое», Г. Р. Державин писал автору: «...столько нашел я в нем благородных чувств, учености, познаний, способности, вкусу и, коротко сказать, совершенного мастерства и легкости изливать пером душу, дабы трогать сердца...».[33]

Показательно, что в заглавии «Писем» Муравьева-Апостола в противовес тогдашней традиции указан не автор и адресат, а *место отправления и назначения*. Оба места символичны. Москва, отданная на разграбление «двунадесяти язык» — и уничтоженная пожаром. «При имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, белокамен-

---

[33] *Державин Г. Р.* Соч. Т. VI. С. 296.

ной Москвы, сердце мое трепещет, и тысяча воспоминаний, одно другого горестнее, волнуются в моей голове. Мщения! мщения!»[34] — так написал Батюшков при известии о московском пожаре. И у него, и у Муравьева-Апостола Москва предстает символом поруганной древней российской столицы.

Но и Нижний Новгород не менее символичен. Это образ «крепкой» русской провинции, извечной основы русского государства. Москвич В. Л. Пушкин, тоже «эвакуировавшийся» в Нижний, 20 сентября 1812 года написал патриотическое стихотворное послание «К жителям Нижнего Новгорода», основной пафос которого заключался в повторявшемся рефрене:

Примите нас под свой покров,
Питомцы Волжских берегов!

В послании изгнанник-поэт много плакался об «осквернении» святынь Москвы и древнего Кремля, о пожаре, от которого «жилища в пепел обратились», а в конце, обращаясь к «питомцам Волжских берегов», предрекал скорую победу над нечестивым врагом:

Погибнет он! Москва восстанет!
Она и в бедствиях славна;
Погибнет он! Бог Русских грянет!
Россия будет спасена.[35]

Нижний Новгород не случайно выступает символом российского «спасения». Он уже однажды был «спасителем» Москвы — как раз за 200 лет до ее нового «поругания». Именно Нижний Новгород сумел создать дееспособное народное ополчение, победившее врага в 1612 году. А как раз перед самым 1812 годом нижегородские купцы собрали деньги для памятника «гражданину Минину и князю Пожарскому», над которым работал скульптор И. П. Мартос.

Сопоставляя два патриотических символа, Муравьев-Апостол проводит свою заветную мысль о необходимости активного и целенаправленного формирования русского национального самосознания. До сих пор образованные слои России предпочитают изъясняться по-французски, а в начале XIX века господство французского языка доходило до того, что в некоторых столичных министерствах он был принят в качестве офици-

---

[34] *Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 235.
[35] *Пушкин В.* Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 123—124.

ального! Что уж говорить о «частных» привычках в великосветских салонах! Иван Матвеевич приводит целую серию анекдотических примеров. Один провинциальный дворянин не может устроиться в столицах и жениться на любимой девушке по той только причине, что из-за врожденной «затверделости носовых хрящей» не научился правильно выговаривать французский носовой звук — «гнусной эн». В то же время некий «француз из Бордо или Марселя», попадающий в столичный салон, чувствует себя в нем точно так же, как в родной Франции (разве что образованной похуже).

Последний анекдот стал источником знаменитого монолога Чацкого в «Горе от ума» Грибоедова о «французике из Бордо». Муравьеву-Апостолу же принадлежит наблюдение о «смешеньи языков»; Грибоедов только добавил: «французского с *нижегородским*», как бы в напоминание об адресате популярных «Писем...».[36]

На многие, по сути очень простые, вопросы, которые задает автор «Писем...», оказывается не так-то просто ответить. «...Почему у нас так много умных людей, которые вместо того, чтобы изъясняться чисто и складно своим природным языком, добровольно осуждают себя на целый век лепетать нормандским или гасконским наречием?» И почему блистательный русский язык, «которым говорят 40 миллионов народа, величественнейшего, удивительного» (сравним опять же Грибоедова: «Чтоб умный, добрый наш народ...»), оказывается еще таким необработанным? И почему русская словесность до сих пор еще пробавляется подражанием европейским литературам (той же французской прежде всего) и не стремится становиться подлинно национальной? Почему, наконец, то самое национальное самосознание, которое так ярко проявилось в период Отечественной войны, не может еще полноценно реализоваться в каждодневной жизни?..

Иван Матвеевич приходит к грустному ответу: «...мы не имеем того, что существует у всех прочих просвещенных народов: *состояния ученых людей*». Говоря современным языком, он ставит вопрос о необходимости формирования национальной *интеллигенции* — людей, профессионально занимающихся умственным трудом. Не интеллигентов-«единиц», которые мало что решают, а интеллигенции как *сословия*. А такое сословие может появиться в России только тогда, когда будет отлажена система воспитания. И все дальнейшие рассуждения в «Письмах...» в сущности и являются «трактатом о воспитании» (как определил их Вяземский).

---

36 См.: *Кошелев В. А.* «Нижегородский язык» (Об одной грибоедовской номинации) // Русская культура и мир. Нижний Новгород, 1994. Ч. 2. С. 17—19.

Воспитание в данном случае понимается предельно широко. Это не только устоявшийся «механизм» первоначального *обучения* отдельных представителей подрастающего поколения, но и система «воспитания» целых отраслей культурного развития страны, например отечественной словесности. На данном этапе развитие российской словесности требует нового обращения к античным литературным оригиналам — к тому, с чего «все началось». Только оттолкнувшись от «начал», возможно выйти на «свой» путь — и тогда явится и оригинальная словесность, и критика («которая, по точному смыслу слова, значит *суд*, производимый над каким-либо предметом искусства»), и достойная новой словесности публика. Подобного рода «воспитательные» идеи были очень новы для своего времени — и весьма перспективны; недаром «Письма...» Муравьева-Апостола, не будучи даже отдельно изданы, не были забыты и в конце XIX столетия: в 1890 году значительные фрагменты из них появились в составе книги М. Н. Каткова «Наша учебная реформа».

Последовательный антагонист Наполеона Бонапарта в своей дипломатической деятельности, Муравьев-Апостол остается таким же и в своей публицистике. И здесь он тоже идет гораздо дальше своих современников, писавших о «самовластительном злодее», «достойном виселицы» и т. п. Иван Матвеевич был (как видно из «Письма одиннадцатого») лично знаком с Наполеоном — и никогда не считал его великим человеком. Но он прекрасно сознает, что со временем непременно возникнет наполеоновский «миф», и старается (как позже Лев Толстой в «Войне и мире») преодолеть этот «миф». Наполеон, констатирует он, всего лишь слабый человек: чего стоит хотя бы его поведение в эпизоде «восемнадцатого брюмера». Но этот слабый человек сумел подчинить себе полмира — почему? Да просто потому, что «войну» представил как некую отрасль «промышленности» и мобилизовал для этой «промышленности» множество ни в чем не повинных людей:

«...итальянец, вестфалец, виртембергец приведены за несколько тысяч верст от домов своих, чтоб умереть на Бородинском поле, — потому ли, что они были движимы мщением и ненавистью противу России? Ничего не бывало. — Все дело состоит в том, что Наполеон, фабрикант мертвых тел, имеющий на ежедневный расход свой по 25 тысяч французских и союзничьих трупов, захотел сделать мануфактурный опыт и из оного узнать, сколько именно русских трупов и во сколько времени он произвести может посредством полумиллионной махины своей... Бедное человечество!».

8 Зак. № 3250

В литературном мире «Письма из Москвы в Нижний Новгород» были оценены очень высоко. Но, как водится, помимо восторженных откликов (Державина, Евгения Болховитинова и других), возникли и отклики язвительные — прежде всего со стороны русских галломанов. Д. В. Дашков в письме к Вяземскому от 19 декабря 1813 года иронически назвал Муравьева-Апостола «историографом носовых хрящей» и язвительно указал на необходимость «избавить Мартоса от работы по заказу нижегородцев над памятником Муравьеву».[37] Сам Вяземский чуть позднее обыграл некоторые публицистические и педагогические идеи автора «Писем...» в сатирическом стихотворении «Noël» (1814):

Трактат о воспитаньи
Приносит новый Локк.
«В малютке при стараньи,
Наверно, будет прок.
Отдайте мне, могу на Нижний смело
Сослаться об уме моем.
В Гишпаньи, не таюсь грехом,
Совсем другое дело.

Горация на шею
Себе я навязал,
Хоть мало разумею,
Но много прочитал.
Малютку рад учить всем лексиконам в мире.
Но математике никак.
Боюсь докажет — я дурак
Как дважды два четыре».[38]

При всей пристрастности сатирического отзыва, Вяземский не может отказать Муравьеву-Апостолу в том, что он «много прочитал» и знаком со «всеми лексиконами в мире». «Пуант» относительно математики вызван «Письмом шестым», в котором Иван Матвеевич действительно говорил о педагогическом вреде математики и — шире — технократического воспитания: «Лучше оставаться при всех заблуждениях воображения, лишь бы они не были вредны, нежели толковать движения сердца человеческого по законам гидравлики и отвергать все то, что не может быть подвержено строгому доказательству математической методы».

---

37 Русский архив. 1866. № 3. С. 492—493.
38 *Вяземский П. А.* Стихотворения. М.; Л., 1935. С. 397.

Вместе с тем даже эта парадоксальная идея оказывается органически связана с общей историко-философской концепцией всего цикла «Писем». Связав воедино непосредственный повод для его создания (бедствия, принесенные миру наполеоновскими войнами) и непосредственный объект публицистического обличения («французомания» русского высшего общества), Муравьев-Апостол поставил важнейший вопрос о характере и путях становления национального самосознания — вопрос, во многом предваривший будущие искания русских славянофилов.

Ивана Матвеевича занимают прежде всего нравственные проблемы исторического развития человечества: «...история открыла, что род человеческий как будто осужден всегда обращаться в круге заблуждений ⟨...⟩ Рим начался монархиею, а подпал деспотизму. Тарквиний изгоняется, власть делится, и выходит Аристократия, то есть: вместо одного тирана — сто. Против Аристократии борется Демократия, последняя одолевает первую и кончится — ужаснейшею тираниею. Все тот же круг, из коего Рим выбиться не мог. Но что я говорю о древних! Французы, острые, скорые французы, в 20 лет пробежали вверх и вниз лестницу, по которой римляне тащились 700 лет!» По своим политическим воззрениям автор «Писем» — сторонник «законной свободы» и умеренной монархии; он отвергает как «тиранию», так и «демократию». «Без веры, без чистоты в нравах никакая республика существовать не может».

Этот «круг заблуждений» касается не одних политических вопросов и власти: «...заблуждения самые противуположные по пятам следуют друг за другом. Вчера жарили на кострах еретиков, жидов и детей, рожденных от брака чорта с колдуньями, — сегодня ничему не верят — а завтра — кто знает? — может быть и Св⟨ятая⟩ инквизиция снова возникнет со всем прибором своих зеленых свеч и шапок с изображением чертей».

В этом «круге заблуждений» вращается и современная Россия. Он может быть преодолен только при появлении сознательной нравственности общества (примеры таковой нравственности Муравьев-Апостол, как, позднее, славянофилы, черпает из быта современной ему Англии). А нравственность может явиться в обществе только вместе с широчайшими гуманитарными традициями, носителем которых может стать только искомое сословие «ученых людей», интеллигенции...

Формирование нового поколения людей становится частью исторического самосознания нации — эта идея, кажущаяся сейчас такой простой, впервые была высказана именно в «Письмах из Москвы в Нижний Новгород».

3

Литературные воззрения Муравьева-Апостола обнаруживали тяготение к «неоклассицизму» и ориентировали не на соблюдение выработанных французами классических «правил», а непосредственно на античные образцы. Именно это утверждал Иван Матвеевич в «Письмах», и именно на этом вырос его литературный авторитет «любителя древности». После успеха «Писем» он поддерживает именно эту линию, время от времени выступая в журналах со статьями и заметками на темы античности.

В 1815 году в «Вестнике Европы» появляется его «Письмо к редактору», где он опровергает мнение профессора Фишера о том, будто Цицерон уже имел ясную мысль о книгопечатании. Потом публикует свои комментарии к письмам Цицерона и перевод одного из них. Н. И. Греч издает их в «Сыне Отечества» с любопытным комментарием:

«Один знаменитый любитель словесности классической и отечественной принял на себя труд перевесть на русский язык Письма Цицероновы. К каждому письму приобщает он замечания археологические, исторические и пр., отличающиеся своей важностию, подробностию и новостию. Мы получили от почтенного переводчика позволение украсить наш журнал одним из сих примечаний...».

В другой раз сообщается, что публикация в журнале представляет собой «отрывок из полного собрания всех писем Цицерона, переведенных на русский язык И. М. Муравьевым-Апостолом и печатаемых в Москве».[39] К сожалению, указанная издателем «Сына Отечества» книга переводов Цицерона так и не вышла в свет и не сохранилась.

В 1821 году Муравьев издал перевод комедии Аристофана «Облака» вместе с греческим текстом, обширными историко-филологическими примечаниями и предисловием, в котором объяснял причины, побудившие Аристофана осмеять Сократа. Под предисловием — дата и указание на место написания: «Хомутец, 16-го декабря 1819 г.».

В 1816 году дальние родственники последнего из Апостолов предприняли попытку «оттягать» у Ивана Матвеевича имение покойного подполковника, пользуясь его духовным завещанием, противоречившим высочайшему указу. Тяжба возникла нешуточная, заняла несколько лет, и Муравьеву-Апостолу пришлось воспользоваться старыми связями в Сенате, который решил вопрос в его пользу.[40] Впрочем, наследство Апос-

---

39 Сын Отечества. 1818. Ч. 46. № 21. С. 41; 1819. Ч. 52. № 8. С. 69.
40 См.: Русский архив. 1887. Кн. 1. С. 39—46.

тола Иван Матвеевич значительно поубавил: недаром же он славился как «любимец муз», эпикуреец и мот; про него говорили, что он прожил два миллионных состояния. Это тоже была позиция, изложенная Муравьевым-Апостолом в беседе с Гнедичем: «Moi vivant, il faut que je jouisse!» («Пока я жив, хочу наслаждаться!»).[41]

Он как-то странно «вписался» и в литературную борьбу эпохи. То обстоятельство, что Иван Матвеевич был одним из руководителей «Беседы», не помешало избранию его (1815) почетным членом противостоящего «Беседе» «Арзамаса» и (1816) почетным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. Он дружил с Батюшковым, поэтом и дальним родственником. Тот в 1815 году посвятил Муравьеву-Апостолу одно из лучших своих посланий («Ты прав, любимец муз, от первых впечатлений...»), а в 1816-м около года прожил в его московском доме. Сближение их в ту пору было настолько ярким, что Иван Матвеевич позволил себе изысканную шутку.

В майском выпуске журнала «Сын Отечества» за 1817 год было напечатано очередное «Письмо к издателю», подписанное следующим образом: «Вакх Страбоновский. 29 апреля 1817. Череповец, Новгородской губернии». Это «Письмо» представляло собой язвительный критический выпад против А. Ф. Воейкова, только что поместившего в «Вестнике Европы» отрывки из своего перевода «Георгик» и «Энеиды» Вергилия. Автор «Письма» заметил в том и другом переводах забавные ошибки и указал на них, а заодно и на переводчика, плохо сведущего в латинском оригинале. При этом Иван Матвеевич подписался не своим именем: он придумал специальную «маску» преподавателя «истории и географии в благородном пансионе города Череповца», которого-де стали упрекать за его познания и приводить в пример напечатанный перевод: дескать, «в Москве нас умнее»...[42]

Этот литературный «маскарад» намекал как раз на Батюшкова, который в то время жил в родовом имении Хантоново близ Череповца и готовил к печати книгу «Опытов в стихах и прозе». Конечно же, в уездном Череповце не было никакого «благородного пансиона», да и имя «Вакх Страбоновский» (произведенное от имени греческого географа Страбона) было «литературным». Как бы то ни было, честолюбивый и вздорный Воейков ответил довольно злым выпадом по адресу Муравье-

---

41 *Державин Г. Р.* Соч. Т. VI. С. 233.

42 Сын Отечества. 1817. Ч. 38. № 22. С. 113—115.

ва-Апостола (а заодно и по адресу Батюшкова),[43] а сам Батюшков в письме к Гнедичу только грустно вздохнул: «Кто писал статьи из Череповца на Воейкова? Верно, Иван Матвеевич? Ему теперь сполагоря шутить и на меня грехи свои сваливать». Впрочем, он еще несколько раньше отметил в личности Муравьева-Апостола некоторые неестественные черты: «И⟨ван⟩ М⟨атвеевич⟩ часто заблуждался от пресыщения умственного. Потемкин ел репу: вот что делает И. М. Как бы то ни было, он у нас человек необыкновенный...».[44]

Осенью 1820 года Иван Матвеевич предпринял поездку на юг Российской Империи — в Одессу и Крым. Само это путешествие было изначально «ученым»: путешественник два года готовился к нему, изучая труды древних историков и географов — Геродота и Страбона, Плиния и Плутарха... Подобные литературные «путешествия» были тогда в большой моде в русской словесности, а экзотика греческой Тавриды привносила в них элемент романтический. Однако Муравьев-Апостол попробовал придать своему путешествию «академический» характер, задавшись целью «проверить» сведения древних собственными «учеными» наблюдениями. Так явилась книга «Путешествие по Тавриде в 1820 году», вышедшая отдельным изданием три года спустя.

В форме повествования о своем путешествии Муравьев-Апостол не отступает от традиций, пришедших с «Письмами из Москвы в Нижний Новгород», — это такие же *письма* (число 25), повествующие о поездках автора из деревеньки Саблы (в центре Крыма) в самые разные, историей прославленные, крымские места: Севастополь (знаменитый Херсонес), Феодосия (Каффа), Керчь (Пантикапей), Судак, Бахчисарай, Старый Крым... Благодаря этому жанру «Путешествие по Тавриде» Муравьева-Апостола приобретает особенную «объемность» в осмыслении путевых впечатлений. Созерцая современные «развалины», путешественник тут же выстраивает картину прежнего бытования знаменитых причерноморских полисов — и на месте нынешних татарских «хижин» вырастают величественные античные храмы. А это в свою очередь рождает размышления о бренности людской истории, о постоянно происходящем в ней процессе крушения тех устоев, которые казались незыблемыми, о роли Европы и Азии в развитии цивилизации, ибо путешественник находится как бы между Европой и Азией.

---

[43] Вестник Европы. 1817. Ч. 96. № 22. С. 155—157.
[44] *Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 419, 449.

В сущности «Путешествие по Тавриде» повторяло тот тип повествования, который был найден Иваном Матвеевичем еще в «Письмах» 1813—1815 годов, и в этом смысле оно как бы явилось вторичным по отношению к «Письмам» литературным явлением, хотя и было с уважением принято современниками. А. А. Бестужев в годовом обзоре за 1823 год охарактеризовал это произведение в ряду добротных ученых трудов: «Точность исторических изысканий, новость сведений географических и чистота слога венчают их похвалою археологов и литераторов и вообще делают их необходимыми книгами для ученого и светского человека».[45]

4

Дополнительный интерес этим «крымским» впечатлениям Муравьева-Апостола придает то обстоятельство, что они весьма оригинально соприкасались с творчеством Пушкина. Вот почему в этой части статьи я позволю себе сделать небольшое отступление от дальнейшего описания жизненного и творческого пути И. М. Муравьева-Апостола и обращусь к сюжету о косвенной взаимосвязи пушкинского «Бахчисарайского фонтана» с «Путешествием по Тавриде» Муравьева-Апостола, отвлекусь на это историческое и литературное «переплетение». Итак, к первому изданию поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1824) был приложен большой фрагмент из «Путешествия по Тавриде» (письмо X — «Бахчисарай», с некоторыми сокращениями), и этот фрагмент весьма странным образом «опровергал» содержание поэмы. В позднейшем письме к Дельвигу Пушкин замечал, что «был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и И. М. ⟨Муравьев-Апостол⟩. Очень жалею, что мы не встретились».[46] Тут же он отметил какое-то «различие впечатлений», касавшееся прежде всего «путевых» обстоятельств создания его «крымской» поэмы, несколько отличавшихся от обстоятельств путешествия Ивана Матвеевича. Рассмотрим соответствующий эпизод у Пушкина.

5 сентября 1820 года Пушкин вместе с Н. Н. Раевским-старшим и Н. Н. Раевским-младшим верхами отправились из Гурзуфа в Симферополь. Путь был избран не прямой и весьма экзотический. Через Ай-Данильский лес до Никитского сада и далее до Ялты (тогда — маленькая деревушка на берегу моря); потом через Аутку, Ореанду, Кореиз, Мисхор до Алупки, где ночевали в татарском дворе. Из Алупки двинулись

[45] *Бестужев-Марлинский А. А.* Соч. В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 541.
[46] *Пушкин А. С.* Полн.собр. соч. Т. XIII. С. 250.

до Симеиза, обошли гору Кошка со стороны моря и поднялись через Кикинеизы по Чертовой лестнице в Байдарскую долину. Второй раз ночевали в Георгиевском монастыре, где, по преданию, находились развалины храма Артемиды и памятника дружбы, храма Орестонов. Созерцание этих развалин взбудоражило воображение Пушкина, и позднее он яростно доказывал право поэзии на *предание*: «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне очень сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами».[47] Стихи он тоже воспроизвел — это так называемое *третье послание к П. Я. Чаадаеву* («К чему холодные сомненья?..»), декларирующее как раз уязвимость всякого скепсиса при создании произведения поэтического.

Оставив слева Севастополь, Пушкин и Раевские направились Балаклавской дорогой (мимо Черкес-Кериена) в Бахчисарай, где опять ночевали, а наутро наскоро осмотрели ханский дворец и в нем фонтан «Сельсибийль» («Райский источник»). Из Бахчисарая поехали в Симферополь, куда прибыли 8 сентября.

Почти год спустя, в конце августа 1821 года, Пушкин начал работу над новой поэмой о наложницах ханского гарема,[48] но лишь к марту 1822-го отыскал ее художественный символ — образ «плачущего» фонтана.[49] К февралю 1823 года поэма была вчерне написана. В апреле об ее существовании стало известно петербургским друзьям: П. А. Вяземский сообщил А. И. Тургеневу, что «Пушкин пишет новую поэму *Гарем* о Потоцкой, похищенной которым-то ханом, событие историческое».[50] *Историческим событием* легенда о Марии Потоцкой могла быть названа лишь с большой долей условности, впрочем, Пушкин опять-таки не придавал большого значения вопросу о ее достоверности, и для нас в данном случае важны три обстоятельства.

1. Первоначальные впечатления Пушкина от пребывания в Бахчисарае и в ханском дворце, затерянные в потоке экзотических впечатлений пребывания поэта в Крыму, не были особенно яркими. Показательно, что в письме к брату от 24 сентября 1820 года, где подробно описываются крымские впечатления, Пушкин даже не упомянул о Бахчисарае. Эпизо-

---

47 Там же. Т. VIII. С. 438.

48 *Винокур Г.* Крымская поэма Пушкина // Красная новь. 1936. № 3. С. 230—231.

49 *Фомичев С. А.* Рабочая тетрадь Пушкина (ПД. № 832): Из текстологических наблюдений // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. Т. 12. С. 236.

50 Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 6. С. 16.

ды пребывания в нем были «восстановлены» поэтом через год, уже в ходе работы над поэмой.

2. Легенда о «Потоцкой, похищенной которым-то ханом», была довольно известна в столицах: Вяземский, узнав о пушкинской поэме «по словам приезжего» и даже не зная ее названия (и, следовательно, не подозревая ни о каком «фонтане»), сразу же соотнес ее со знакомым ему «историческим» преданием.

3. Первоначально легенда о Потоцкой никак не соотносилась с необычным фонтаном в Бахчисарае. Сам Пушкин в тексте поэмы связал название «мрачного памятника» с некими «младыми девами», своими ровесницами:

Младые девы в той стране
Преданье старины узнали
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.[51]

4 ноября 1823 года Пушкин отослал свою «последнюю поэму» Вяземскому — для издания. При этом он попросил: «...припиши к Бахчисараю предисловие или послесловие» — и приложил в качестве материала для «предисловия» какое-то «полицейское послание». И далее: «Посмотри также в *Путешествии* Апостола-Муравьева статью *Бахчи-сарай*, выпиши из нее что посноснее — да заворожи все это своею прозою, богатой наследницею твоей прелестной поэзии, по которой ношу траур».[52] Цель планируемых «дополнений» к «бессвязным отрывкам» (как Пушкин уничижительно именовал новую поэму) была очевидной: «Бахчисарайский фонтан» по объему никак «не тянул» на отдельную книжку: в первом издании сам текст поэмы занимает всего 35 страничек, а текст «приложений» (предисловия Вяземского и отрывка из книги Муравьева-Апостола) — 36. В замысле эти «приложения» должны были иметь характер реального комментария к поэме, включив описание ханского дворца, пересказ исходной «легенды» и т. п.

При этом сам Пушкин *еще не читал* книгу И. М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 году» (вышедшую в Петербурге в конце мая 1823 года), а только слышал о ней. Но авторитет автора «Путешествия по Тавриде», относившегося к категории людей, «в самом деле известных в словесности» (так охарактеризовал его П. А. Катенин в

---

[51] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. IV. С. 169.
[52] Там же. Т. XIII. С. 73.

письме к Пушкину от 24 ноября 1825 года),[53] был настолько силен, что Пушкин даже не посчитал нужным «сверяться».

Не читал ее и Вяземский: получив пушкинский «заказ» на предисловие, он срочно просит петербуржца А. И. Тургенева прислать книгу Муравьева-Апостола и ищет еще какой-нибудь документальный источник с пересказом исходной легенды: «Да, расспроси, не упоминается ли где-нибудь о предании похищенной Потоцкой татарским ханом, и наведи меня на след. Спроси хоть у Сенатора Северина Потоцкого или у архивиста Булгарина».

Тургенев, как видно из его ответного письма, искал, но ничего путного не нашел, отметив лишь: «...происшествие, о котором пишешь, не графини Потоцкой, а другой, которой имя не пришло мне на память». При этом Тургенев не подозревает о том символе, который лег в основу пушкинского повествования, и в письмах к Вяземскому упорно называет новую поэму «Бахчисарайский *ключ*», предполагая, видимо, что раз в названии *фонтан*, то он непременно должен «быть ключом». «Что за *ключ*? — недовольно спрашивает Вяземский. — Во дворце — фонтан, а ключа быть не может, разве в замке».[54]

«Путешествие по Тавриде», полученное Вяземским, содержало не пересказ легенды о Потоцкой, а, напротив, решительное сомнение в истинности этой легенды. Описав *мавзолей* жены хана Керим-Гирея, Муравьев-Апостол замечал: «Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек, все доводы мои остались бесполезны: они стоят в одном: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не нахожу, как разве принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких».[55]

Тут же возникала характерная странность: Муравьев-Апостол нигде не упоминал ни о каком *фонтане*, а описывал совсем другой памятник, расположенный в ханском дворце возле мечети: «здание с круглым куполом», «мавзолей прекрасной грузинки».

В ноябре—декабре 1823 года между Вяземским и Пушкиным завязалась переписка, касающаяся приложений к изданию поэмы. Из нее со-

[53] Там же. С. 242.
[54] Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2. С. 367, 368, 371.
[55] Там же. Т. IV. С. 175.

хранилось лишь письмо Пушкина от 20 декабря: «Ты, кажется, сбираешься сделать заочное описание Бахчисарая? брось это. Мадригалы Софье Потоцкой, это дело другое».[56] В том же письме примечательное указание: «Рисунок с фонтана оставим до другого издания». Известно, что Вяземский, не вполне довольный приложенным фрагментом из Муравьева-Апостола, предлагал его заменить либо своим «заочным описанием», либо тем, которое хотел поручить Анне Петровне Зонтаг (проживавшей тогда в Одессе и имевшей в Крыму дачу). Пушкин решительно отказался от обоих предложений, как и от «рисунка с фонтана», который, заметим, не появился и во втором, иллюстрированном издании поэмы. С. Галактионов на четырех приложенных к поэме гравюрах умудрился так и не изобразить *фонтан*.

Вяземскому ничего не оставалось, как, сохранив фрагмент из «Путешествия по Тавриде» Муравьева-Апостола, написать предисловие «манифестного» характера: «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова». Здесь он, однако, не преминул предупредить читателя относительно фактической стороны поэмы: «Предание сие сомнительно, и г. Муравьев-Апостол в *Путешествии* своем по *Тавриде*, недавно изданном, восстает и, кажется, довольно основательно, против вероятия сего рассказа. Как бы то ни было — сие предание есть достояние поэзии ⟨...⟩ История не должна быть легковерна; поэзия — напротив. Она часто дорожит тем, что первая отвергает с презрением, и наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии бахчисарайское предание и обогатив его правдоподобными вымыслами...».[57]

10 марта 1824 года «Бахчисарайский фонтан» вышел в свет. Пушкин получил книгу в начале апреля и в письме к Вяземскому благожелательно, хотя и не без полемики, отозвался о предисловии, охарактеризовав его как «чудо ловкости и дело партийное».[58] Поэма скоро приобрела широкую популярность, принесла автору огромные деньги, удостоилась полемики. О приложениях к поэме критика не поминала, разве что в 1827 году Кс. Полевой в рецензии на немецкий перевод посоветовал перенести отрывок из Муравьева-Апостола «вперед, перед самим стихотворением».[59]

В ноябре 1824 года, уже находясь в Михайловском, Пушкин, наконец, сообразил, что он не читал еще «Путешествия по Тавриде» Муравь-

---

[56] Там же. Т. XIII. С. 83.
[57] Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827. СПб., 1996. С. 154—155.
[58] *Пушкин А.* С. Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 91.
[59] Пушкин в прижизненной критике. С. 309.

ева-Апостола, и попросил брата его прислать.[60] Получив и прочтя его в декабре, он набрасывает в рабочей тетради (ПД № 835 — «второй масонской»), после черновиков 4-й главы «Онегина», черновой вариант «Отрывка из письма», который через несколько лет станет вторым послетекстовым приложением к «Бахчисарайскому фонтану».[61]

С какой целью был написан этот «Отрывок из письма»? В пушкинских текстах он занимает «промежуточное» положение и в академическом Собрании сочинений печатается *трижды* — в разных редакциях. «Отрывок» входит в корпус писем Пушкина, ибо это и в самом деле было письмо, отправленное Дельвигу.[62] Вместе с тем оно является, как отметил Д. Д. Благой в комментарии к тому же пушкинскому XIII тому, «чисто литературным произведением, написанным с заведомой целью отправить его в печать». Письмо было напечатано Дельвигом в «Северных цветах» на 1826 год и, таким образом, вошло в состав пушкинской прозы.[63] А став приложением к «Бахчисарайскому фонтану», оно естественно вошло в состав художественного текста поэмы.

И хотя Я. Л. Левкович предложила свое истолкование целей этого произведения («Вначале оно несомненно имело утилитарный характер, — пишет она. — Пушкин, недовольный предисловием Вяземского к первому изданию „Бахчисарайского фонтана", в 1824 году решил вдогонку к этому изданию напечатать свое „послесловие" в альманахе Дельвига „Северные цветы" на 1825 год, но текст, очевидно, был утерян или не дошел до Дельвига, и Пушкин послал ему его второй раз. В качестве приложения к поэме оно вошло во все издания после 1826 года»),[64] такое толкование не вполне соответствует фактам. Пушкин, как мы видели, познакомился с предисловием Вяземского еще в апреле. Почему же он ждал до декабря? Он был, в целом, доволен статьей Вяземского, хотя и полемизировал с его эстетическими установками, но в «Отрывке» нет упоминаний об этих установках! «Отрывок» был благополучно напечатан в «Северных цветах» на 1826 год, но во второе издание «Бахчисарайского фонтана», предпринятое через полтора года (ценз. разр. 20 октября 1827), он, вопреки утверждению Я. Л. Левкович, не вошел; более того, это издание, как и первое, открывалось «Разговором...» Вяземского. Так

[60] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 119.

[61] Там же. Т. IV. С. 175—176.

[62] Там же. Т. XIII. С. 250—252.

[63] Т. VIII. С. 435—440.

[64] *Левкович Я. Л.* Комментарий // Пушкин А. С. Дневники. Записки. СПб., 1995. С. 304. См. также: *Левкович Я. Л.* Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 252—255.

что вряд ли «недовольство предисловием Вяземского» могло стать побудительной причиной создания «Отрывка из письма к Д*». Да и «очевидная» история с двукратно предпринятой попыткой отослать этот текст Дельвигу представляется сомнительной и не подтверждается никакими фактами. Почему бы не предположить, например, что черновой вариант письма к Дельвигу перебеливался позднее и просто не успел попасть в выпуск «Северных цветов» на 1825 год, а Дельвиг, решив, что торопиться некуда, отложил его публикацию на год?

И. Л. Фейнберг предложил считать «Отрывок» «автобиографическим письмом» и одновременно «готовой сохранившейся частью» автобиографических записок Пушкина 1821—1826 годов, записок, уничтоженных накануне отъезда в Москву с фельдъегерем.[65] Б. В. Томашевский, а вслед за ним еще ряд исследователей оспорили это утверждение, сославшись на историю текста «Отрывка».[66]

Вкратце аргументы противников отнесения «Отрывка» к уничтоженным запискам сводятся к следующему: «Это описание поездки в Крым, состоявшейся в 1820 г., содержит элементы мистификации, не соответствующие реальным обстоятельствам и поэтому несовместимые с жанром подлинной „биографии". Такое несоответствие особенно проявляется при сопоставлении „Отрывка" с описанием той же поездки в письме к брату от 24 сентября 1820 г., большая часть которого посвящена характеристике семейства Раевского, вместе с которым совершалась поездка. В „Отрывке" спутники Пушкина отсутствуют. Это противоречит тому, что мы знаем о сожженных „Записках", где поэт, по его собственному признанию, собирался говорить о лицах, „достойных замечания". К таким лицам несомненно относились и члены семьи Раевских».[67]

Аргументы эти, однако, не выглядят «безусловными». Так, характер черновика (ПД № 835. Л. 42 об.—44), в котором сравнительно немного исправлений и зачеркиваний, позволяет предположить, что Пушкин, работая над ним, уже имел какой-то «исходный» текст, подвергшийся смысловой, композиционной и стилистической обработке. Это вполне мог быть текст «крымской главы „Записок", существование которого предположил И. Л. Фейнберг».[68] В этом черновом тексте зачеркнута, между прочим, отсылка к упомянутому письму 1820 года: «Кажется, я писал

---

[65] *Фейнберг И. Л.* Автобиографические записки Пушкина // Фейнберг И. Л. Читая тетради Пушкина. М., 1985. С. 234—236.

[66] *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. Л., 1956. С. 482—484, 567.

[67] *Левкович Я. Л.* Комментарии... С. 305.

[68] *Фейнберг И. Л.* Читая тетради Пушкина. С. 236.

тебе из К⟨ишинева⟩ о Кавказе и Тавриде — как говорится сгоряча — если письмо мое сохранилось, дост⟨авь⟩...».[69] Здесь были и упоминания о спутниках авторских путешествий: указание на их личности «зашифровано» для печати («Холодность моя посреди прелестей природы досаждала** и смешила...»).[70] Очень показательна замена мужского рода на женский (ср. в черновике: «К*** поэтически описал мне...»),[71] когда Пушкин легко меняет исходные биографические данности (кто такой К*** — мужчина или женщина?) именно вследствие изначальной «литературности» «Отрывка».

Вернемся, однако, к главному: что побудило Пушкина написать этот, по видимости странный, комментарий к своей нашумевшей поэме в самый разгар ее читательского успеха? Эту побудительную причину Пушкин назвал в самом начале произведения, но это начало не попало ни в публикацию «Северных Цветов», ни в текст авторского приложения к поэме. Вот оно:

«*Путешествие по Тавриде* прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и И. М. ⟨Муравьев-Апостол⟩. Очень жалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для проверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? различие наших впечатлений. Посуди сам...».[72]

И лишь после этого «вступления» (которое еще более детально проработано в черновике) начиналось то описание «путешествия», которым открывается «Отрывок» в его печатных вариантах: «Из Азии мы переехали в Европу...».

Именно «Путешествие по Тавриде» чем-то взволновало Пушкина: сначала он познакомился с фрагментом из него (*впервые* прочитав этот фрагмент *в уже вышедшей из печати* собственной книжке), а через полгода заказал ее целиком — вероятно, чтобы что-то перепроверить. Книга Муравьева-Апостола, построенная как свод исторических и археологических разысканий, как описание крымских «древностей», стала исходной посылкой для пушкинских личных воспоминаний. В общем психологическом смысле эта ситуация вполне объяснима. Прочитав четыре года спустя рассказ о путешествии, предпринятом тогда же, когда сам

---

[69] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 998.
[70] Там же. Т. VIII. С. 999.
[71] Там же. С. 1000.
[72] Там же. Т. XIII. С. 250.

Пушкин совершал путешествие по тем же местам, он удивился «различию впечатлений» и счел нужным откомментировать это различие, приведя комплекс собственных воспоминаний. Впечатления *поэта* как бы противостояли впечатлениям *прозаика* (каковым в глазах Пушкина был Муравьев-Апостол). И Пушкин в «Отрывке» демонстрирует это «противостояние».

Однако ради простой демонстрации подобного противостояния вряд ли стоило сочинять дополнительное «приложение» к поэме: Пушкина взволновала какая-то конкретная *деталь*, которую необходимо было по крайней мере оговорить. Обратимся к тексту «Отрывка».

Жанровая принадлежность его обозначена уже заглавием: «Отрывок из письма» (в публикации «Северных цветов»: «Отрывок из письма А. С. Пушкина к Д.»). Это был популярный жанр «журнальной словесности» 1810—1820-х годов, ставший своеобразным «зерном», из которого вырастали и русская критика, и публицистика, и новеллистика. «Отрывок» противостоял формам «большого повествования» (от «Писем русского путешественника» Карамзина до «Путешествия в Малороссию» Шаликова): характер художественного биографизма, проявившийся в пределах «Отрывка», оказывался глубоко своеобразным.

Пушкин, желающий передать впечатления от ханского дворца в Бахчисарае, досконально описывает весь свой предыдущий крымский маршрут. В то же время эта нарочитая детализация достаточно условна. Пушкин как бы создает иллюзию «уединенного» путешествия; лишь в самом конце появляется некий спутник, обозначенный инкогнитонимом «NN». Нарочитая документальность прерывается намеренной литературностью и внедрением неожиданных стихотворных аллюзий:

«NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище,

но не тем
В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила».[73]

Введенные стихотворные перебивы становятся сигналами соответствующих аллюзий.

На этом «пародическом» пути Пушкин делает следующий шаг: предметом усмешки становится не чужое, а *свое собственное* поэтическое создание. Приведенный выше стихотворный «перебив» (перед упомина-

[73] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. IV. С. 176.

нием «лихорадки») отправляет читателя к тексту «Бахчисарайского фонтана», где стихотворная фраза тоже посвящена описанию ощущений автора при посещении дворца, — но относилась она вовсе не к «лихорадке», а к гораздо более возвышенным предметам:

Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом всё тихо, всё уныло,
Всё изменилось... *но не тем*
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной![74]

Обращаясь к «Отрывку...», читатель ждал прежде всего описания Бахчисарая и ханского дворца, которое бы согласовалось с вдохновенным поэтическим описанием. И, естественно, описания «мраморного фонтана»:

Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.[75]

«Фонтан слез», «фонтан любви» (так именовал его Пушкин в известном лирическом стихотворении) стал устойчивым символом и Бахчисарая, и пушкинского пребывания в Крыму, и пушкинской романтической поэзии. Читатель ожидает прозаического представления знаменитого фонтана, столь замечательно выписанного в поэме. Но Пушкин неожиданно краток и сдержан — и «самое главное» излагает в нескольких строках:

«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К*** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям капала вода. Я обошел дво-

---

[74] Там же. С. 170.
[75] Там же. С. 169.

рец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат».[76]

Вода уже не «журчит во мраморе», а просто каплет «из заржавой трубки», не вызывая никаких ассоциаций со «слезами»... Но и этого Пушкину мало. Еще более затейливо «Отрывок» соотносится с непосредственно предшествующей ему «Выпиской из Путешествия по Тавриде И. М. Муравьева-Апостола». «Выписка» эта содержит подробное описание дворца, памятников, гарема. Вид этих памятников вовсе не производит ощущения «небрежения» и заключается подробным описанием «красивого здания с красным куполом» — оно *на самом деле* (а никакой не «фонтан»!) является «памятником ханской любовнице». Именно в связи с этим зданием Муравьев-Апостол вспоминает искомую легенду и предлагает довольно поэтический пересказ ее, заодно отдавая предпочтение не «полячке», а «грузинке» как героине легенды. В пушкинской поэме, как известно, присутствуют обе: и полячка, и грузинка...

Никакого *фонтана* при этом Муравьев-Апостол не упоминает; есть лишь некий «мраморный фонтан», — но он упоминается исключительно потому, что возле него «есть прекрасный цветничок».[77]

Прочитав эту «Выписку» в первый раз в составе уже вышедшей из печати его собственной поэмы, Пушкин должен был ощутить всю нелепость создавшейся ситуации: при прямом сопоставлении его, поэтического, описания с описанием документальным оказывалось, что для «исторической» поэмы избран ложный символ: *не тот* памятник ханской любовнице! Именно поэтому реальная «привязка» на местности той детали, которая составила основу поэтической символики его поэмы (начиная с заглавия), оказывалась недействительной: «заржавая железная трубка» не имела к действительной героине этой истории никакого отношения.

«Выписка», таким образом, невольно дезавуировала не только историческую, но и поэтическую основу его романтического создания. И Пушкину в «Отрывке» остается только посмеяться над этим обстоятельством. Финальная фраза его отсылает к крымским впечатлениям Ивана Матвеевича: «Что касается до памятника ханской любовницы, о котором говорит М⟨уравьев-Апостол⟩, я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался».[78] В самом «ударном» месте книги — в финале — стоит ироническое самопризнание в том, что о самом *главном* из бахчисарайских впечатлений поэт как-то «не вспом-

---

[76] Там же. С. 176.
[77] Там же. С. 174.
[78] Там же. С. 176.

нил», — как тот любопытный из крыловской басни, который «не приметил» слона...

Пушкин в данном случае открыто «играет» с читателем, демонстрируя несовместимость факта литературного — и факта реального. При этом он исходит из достаточно сложной ситуации.

Расхождение литературной и реальной данности Пушкин обнаружил тогда, когда исправить ничего было нельзя: поэма была напечатана «в связке» с приложением, имевшим форму документального «путешествия» и недвусмысленно доказывавшим, что автор поспешил и воспел «не тот» памятник... Первым побуждением поэта было как-то объяснить свою «ошибку», поэтому, например в «Отрывке», появился мотив «лихорадки», охватившей автора при посещении Бахчисарая. А ироническое самопризнание в финале в какой-то степени смягчало замеченную «ошибку».

И показательно во всей этой истории особенно бережное, уважительное отношение Пушкина к Муравьеву-Апостолу, который воспринимается в качестве безусловного, незыблемого авторитета.

5

В начале 1824 года Иван Матвеевич решил возобновить цикл «Писем в Нижний Новгород» и в том же «Сыне Отечества» опубликовал начальное письмо с резкой сатирой на российскую необразованность, на безграмотность и лихоимство в судах. Но продолжение нового цикла было прервано возвращением на службу. В марте этого года он был назначен присутствующим в Правительствующий Сенат, а 9 августа, по ходатайству министра народного просвещения А. С. Шишкова, — членом Главного правления училищ. Занимался этой деятельностью Муравьев-Апостол недолго: в мае 1826 года он был «уволен по болезни в чужие края». Но по ряду свидетельств оказался на этой должности человеком весьма независимым, активно противостоявшим таким влиятельным рутинерам от просвещения, как М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич. Он не боялся выражать собственное мнение, даже если оно не совпадало с мнением всесильного графа А. А. Аракчеева. Эти «мнения» Муравьева-Апостола нашли отражение в произведениях особого жанра — служебных записках, касавшихся того или иного спорного вопроса, проходившего по делам Главного правления училищ.

Яркий пример того, как отстаивал Иван Матвеевич свое мнение, — защита им директора Департамента народного просвещения В. М. Попо-

ва. В 1824 году была запрещена к продаже только что вышедшая книга католического *патера* Иоганна Госнера «Дух жизни и учения Иисуса Христа». Книга печаталась в типографии Н. И. Греча, а переведена с немецкого при участии Попова. В обстановке засилья мистики и рутинерства конца Александровского царствования книга, содержавшая «вольные» толкования Нового завета, была воспринята как «крамола»; разразился скандал, спровоцированный Аракчеевым; дело разбиралось в Сенате; Попову и Гречу грозил суд.

«Все сенаторы, — вспоминал Греч, — пристали к стороне сильного Аракчеева, все — кроме одного, Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. Рассмотрев и обсудив дело со вниманием и чистою совестью, он написал свое решительное и основанное на здравом смысле и на законах мнение, в котором доказывал несправедливость обвинения и невинность прикосновенных к делу лиц, особенно Попова, принадлежавшего непосредственному суду Сената».[79] Не ограничившись «мнением», Иван Матвеевич участвовал и в самом сенатском суде, на котором присутствовал император. О том, как развивалось дело, вспоминал цензор А. В. Никитенко: «Дело рассматривалось в Сенате. Там явился сильный защитник Попова, сенатор Муравьев-Апостол. Шишков, по обыкновению, донес об этом государю, и, как всегда, государь выслушал его благосклонно, а между тем тайком позвал к себе Муравьева и благодарил за защиту Попова».[80]

Не случайно в делах комиссии о тайных обществах указывалось, что среди членов Сената заговорщики рассчитывали на поддержку И. М. Муравьева-Апостола.[81] К тому же он был родным отцом троих заговорщиков — и в следующем, 1826-м, году разом лишился трех старших сыновей.

Смерть Александра I застала его в Петербурге: он даже откликнулся на нее элегией на древнегреческом языке, тогда же напечатанной.[82] Как свидетельствует сохранившаяся записка его к Н. И. Гнедичу от 1 января 1826 года, само восстание на Сенатской площади и перемена царствования не произвели на него глубокого впечатления: собирая очередное застолье к Новому году,[83] он и предположить еще не мог о случившемся восстании Черниговского полка, руководителем которого был его лю-

---

79 Русский архив. 1868. № 9. С. 1410—1411.
80 *Никитенко А. В.* Дневник. В 3 т. М., 1955. Т. 2. С. 554.
81 Русский архив. 1875. № 12. С. 436.
82 Библиографические листы. 1825. № 35. С. 507—508.
83 Рукописный отдел ИРЛИ РАН. 131/1 с.

бимец Сергей. Но все завершилось плачевно: Сергей был казнен на кронверке Петропавловской крепости, Ипполит застрелился, не желая сдаваться в плен, а старший, Матвей, осужден по первому разряду на 20 лет каторжных работ. А отец ушел в очередную отставку и выехал за границу.

С. Д. Полторацкий, встречавшийся с Иваном Матвеевичем в 1846 году, вспоминал, что Иван Матвеевич «не был сердечно поражен потерею сыновей, с которыми всегда был суров и деспот» «и остался, как был всегда, холодный черство-душный ученый и эгоист».[84] Соседка Муравьевых-Апостолов по полтавскому имению С. В. Капнист-Скалон также отмечала, что «старик был некоторым образом эгоист и деспот и часто несправедлив против старших детей своих...».[85] Против воспоминаний трудно возражать, но, кажется, сохранились и свидетельства противоположные.

Так, 11 мая 1826 года, еще до суда, Иван Матвеевич встретился в крепости с Матвеем и Сергеем. О чем говорилось на этом свидании, сказать сложно, но сохранилось два письма Сергея Муравьева-Апостола к отцу из крепости. С письмом от 21 января 1826 года Сергей, догадывавшийся о своей будущей участи, передал на память отцу перстень: «Этот перстень был дан мне Матвеем и никогда не покидал меня в течение пяти лет. Пусть он вам напоминает сына, доставившего вам много горя, за которое он на коленях вымаливает ваше прощение, уверяя вас, что, несмотря на все, никогда не переставал глубоко любить и уважать вас». А в письме от 6 февраля заметил: «...я уверен, что смерть, как вы говорите, не уничтожает всех связей, соединяющих нас с теми, кого мы здесь любим».[86]

Верный своей привычке убегать от житейских трудностей в милую сердцу античность, Иван Матвеевич написал по поводу потери сыновей аллегорическую элегию на любимом им древнегреческом языке. В подстрочном переводе она звучит так: «Три лавровые дерева, предмет гордости посадившего их, полны силы и прелести юной красы, росли, сплетаясь ветвями и устремив верхи свои к небу, стояли крепко, прямо и были славой отчизны. Но Зевс грянул громом — неслыханное дело! — в дерева, посвященные Фебу, и поразил их до корня! Они потеряли красу свою и теперь повержены на той земле, которую должны были любить и защищать. Какая же участь того, кто их посадил?.. Осиротевшая глава его лежит под их пеплом!..».

---

[84] Русская старина. 1892. Т. 74. № 6. С. 460—461.
[85] Декабристы в воспоминаниях современников. С. 115.
[86] Русский архив. 1887. Кн. 1. С. 51, 320.

В 1869 году поэт Федор Глинка, близко знакомый и с сыновьями, и с отцом, переложил эту элегию русскими стихами:

Три юные лавра когда я садил,
Три радуги светлых надежд мне сияли;
Я в будущем счастлив судьбою их был...
Уж лавры мои разрослись, расцветали.

Была в них и свежесть, была и краса,
Верхи их, сплетаясь, неслись в небеса.
Никто не чинил им ни в чем укоризны.
Могучи корнями и силой полны,
Им только и быть бы утехой отчизны,
Любовью и славой родимой страны!..

Но, горе мне!.. Грянул сам Зевс стрелометный
И огнь свой палящий на сад мой послал,
И тройственный лавр мой, дар Фебу заветный,
Низвергнул, разрушил, спалил и попрал...

И те, кем могла бы родная обитель
Гордиться... повержены, мертвы, во прах,
А грустный тех лавров младых насадитель
Рыдает, полмертвый, у них на корнях!..[87]

Ко времени казни Сергея отцу его было почти шесть десятков. Не дождавшись казни, он уехал за границу и следующие двадцать лет провел в Вене, потом во Флоренции; вел по обыкновению веселую и широкую жизнь, что-то писал, в том числе, кажется, и мемуары, но все бумаги его «утратились за границей».[88] В 1845 году воротился в Москву, уже старым и больным, и значительно обедневшим: миллионное наследство ушло на разные мелочи, на капризы жены и на «шалости» младшего сына (от второй жены) Василия (1817—1867).

Сохранились два свидетельства из последнего периода жизни этого поклонника Горация. Одно свидетельство относится к декабрю 1846 года, когда Николай I распорядился уволить всех престарелых сенаторов, редко посещавших заседания Сената. В числе «уволенных» оказались П. Л. Батюшков, А. Н. Мордвинов, Д. Н. Болговский, князь А. Н. Голицын и множество других «старцев». Но только один И. М. Муравьев-Апостол

---

[87] Там же. 1886. № 2. С. 227—228.

[88] См. комментарии *Л. Н. Майкова* и *В. И. Саитова* в изд.: *Батюшков К. Н.* Сочинения. СПб., 1885. С. 411—417.

смиренно просил императора позволить продолжать службу. А получив отказ, стал униженно добиваться повышенной пенсии, напомнив, что беспорочно служил государству с 1773 года, и указав, что, при малом родовом имении (от которого осталось только 150 заложенных душ) и большом семействе не может нормально существовать без государственного вспомоществования. После всех этих прошений 27 апреля 1847 года Ивану Матвеевичу была назначена пенсия 1827 руб. 31 коп. серебром.[89]

Другой документ — письмо Ивана Матвеевича к своей кузине Е. Ф. Муравьевой (матери двух находящихся в Сибири декабристов) от 26 марта 1847 года. Оно наполнено типично стариковскими жалобами на ухудшившийся быт, на не любящую его жену и эгоиста-сына, постоянно требующего «увеличить свое от отца содержание». Заканчивается это письмо так: «У меня нет более сына, ни даже дочерей ⟨...⟩ Забыть всего я не могу; но это не долго продлится. Тля памяти не имеет, так как от меня скоро останется лишь горсть земли; а там, где я буду, помнят только добро, а не зло».[90]

Он умер 12 марта 1851 года, на 84-м году жизни, в Петербурге, в очень стесненных обстоятельствах. Почти никто в России его уже не помнил; лишь «Северная пчела» поместила краткий некролог, да на годовом акте Академии Наук П. А. Плетнев сказал несколько слов о нем как о почетном члене Второго отделения Академии.[91] Похоронен Иван Матвеевич Муравьев-Апостол на Георгиевском кладбище на Большой Охте. Уже лет через десять могила его на кладбище затерялась.

---

[89] Русская старина. 1905. Т. 124. № 11. С. 366—386.

[90] Русский архив. 1887. Кн. 1. С. 56.

[91] Северная пчела. 1851. № 59; Отчет Императорской Академии Наук по Отделению русского языка и словесности за первое десятилетие. СПб., 1852. С. 345—346.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание, помимо «Писем из Москвы в Нижний Новгород», включены произведения, так или иначе связанные с этим текстом: ранние и позднейшие статьи, заметки, письма Муравьева-Апостола. Из дошедшего до нас его литературного наследия в издание не включены «Путешествие по Тавриде», представляющее специальный интерес, ранние переделки пьес Р. Б. Шеридана «Школа злословия» (1793) и «Ночь ошибок» О. Голдсмита («Ошибки, или Утро вечера мудренее»; 1794), прозаические переводы 1-й и 3-й сатир Горация (1811—1812) и перевод комедии Аристофана «Облака» (1821).

За помощь в переводе и атрибуции иноязычных текстов составитель выражает признательность О. В. Бударагиной, Н. П. Генераловой, В. В. Дудкину, В. В. Иваницкому, М. В. Никулиной.

ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

Появившись в 1813—1815 гг. в «Сыне Отечества» (далее СО), «Письма из Москвы в Нижний Новгород» никогда не переиздавались в полном виде. Первые 7 писем в качестве образчика публицистики времен наполеоновских войн были перепечатаны журналом «Русский архив» (1876. № 10. С. 129—154). «Письмо шестое» вошло в «Собрание образцовых сочинений и переводов в прозе» (СПб., 1824. С. VI). Отдельные фрагменты «Писем» перепечатывались в разного рода статьях и популярных пособиях вроде «Истории русской словесности» А. Д. Галахова (2-е изд. СПб., 1892. Т. 2. С. 276—281), книги М. Н. Каткова «Наша учебная реформа» (М., 1890. Прилож. 2) и т. д.

В настоящем издании «Письма» приводятся по тексту первой публикации с сохранением некоторых характерных особенностей орфографии и пунктуации оригинала. Например, мы сохранили характерное для того времени написание таких слов, как «галстух», «безотговорочно», «естьли», «пропущал», «физиогномия», «имянно», «танцовать», «противуречия» и другие, а также употребление окончаний — *ой* («английской маль-

чик», «конной завод» и т. п.) и — *ый* в случаях — «именный указ...» и др. Подстрочные примечания, не имеющие указания на источник (в том числе и переводы, не имеющие пометы), принадлежат автору. Переводы с указанием языка (в скобках) принадлежат составителю.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

СО. 1813. Ч. 8. № 35. С. 89—97.

[1] *Расставаясь со мною на берегах Волги, где мы вместе ощутили...* — Адресат «Писем» в данном случае условен: бывший житель Москвы, волею военных перипетий очутившийся на чужой стороне. К осени 1812 г. в Нижнем Новгороде оказалось большое количество москвичей, покинувших столицу перед приходом в нее неприятеля. Ср. в письме К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу от 13 октября 1813 г. из Нижнего Новгорода в Петербург: «Мы живем теперь в трех комнатах, мы — то есть Катерина Федоровна (Муравьева. — *В. К.*) с тремя детьми, Иван Матвеевич (Муравьев-Апостол. — *В. К.*), П. М. Дружинин, англичанин Евенс, которого мы спасли от французов, две иностранки, я, грешный, да шесть собак ⟨...⟩ Здесь Карамзины, Пушкины, здесь Архаровы, Апраксины, одним словом — вся Москва...» (*Батюшков К. Н.* Соч. М., 1989. Т. 2. С. 234). Батюшков уехал из Нижнего в феврале 1813 г.; Муравьев-Апостол — несколько раньше. Возможно, что, представляя условного «адресата» своих «Писем», автор имел в виду как раз Батюшкова, с которым в период изгнания в Нижнем общался наиболее часто и активно.

[2] *...довольствуйся не описанием Москвы, а описанием безо всякого систематического порядка впечатлений.* — Известное «описание Москвы» Батюшкова — очерк «Прогулка по Москве» (1811) — могло быть известно Муравьеву-Апостолу; на него он здесь и намекает.

[3] *В событиях нашего Отечества все чудесно: как будто читаешь Ариоста.* — Упоминание «чудес», напоминающих поэму Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд», тоже «отсылает» к беседам автора «Писем» с К. Н. Батюшковым, особенно выделявшим Ариосто среди мировой поэзии («Возьмите душу Вергилия, воображение Тасса, ум Гомера, остроумие Вольтера, добродушие Лафонтена, гибкость Овидия: вот Ариосто!» — *Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 202). В письме к Н. И. Гнедичу от 29 декабря 1811 г. сохранилось свидетельство, что Батюшков в этот период занимался переводом 34-й песни «Неистового Роланда»; из этого большого («листа три») перевода до нас дошел (в составе того же письма) лишь небольшой фрагмент, посвященный как раз «Астольфову путешествию в луну» — «дурачеству» и «сумасбродности» окружающего мира: «Увы, мы носим все дурачества оковы...» (там же. С. 201—203). Можно предположить, что Муравьев-Апостол, сравнивая «события нашего Отечества» с «чудесами» Ариосто, имеет в виду как раз этот — не дошедший до нас — перевод Батюшкова.

[4] *...Со времен Дария.* — Имеется в виду древнеперсидский царь Дарий I (550—485 до н. э.), сын Гистаспа, знаменитый завоеватель древности, распространивший свое господство в Азии до реки Инда. Дарий был популярен в русской культуре благодаря «Истории» Геродота.

[5] *Испанию я примечаю не в Европе, а в Мексике и Перу.* — С XVI в. Мексика и Перу, завоеванные конкистадорами Кортеса и Писарро, были колониями («вице-королевствами») Испании; в 1810 г. и в Мексике, и в Перу вспыхнули восстания против испанского владычества, в результате которых, после многолетней борьбы, Испания вынуждена была признать независимость того и другого государства. Положение Перу как испанской колонии вызывало сочувственные отклики в русской литературе; см., например, стихотворение Гнедича «Перуанец к испанцу» (1805), которое истолковывалось как призыв к борьбе с рабством и тиранией.

[6] *Португалии я бы и не доискался на карте, если б она ⟨...⟩ не смотрела на Бразилию.* — Бразилия со времени открытия (1560) считалась владением Португалии; с 1808-го по 1821 г. Бразилией правил изгнанный с родины Наполеоном португальский король Иоанн IV.

[7] *Vis consili expers mole ruit sua.* — Латинское крылатое выражение, пришедшее из оды Горация (III. 4, 65): «Сила, лишенная разума, рушится от своей громадности сама собой».

[8] *...можно с Клавдианом сказать...* — Клавдиан Клавдий (ок. 375—404), последний из великих латинских поэтов, творения которого тесно переплетаются с историческими событиями IV века. Приводится цитата из поэмы Клавдиана «Похищение Прозерпины» («De raptu Proserpinae»).

[9] *...delenda Francia!* — Образование по типу крылатого латинского изречения «Delenda est Carthago!» — «Карфаген должен быть разрушен!».

[10] *Discite justitiam moniti et non tempere Divos!* — Цитата из «Энеиды» Вергилия (VI, 620); в современном переводе (С. Ошерова) звучит так: «Не презирайте богов и учитесь блюсти справедливость». Эти слова в «Вергилиевом аде» возглашает не Тезей, а Флегий, который поджег в Дельфах храм Аполлона.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

СО. 1813. Ч. 8. № 36. С. 129—139.

[1] *Как Лаланд мог быть безбожником?* — Жозеф-Жером-Франсуа де Лаланд (1732—1807), знаменитый французский астроном, создатель звездного каталога, выпущенного в годы Великой французской революции. Начал свою деятельность с наблюдения огромной кометы 1744 г.

[2] *...как говорит Мильтон.* — Джон Мильтон (1608—1674) — английский поэт; приводится цитата из его поэмы «Потерянный рай».

[3] *...я не таков, как Поппе.* — Александр Поуп (1688—1744) — английский поэт; далее приводится цитата из его «Послания к Ричарду Темплю, лорду Кобхему» (1734).

[4] *...стихи из элегии Уеста, Греева друга.* — Томас Грей (1716—1771) — английский поэт; Бенджамин Уэст (1738—1820) — английский художник.

[5] *...видел всю дорогу от Москвы до Владимира, усеянную гражданами, ищущими спасения в бегстве.* — Дальнейшее описание Муравьева-Апостола всеми своими деталями напоминает поэтическое описание тех же бедствий войны в послании Батюшкова «К Д⟨ашко⟩ву»: «Я видел сонмы богачей, / Бегущих в рубищах издранных; / Я видел

бледных матерей ⟨...⟩ Как, к персям чад прижав грудных, / Они в отчаянье рыдали...» и т. д. (*Батюшков К. Н.* Соч. Т. 1. С. 190—191).

[6] *Quiquid delirant reges, plectuntur Achivi.* — Гораций. «Послания». I. 2, 14.

[7] *...что может быть глубокомысленнее Невтона.* — Исаак Ньютон (Newton; 1643—1727), гениальный английский физик и математик.

[8] *...добрее Марка Аврелия...* — Марк Аврелий (Антонин, 121—180), один из наиболее замечательных римских императоров, сторонник стоицизма.

[9] *Постой, господин Галль!* — Франц-Иосиф Галль (1758—1828), немецкий и французский ученый, основатель френологии — учения о зависимости особенностей человеческого мозга от внешнего строения черепа (теория черепных бугров).

ПИСЬМО ТРЕТИЕ

СО. 1813. Ч. 9. № 39. С. 3—13.

[1] *...все Академии в свете, даже Парижский Институт.* — Имеется в виду знаменитая Французская Академия (или Французский Институт — Institut de France), основанная в 1635 г., прославленное ученое сообщество для развития науки.

[2] *Но я скорее соглашусь с Дантом, который в аде своем выдумал особливый лимб для этаких холодных философов.* — В четвертой песне «Ада» «Божественной комедии» Данте Алигьери описан лимб (лат. limbus — кайма), первый круг ада, в который отправляются души добродетельных нехристиан.

[3] *Не говорю я о том, что они были при Св⟨ятом⟩ Лудовике, о просвещении в век Лудовика XIV...* — Имеются в виду короли Франции Людовик IX Святой (1215—1270) и Людовик XIV (1643—1715).

[4] *...на трон Генриха IV* — Генрих IV (1553—1610), французский король, даровавший значительные права гугенотам и вынашивавший проект создания европейской федерации («христианской республики»).

[5] *...Мартышка-Сегюр.* — Граф Луи-Филипп Сегюр (1753—1830) в молодости участвовал в американской освободительной войне, был французским посланником в Петербурге; затем оказался членом Учредительного собрания, а при Наполеоне исполнял должность церемониймейстера двора, за что был произведен в сенаторы и стал пэром Франции.

[6] *...забавного Касти.* — Джамбатиста Касти (1721—1803), итальянский поэт, отличавшийся остроумными, легкими и подчас скабрезными рассказами в стихах и экспромтами.

[7] *...служить Баррасовой наложнице.* — Жозефина Богарнэ (1763—1814), до того, как стала женой Наполеона Бонапарта, была любовницей виконта Поля-Франсуа де Барраса (1755—1829), главы термидорианской реакции и президента Конвента.

[8] *...разводной жены Леграна, бывшей тогда еще не женою, а наложницей Талейрана.* — Имеется в виду Катрин Ноэль Ворле Гран (1762—1835), известная под именем «Индианка», разведенная жена одного служившего в Индии чиновника и любовница знаменитого дипломата Шарля-Мориса Талейрана; в 1802 г. Талейран, по приказу Наполеона, предупреждавшего дипломатический скандал, вынужден был жениться на своей любовнице.

[9] *...приучить потомство Гракхов ползать у ног Тиверия.* — Гракхи, братья Тиберий (162 до н. э.—133 до н. э.) и Гай (153 до н. э.—121 до н. э.) — знаменитые политические деятели и ораторы Древнего Рима, отстаивавшие права мелких землевладельцев и неродовитых граждан. Тиберий Нерон (42 до н. э.—37 н. э.), римский император; тиран, получивший известность своим извращенным распутством.

[10] *Natio comoeda est!* — Крылатое латинское изречение, пришедшее из «Сатир» Ювенала (III, 100), употребленное для характеристики греков эпохи упадка.

[11] *...в Италии был бы начальником Бандитов...* — Итальянское *bandito* — буквально «изгнанник» (суффиксальный дериват от глагола *bandire* — «изгонять, ссылать»).

[12] *...в России — Пугачевым...* — Сопоставление Наполеона Бонапарта с Емельяном Пугачевым (1744—1775), предводителем знаменитого крестьянского восстания, было в системе воззрений русских людей того круга, к которому относился Муравьев-Апостол, чрезвычайно значимым, а позднее это сопоставление повлияло на истолкование фигуры Пугачева Пушкиным (см.: *Кошелев В. А.* Пушкин: История и предание. СПб., 2000. С. 312—318).

[13] *Таррагона...* — Город в Испании на берегу Средиземного моря.

[14] *Бургос* — испанский город в Старой Кастилии.

[15] *Последний из подвигов в Гветарии...* — Имеется в виду эпизод, происшедший после сражения при Виттории (Испания) 21 июня 1813 г., в котором англичане и испанские герильос (партизаны) оттеснили французские войска к Пиренеям.

[16] *...можно сказать с Ювеналом.* — *Ювенал.* «Сатиры». III. 100—102.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

СО. 1813. Ч. 9. № 44. С. 211—234.

[1] *...приятели мои Археонов и Неотин.* — Литературные фамилии «приятелей» автора образованы от греческих слов *archaios* («древний») и *neos* («новый»).

[2] *Аристофан* — (ок. 446—385 до н. э.) древнегреческий драматург, отец комедии.

[3] *О Менандре мы не можем судить иначе, как по холодному его подражателю Теренцию...* — Из наследия древнегреческого драматурга Менандра (ок. 343—ок. 291 до н. э.), создателя «новоаттической комедии», к началу XIX в. были известны лишь немногочисленные отрывки (это наследие обогатилось благодаря последующим находкам). Римский комедиограф Теренций (ок. 195—159 до н. э.) прославился своими переработками пьес Менандра («Девушка с Андроса», «Самоистязание», «Евнух», «Братья»).

[4] *Плаут его повеселее...* — Имеется в виду Тит Макций Плавт (ок. 250—ок. 184 до н. э.), римский комедиограф.

[5] *...взять характер скупого в латинском комике и сличить его с французским Арпагоном...* — предлагается сравнить образы скупцов в комедиях Плавта «Клад» и «Пленники» и характер Гарпагона в комедии Мольера «Скупой».

[6] *Лафонтен неподражаемый.* — Жан де Лафонтен (1621—1695), французский поэт-баснописец.

[7] *...апологи Фригийского мудреца и подражателя его Федра.* — Имеются в виду произведения древнегреческого баснописца Эзопа (VI в. до н. э.) и латинского баснописца Федра (ок. 15 до н. э.—ок. 70 н. э.).

[8] *...уродливая Кастрова трагикомедия «Сидово молодечество».* — Драма испанского драматурга Гильена де Кастро-и-Бельвиса (1569—1631) «Юность Сида» («Las mocedades del Sid») была обработана Пьером Корнелем (1606—1684) в трагедии «Сид» (1637).

[9] *...в отечестве Ксенофана живут теперь Румелийцы...* — Ксенофан из Колофона (ок. 570—480 до н. э.), древнегреческий философ, поэт и рапсод, первый представитель элейской философии; Румелия — область на севере Греции, находившаяся в начале XIX в. под турецким владычеством.

[10] *...рабов Дивана?* — Диван — государственный совет в мусульманских странах.

[11] *...итальянцы Альфиери.* — Витторио Альфиери (1749—1803), итальянский поэт, создатель национальной трагедии.

[12] *Ипполит на сцене французской... открывающийся в любви к Арисии.* — Имеется в виду трагедия Жана Расина (1639—1699) «Федра» (1677).

[13] *...холодной в стихах декламации, которой Вольтер хотел присвоить честь эпопеи.* — Имеется в виду эпическая поэма Вольтера (Франсуа Мари Аруэ, 1694—1778) «Генриада» (1728), осознанная уже при жизни автора как художественная неудача.

[14] *...поверя Буало, и ты видишь в «Освобожденном Иерусалиме» одну только мишуру...* — Французский теоретик классицизма Никола Буало-Депрео (1636—1711) в стихотворном трактате «Поэтическое искусство» («L'art poetique», 1674) с издевкой отозвался об эпической поэме Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».

[15] *Ифланд на театре своем представляет немцов...* — Август Вильгельм Ифланд (1759—1814), немецкий актер и драматург, один из создателей «мещанской драмы».

[16] *...Шеридан англичан...* — Ричард Бринсли Шеридан (1751—1816), английский драматург; перевод его комедии «Школа злословия» (1777) на русский язык (1793) принес И. М. Муравьеву-Апостолу первую литературную известность.

[17] *...если взять Ариоста и прочесть несколько вступлений к песням поэмы его...* — Каждая из песен поэмы Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» открывается «вступлением», не имеющим прямого отношения к сюжету и напоминающим стихотворную притчу.

[18] *...англичане, и не упоминая о Шекспире, Мильтоне, Драйдене, Томсоне, выставят ряд историков, таковых, как Юм, Фергюсон, Робертсон...* — Джон Драйден (1631—1700), английский поэт, драматург и критик, один из основоположников английского классицизма; Джеймс Томсон (1700—1748), английский поэт, создатель описательной поэмы «Времена года»; Дэвид Юм (1711—1776), английский философ и историк, автор «Трактата о человеческой природе» и «Истории Англии»; Адам Фергюсон (1723—1816) и Вильям Робертсон (1721—1793), английские историки.

[19] *...немцы укажут на Виланда, Лессинга, Гете, Шиллера.* — Кристофор Мартин Виланд (1733—1813), немецкий писатель; Готхольд Эфраим Лессинг (1729—1781), драматург и критик, один из основателей немецкой классической литературы.

[20] *...колебаться между «Преображением» Рафаэля и «Сабинками» Давида.* — «Преображение» — последнее творение величайшего итальянского живописца Рафаэля

Санти (1483—1520), признанный в начале XIX в. образец ясной гармонии творчества и завершенности форм живописи; «Сабинки» — картина французского живописца Жака-Луи Давида (1748—1825) «Похищение сабинянок», вызвавшая в свое время фурор своими натуралистическими элементами.

21 *...между Альбаном и Буше.* — Франческо Альбани (1578—1660), итальянский живописец «болонской школы», прославившийся подробным изображением мельчайших деталей и чрезвычайно популярный в XVIII в.; Франсуа Буше (1703—1770), французский живописец, чья слава после его смерти совершенно угасла из-за обвинений в развращающем влиянии его картин на молодое поколение.

22 *...между операми Монсиньи и Паизелла...* — Пьер-Александр Монсиньи (1719—1817), один из создателей французской комической оперы.

23 *Спроси Воронихина...* — Андрей Никифорович Воронихин (1759—1814), архитектор и живописец; совершил четыре поездки за границу, где изучал перспективу, пейзажную живопись и архитектуру.

24 *...спроси Егорова, познал ли бы он Рафаэля из Джиордановых списков?* — Живописец Алексей Егорович Егоров (1776—1851) в 1803—1807 гг. в Италии специально изучал творения Рафаэля; плодовитый неаполитанский живописец Лука Джордано (1632—1705) прославился копированием картин Рафаэля и Микеланджело, копии его находились, в частности, и в России.

25 *...Пирр в «Андромахе» его, Ахиллес в «Ифигении», Ипполит в «Федре», Нерон в «Британике» — не те идеалы, которые мы воображаем по начертаниям в Омере, Вергилии, Еврипиде и Таците.* — Расин в своих трагедиях использовал античные сюжеты и мотивы, но непременно переосмысливал их в духе своего времени.

26 *...Феокритовы пастухи срисованы в опере с танцовщиков.* — Древнегреческий поэт Феокрит (конец IV—1-я пол. III в. до н. э.), создатель жанра идиллий, небольших сценок из «пастушеского» быта.

27 *...Фосс начертал прелестную «Луизу» свою в Эйтине...* — Имеется в виду идиллия Иоганна Генриха Фосса (1751—1826) «Луиза» (1795), сентиментальная картинка сельской немецкой жизни.

28 *...подражатель приторного Флориана...* — Французский писатель Жан-Пьер Флориан (1755—1794) приобрел известность своими пасторальными повестями и романами («Галатея», «Блиомбери» и др.).

29 *Scribimus indocti doctique poemata passim.* — Гораций. «Послания». II. 1, 115.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

СО. 1813. Ч. 9. № 45. С. 259—270; Ч. 10. № 46. С. 24—33.

1 *Я возьму для этого двух мальчиков, уроженцев Петербурга и Лондона...* — О характере «англомании» Муравьева-Апостола см.: *Кошелев В. А.* Феномен Англии в «Письмах из Москвы в Нижний Новгород» И. М. Муравьева-Апостола // Русская культура и мир. Материалы науч. конф. Нижний Новгород, 1993. С. 166—168.

2 *Мальчик-англичанин в 7 лет отдается в школу, в Вестминстер или Итон...* — Наиболее престижными учебными заведениями в Англии XVIII в. считались школа при

Вестминстерском аббатстве (в аристократической части Лондона) и «коллегиум» в небольшом городке Итоне (недалеко от Виндзора).

[3] *A peine nous sortions des portes de Trézéne...* — Начальная фраза монолога Терамена о гибели Ипполита из финальных сцен трагедии Ж. Расина «Федра» (действ. 5, явл. 7).

[4] *...выписками из писем г-жи Севинье...* — Маркиза Мари де Рабютен Шанталь Севинье (1626—1696) на протяжении 20 лет писала письма дочери, в которых, рассказывая о новостях Парижа и Версаля, довела до совершенства французское эпистолярное искусство.

[5] *...из Вольтерова «Siècle de Louis XIV»...* — «Век Людовика XIV» (1751), исторический труд Вольтера.

[6] *...танцует королевин менуэт и гавот.* — Старинные французские танцы умеренной быстроты.

[7] *...может быть, выйдет из него Томсон или Гре...* — Джеймс Томсон (1756—1814), Томас Грей (1717—1771) — английские поэты.

[8] *...готовится в нем будущий Веллингтон...* — Артур Колли Веллингтон (1768—1852), английский полководец, победитель Наполеона.

[9] *...не мешало младшему Сципиону восхищаться стихами Омера.* — Знаменитый римский военачальник, победитель Карфагена, Публий Корнелий Сципион Младший (185—129 до н. э.) был к тому же замечательный оратор и знаток греческой литературы.

[10] *Англичанин в 15 лет оставляет школу и отправляется в Оксфорд...* — Оксфордский университет был самым старейшим (осн. 1249) и известным в Англии.

[11] *Стремящийся идти по следам Нельсона...* — Английский адмирал Горацио Нельсон (1758—1805), уничтоживший в битве при Трафальгарском мысе французский флот.

[12] *...я бы тогда и с Филаретом поспорил в пальме духовного витийства.* — Имеется в виду один из знаменитых представителей духовного красноречия в начале XIX в.: либо Филарет (в миру Федор Георгиевич Амфитеатров, 1779—1857), епископ калужский, либо Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1782—1867), с 1812 г. — ректор С.-Петербургской духовной академии, впоследствии митрополит московский. Оба Филарета в 1810-е гг. прославились своими духовными сочинениями, ставшими образцами церковного красноречия.

[13] *Отец Отечества, при первом воззрении на землю благодатную...* — «Отец Отечества» — официальный титул, который возложил на себя Петр Великий.

[14] *Новые университеты возникают в Харькове, в Казани, в Дерпте, в Вильне.* — Имеется в виду реформа просвещения, проведенная в первые годы царствования Александра I. В январе 1803 г. Россия разделена на 6 учебных округов; в центре четырех округов были открыты университеты: Дерптский (восстановлен в апреле 1802), Виленский (восстановлен в апреле 1803), Харьковский (открыт в 1805) и Казанский (открыт в 1804).

[15] *...как Ахиллеса окунула матушка его в Стиксе...* — Имеется в виду указание на послегомеровский миф, переданный Гигином (I в. до н. э.) о том, что Фетида, стремясь сделать тело Ахиллеса неуязвимым, окунула его в священную реку Стикс (при этом единственно уязвимым местом оказалась пятка, за которую Фетида держала сына).

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

СО. 1813. Ч. 10. № 48. С. 97—105.

[1] *...так пишет, не помню где-то, Шлецер...* — Август Людвиг фон Шлецер (1735—1809) был с 1762-го по 1769 г. адъюнктом при Академии Наук в Санкт-Петербурге; специалист по древней русской истории.

[2] *...всему есть место: est modus in rebus.* — Крылатое латинское изречение из «Сатир» Горация (II, 1, 106).

[3] *...выкладывая Невтонов бином...* — Бином Ньютона, математический двучлен, требующий изощренного решения.

[4] *...он гордится теперь Кондорсетами...* — Мари-Жан-Франсуа-Никола де Кондорсе (1743—1794), французский математик, философ и политик; сделал попытку установить закономерности развития истории и ее основные этапы.

[5] *Появляются Монтань, Малерб...* — Мишель Монтень (1533—1592), французский писатель и мыслитель, автор «Опытов»; Франсуа де Малерб (1555—1628), французский поэт, реформатор языка и стихосложения.

[6] *...возникают Корнель, Расин, Фенелон...* — Франсуа де Салиньяк де Ла Мот Фенелон (1651—1715), французский писатель и религиозный деятель.

[7] *...под Министерством Кольберта...* — Маркиз Жан-Батист Кольбер (1619—1683), французский государственный деятель, управлявший финансами Франции при Людовике XIV; создал систему экономического меркантилизма.

[8] *...с которыми на ряду становятся геометры Даламберт и Мопетрюи...* — Имеются в виду члены кружка создателей французской «Энциклопедии» математик и философ Жан д'Аламбер (1717—1783) и астроном и геодезист Пьер-Луи Мопетрюи (1698—1759).

[9] *...лже-мудрец Фернейский...* — Вольтер.

[10] *...опершись на Кондорсета, Лаланда...* — Жозеф-Жером-Франсуа де Лаланд (1732—1807), французский астроном.

[11] *...осуждены ломать себе голову над Лакруа...* — Сильвестр-Франсуа Лакруа (1765—1843), французский математик, профессор, составитель курса дифференциального исчисления.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

СО. 1813. Ч. 10. № 49. С. 137—155.

[1] *...я первой раз с эспонтоном в руках пошел на караул во дворец.* — Эспонтон (эспадрон) — тупая сабля (палаш), употреблявшаяся для обучения фехтованию.

[2] *При святом крещении ее назвали в угодность бабки ее Татьяною...* — О влиянии этого письма на именование героини пушкинского «Онегина» см.: *Кошелев В. А.* 1) «Ее сестра звалась Татьяна...» (Об имени пушкинской героини) // Болдинские чтения. Горький, 1988. С. 154—163; 2) Татьяна Ларина и «русская традиция» (К постановке вопроса) // Проблемы современного пушкиноведения. Сб. науч. трудов. Псков, 1991. С. 31—40.

[3] *...а я, не придумав ничего слаще, в ответ ей: бон-бон!..* — от франц. *bonbons* — конфеты, сласти.

ПИСЬМО ОСЬМОЕ

СО. 1814. Ч. 11. № 2. С. 62—73.

[1] *Primim aliquid da...* — Эпиграф из VIII сатиры Ювенала (68—69). Ср. перевод Ф. Петровского: «...свое покажи нам / То, что можно как надпись врезать...».

[2] *...понес ее укладывать на роспуски.* — Здесь *роспуски* — сани (дроги) для перевозки клади.

[3] *Витгенштейн...* — Фельдмаршал граф Петр Христианович Витгенштейн (1769—1843) был главнокомандующим русскими войсками во время заграничного похода 1813—1814 гг.

[4] *Граф Александр Сергеевич Строганов* — (1733—1811), известный благотворитель и меценат, был членом Государственного Совета и президентом Академии Художеств.

[5] *Прелестные идеалы Ивии и Психеи...* — т. е. олицетворения телесной (Ивия — Ио) и душевной (Психея) красоты.

[6] *...я привык с малолетства заниматься прелестными аттитудами...* — от французского *attitude* — поза, положение.

[7] *...дочерям Вашим следовало бы подражать Грациям, а не Вакханкам...* — *Грации* — римские богини красоты, соответствовали греческим харитам; *вакханки* — почитательницы бога виноделия Вакха (греческого Диониса), участники вакханалий, сопровождавшихся безудержными оргиями и развратом.

[8] *Не смех ли детям представлять...* — цитата из оды Г. Р. Державина «Мой истукан» (1794), написанная после изваяния бюста поэта работы скульптора Рашета.

[9] *...мне хочется выдать на будущий 1814 год «Адрес-календарь», в котором, до 8 класса включительно, на каждое имя будет портрет.* — Адрес-календарем называлась издаваемая Правительствующим Сенатом книга, содержавшая поименный список должностных лиц всех правительственных учреждений России; «8 класс» — гражданский чин коллежского асессора, приравнивавшийся к майору.

[10] *...будет иметь у себя Лафатера...* — Иоганн-Каспар Лафатер (1741—1801), швейцарский писатель и психолог, основатель «физиономики», науки о соотношении человеческого характера с его внешним обликом; в 1772—1778 гг. Лафатер издал обширное приложение к «Физиономике», снабженное многочисленными гравюрами, демонстрирующими те или иные черты лица, определяющие характер человека.

[11] *...годовой доход наш отправился в Царьград...* — Царьград — др.-рус. название Стамбула (Константинополя), столицы Турции.

[12] *Atollens humero famanque et fata nepotum.* — Цит. из «Энеиды» Вергилия (VIII. 731).

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

СО. 1814. Ч. 11. № 3. С. 97—109.

[1] *Монтескье сказал, что честь — пружина всех новейших образованных государств* — неточная цитата из «Мыслей» Шарля Луи де Монтескье (1689—1755), французского писателя и философа.

[2] *Хотя я неоднократно читал Саллустия...* — Гай Саллюстий Крисп (86—35 до н. э.), римский политический деятель и историк. Приведенная выше цитата открывает его основной исторический труд «О заговоре Катилины». В современном переводе (В. О. Горенштейна) она звучит так: «Всем людям, стремящимся отличаться от остальных, следует всячески стараться не прожить жизнь безвестно, подобно скотине, которую природа создала склоненной к земле и покорной чреву».

[3] *Таков был Цицерон...* — Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.), римский оратор, политический деятель и писатель.

[4] *...я до сих пор был философ без огурцов.* — Заключительный пуант из басни И. А. Крылова «Огородник и Философ» (1811).

[5] *...монумент...прочнее меди и пирамид* — цитата из оды Горация «Exegi monumentum...» (III. 30, 1—2).

[6] *Non omnis moriar!* — цитата из той же оды Горация (30, 6).

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

СО. 1814. Ч. 12. № 7. С. 19—30.

[1] *Rari nantes in gurgite vasto!* — Крылатое выражение из «Энеиды» Вергилия (I, 118).

[2] *Мне пришло на мысль, что я волшебным жезлом...* — Следующее за тем рассуждение Муравьева-Апостола стало основой монолога Чацкого в «Горе от ума» о «французике из Бордо» (*Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч. СПб., 1995. Т. 1. С. 335—336. См. также: *Белкин Д. И.* Отзвуки «Писем из Москвы в Нижний Новгород» И. М. Муравьева-Апостола в «Горе от ума» и «Евгении Онегине» // Проблемы творчества А. С. Грибоедова. Смоленск, 1994. С. 105—106).

[3] *...презабавное смешение языков!..* — выражение «смешенье языков» было использовано Грибоедовым в его «Горе от ума» (см.: *Фомичев С. А.* Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»: Комментарий. М., 1983. С. 78—80; *Кошелев В. А.* «Нижегородский язык» (Об одной грибоедовской номинации) // Русская культура и мир. Материалы Второй Междунар. науч. конф. Нижний Новгород, 1994. Ч. 2. С. 17—19).

[4] *Я тогда невольно вспоминаю третью Ювеналову сатиру...* — Речь идет о бедном, но честном римлянине Умбриции, который покидает развратный Рим, где нет места честному труду из-за интриг греков и выходцев с Востока.

[5] *К нам, на Любских судах, вместе с устерсами и Лимбургским сыром, приплывали целые грузы французов...* — Любские суда — торговые корабли, нагруженные в Любеке, вольном порту, расположенном на территории, пограничной Германии

9 Зак. № 3250

и Дании; с 1813 г. был во главе ганзейского торгового союза, осуществлявшего в России торговлю европейскими товарами. Лимбургский сыр изготавливался в голландском городе Лимбурге; в восприятии Муравьева-Апостола этот сыр («живой сыр» с пищевыми червями) — такой же образчик «модного гастрономического разврата», как и устрицы. Эти рассуждения подали Пушкину мысль описать «космополитическое» застолье Онегина («Евгений Онегин». 1, XVI). См. об этом: *Белкин Д. И.* Указ. соч. С. 107—108.

[6] *Viscera magnatum...* — *Ювенал.* «Сатиры». III. 72.

[7] *Ingenium velox...* — Там же. 73—80.

[8] *Француз Монгольфье* — Иосиф Мишель Монгольфье (1740—1810), французский фабрикант, изобретатель воздушного шара и парашюта.

[9] *Natio comoeda est...* — *Ювенал.* «Сатиры». III. 100—103.

[10] *...священные подвиги на полях Маратонских и в ущелье Термопил...* — На Марафонской равнине афинское войско под командованием Мильтиада в 490 г. до н. э. разгромило персидскую армию; в 480 г. до н. э. греки во главе с Леонидом в течение нескольких дней мужественно защищали Фермопильское ущелье от персов.

[11] *...пунический язык был в моде у римлян до нашествия Аннибалова...* — Ганнибал (247—183 г. до н. э.), главнокомандующий карфагенскими войсками в Испании во время 2-й Пунической войны, разгромивший римскую армию. «Пунический язык» — язык, на котором разговаривали финикийцы-карфагеняне.

[12] *...и у нас был Фабий...* — Диктатор Квинт Фабий Максим Веррукос (ум. в 203 г. до н. э.) вел против войск Ганнибала сдерживающую войну; получил прозвище «Кунктатор» («Медлитель»); «русским Фабием» в начале XIX в. называли М. И. Кутузова.

[13] *И наш Сципион уже в Африке...* Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (235—183 до н. э.), командующий римского войска в войнах с Ганнибалом; в 204 г. руководил высадкой римских воинов в Африке; впоследствии консул Рима; с ним Муравьев-Апостол сравнивает Александра I, находившегося с войсками во Франции.

[14] *...смычок в руках моих никогда не будет тем, что он в руках у Роде.* Пьер Роде, известный скрипач начала XIX в.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

СО. 1814. Ч. 16. № 34. С. 39—54.

[1] *Тит Ливий и Тацит мастерски описали...* — Римские историки Тит Ливий (59 до н. э.—17 н. э.) и Публий Корнелий Тацит (ок. 55—ок. 120).

[2] *Если бы не брат его Луциян...* — Младший брат Наполеона Люсьен Бонапарт (1775—1840), член законодательного собрания Франции, был накануне переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) избран президентом Нижней палаты — Совета пятисот; в организации заговора и его осуществлении Люсьен проявил гораздо большую решительность, чем брат.

[3] *...отрывок сцены, в которой Шекспир довершает изображение любимого героя своего Генриха V...* — Далее приводится финал 8-й сцены четвертого акта исторической хроники Шекспира «Генрих V» (1599). Герой этой хроники, король Генрих V, со своей прямой, исходящей из законности политикой, становится шекспировским идеалом

монарха. Муравьев-Апостол прямо «применяет» этот идеал к Александру I, покорителю Наполеона.

[4] *...благодарю его за то, что он меня не жаловал.* — В период активной дипломатической деятельности (1798—1800 — министр-резидент в Любеке, Гамбурге и Копенгагене; 1802—1805 — полномочный посол в Испании) Муравьев-Апостол всюду активизировал деятельность антифранцузской и антинаполеоновской коалиции.

[5] *...подобно Моисею, который видел только обетованную землю, а не вступал на нее.* — Согласно Библии (Пятикнижие Моисея), Моисей, вождь и законодатель еврейского народа, выведший сынов Израилевых из египетского рабства, не был удостоен чести войти в землю обетованную.

[6] *Тарквиний изгоняется...* — Тарквиний Гордый (VI в. до н. э.), последний из царей Древнего Рима.

[7] *Вергилиевской Latis otia fundis ожидает меня.* — Имеется в виду дидактическая поэма Вергилия «Георгики», в которой римский поэт ищет идеал в трудовой деятельности селянина.

[8] *Алкид наш на поприще славы воинской прошел до пределов возможности...* — Воинские победы Александра I сравниваются с деятельностью афинского государственного деятеля и полководца Алкивиада (ок. 450—ок. 404 до н. э.).

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

СО. 1814. Ч. 17. № 39. С. 3—17; № 40. С. 49—60.

[1] *Как наставник Нерона заключал письма свои к Луцилию каким-нибудь кратким нравоучением...* — Луций Анней Сенека (ок. 4 до н. э.—65 н. э.), государственный деятель, философ и писатель; был воспитателем будущего императора Нерона; здесь имеются в виду его «Письма на моральные темы», посвященные проблемам практической морали; Луцилий (младший), римский поэт, друг Сенеки.

[2] *Ars longa, vita brevis.* — Часть афоризма, приписываемого Гиппократу.

[3] *...судья посоветует им словами Шекспира не пилить воздуха руками.* — Ср. то же в переводе Б. Л. Пастернака: «Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал: легко и без запинки. Если уж вы собираетесь горланить ее, как большинство из вас, лучше отдать ее городскому глашатаю. Кроме того, не пилите воздуха этак вот руками, но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане, учитесь сдержанности, которая придает всему стройность» (*Шекспир.* «Гамлет»; акт 3, сцена 2).

[4] *Взглянем на росписи наших Глазуновых...* — Глазуновы — фирма книгопродавцев и книгоиздателей в Москве и Петербурге; основана серпуховским купцом Матвеем Петровичем Глазуновым в 1782 г.

[5] *...предрассудок Фридриха II противу своего языка...* — Фридрих II Великий (1712—1786), король Пруссии, видный политик и полководец; был к тому же философом, музыкантом и композитором; предпочитал в быту и в творчестве французский язык.

[6] *...перевод Клаудианова «Похищения Прозерпины».* — Клавдий Клавдиан (ок. 375—ок. 408), последний из великих латинских поэтов; «Похищение Прозерпины» — мифологический эпос Клавдиана; Прозерпина — латинская форма имени греческой богини плодородия Персефоны.

[7] *...какого-нибудь мещанина в предместии Сент-Оноре...* — Сент-Оноре — пригород Парижа.

[8] *Керера не хочет расставаться с дочерью... скрывает ее в Тринарии, где Киклопы сооружают ей жилище.* — Церера, древняя италийско-римская богиня полей, земледелия и хлебных злаков, мать Прозерпины; Циклопы — в греческой мифологии сыновья Урана и Геи, непобедимые великаны и искусные строители.

[9] *Зевс определил Прозерпине быть супругою Плутона...* — Плутон, греческий бог, владыка несметных богатств подземного царства.

[10] *...приводит с собою Палладу и Диану...* — Паллада — прозвище Афины, вечно девственной богини мудрости; Диана (греч. Артемида), богиня женственности и плодородия.

[11] *...описанием наряда Минервы...* — Минерва, римская богиня искусств и талантов, покровительница ремесел.

[12] *Кто видел славную статую, известную под именем «La Diana caniatrice»...* — Имеется в виду статуя «Артемида с ланью» работы Леохара (IV в. до н. э.), хранящаяся в Лувре.

[13] *...как бы он ушел от князя Смоленского из Москвы в Париж!* — Имеется в виду М. И. Голенищев-Кутузов (1745—1813), получивший в 1812 г. чин генерал-фельдмаршала и титул светлейшего князя Смоленского.

[14] *Этого, я думаю, и г. Шуберт не отгадает...* — Федор Иванович Шуберт (1758—1825), русский астроном и метеоролог, академик.

[15] *Как говорит Овидий о самых сих местах?* — Имеется в виду III книга «Метаморфоз» Овидия.

[16] *...струя не утекает от уст Танталовых...* — Мифологический царь Фригии, наказанный за гордость тем, что, стоя по горло в воде, не мог напиться: струя воды постоянно ускользала от него (*Гомер.* «Одиссея». II. 582—592).

[17] *...и даже Эвмениды, отложив страшные угрозы свои, тихо припевают в Эпиталаме.* — Эвмениды — богини мщения; Эпиталама — свадебная песня.

[18] *По философии — Дежерандо...* — Барон Жозеф-Мария Дежерандо (1772—1842), французский публицист и философ-эклектик.

[19] *...по истории Сисмонди...* — Жан-Шарль-Леонард Сисмонди (1773—1842), французский экономист и историк.

[20] *...после Анахарсисова путешествия...* — «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (1788), сочинение французского археолога Жана-Жака Бартелеми (1716—1795).

[21] *...всех более теперь известен нам — Шатобриан.* — Виконт Франсуа Огюст де Шатобриан (1769—1848), знаменитый французский писатель.

[22] *...похожа на Карнеадовы предложения о добродетели...* — Древнегреческий философ-стоик Карнеад Киренский (215—130 до н. э.) прославился своими софизмами, в которых отказывал божеству в вечности, мудрости, добродетели и т. п.

[23] *...пусть же Егоровы наши, отложа в сторону Рафаэлевы подлинники, предпочтительно учатся над копиями Луки Джиордана...* — См. примечание *24* к «Письму четвертому».

[24] *...некто испанец Мерула...* — прозвище священника дона Херонимо Мерино (1770—1847), одного из руководителей испанских партизан-гверильяс, сражавшихся против французов.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

СО. 1815. Ч. 19. № 6. С. 217—228

[1] *Когда Гораций писал, что Nil admirari (ничему не удивляться) есть способ быть счастливым...* — Первый стих 6-го «Послания» Горация из его 1-й книги: «Nil admirari prope res est una, Numici...».

[2] *Гений Рима не удержал Кесаря; он переступил за Рубикон...* — Эпизод о переходе Цезаря через Рубикон (реку, служившую границей между Умбрией и Цизальпинской Галлией), вопреки запрещению Сената, описан в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха и в «Жизни двенадцати цезарей» Светония.

[3] *...равно отстоит как от Гоббова эмпиризма, так и от идеализма Спинозы.* — Имеются в виду философские системы Томаса Гоббса (1588—1679) и Бенедикта Спинозы (1632—1677).

[4] *Школы Талесова в Ионии, Пифагорова в Италии...* — Фалес из Милета (ок. 625—547 до н. э.), основоположник наиболее ранней греческой философии; Пифагор с острова Самос (VI—нач. V в. до н. э.), философ, религиозно-нравственный реформатор.

[5] *...она произвела Анаксагора...* — Анаксагор из Клазомен (ок. 500—428 до н. э.), основоположник афинской философской школы.

[6] *...от Пиррона до Беля и Юма, от Платона до Лейбница и Канта, от Демокрита до Гобба и Эльвециуса...* — Пиррон из Элкиды (IV—III вв. до н. э.), греческий философ, основатель «скептической» школы; Пьер Бейль (1647—1706), французский философ и публицист; Дэвид Юм (1711—1776), английский философ, историк и экономист; Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716), немецкий философ, математик и физик; Демокрит из Абдер (V в. до н. э.), греческий философ-атомист; Томас Гоббс (1588—1679), английский философ-материалист; Клод Адриан Гельвеций (Эльвециус, 1715—1771), французский философ-материалист.

[7] *Умный, почтенный Якоби...* — Фридрих-Генрих Якоби (1743—1819), немецкий писатель и философ, представитель «философии чувства и веры».

[8] *...и, наконец, о Клопштоке.* — Фридрих-Готлиб Клопшток (1724—1803), немецкий поэт, прославившийся своими одами и эпической поэмой «Мессиада» (1751—1773).

[9] *...нечто Вольтеровское, судя по изображению его Гудоном.* — Имеется в виду знаменитая статуя «Вольтер, сидящий в кресле» (1781), созданная скульптором Жаном Антуаном Гудоном (1741—1828) по заказу Екатерины Второй.

[10] *Тогда жил в Альтоне Клопшток...* — Альтона, город в прусском шлезвигском округе, на Эльбе, недалеко от Гамбурга.

[11] *...в то время Дюссек был у меня каждый день, а Жарновик и жил у меня в доме.* — Популярные французские пианисты Жак Дюссек и Луи Жарновик, скрывавшиеся от преследований в русской миссии в Гамбурге.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

СО. 1815. Ч. 23. № 29. С. 85—99.

[1] *...от разных слухов о Бонапарте.* — Имеется в виду эпизод «Ста дней» Наполеона, когда 1 марта 1815 г. он покинул остров Эльбу, куда был сослан, высадился во Франции, потом занял трон Людовика XVIII.

[2] *Гальба или Оттон...* — Имеется в виду описанное Плутархом и Светонием противостояние римского императора Сервия Сульпиция Гальбы (3—69) и его ближайшего помощника Марка Сальвия Отона (32—69): Отон поддержал мятеж Гальбы, направленный против Нерона, а когда Гальба был провозглашен императором, в январе 69 г. сверг Гальбу и провозгласил императором себя.

[3] *Массена или Ней...* — Имеется в виду противостояние двух маршалов Франции, Андре Массена (1758—1817) и Мишеля Нея (1769—1815); один из них в период Ста дней остался верен Людовику XVIII, другой поддержал Наполеона и решился на предательство.

[4] *...а чего же лучше, как и Нерон жив?* — Клавдий Друз Германик Цезарь Нерон (37—68), римский император, прославившийся своими зверствами и гонениями на христиан; здесь под Нероном разумеется Наполеон.

[5] *...грубо ошибся Лудовик...* — Людовик XVIII (1755—1824), король Франции после падения Наполеона.

[6] *...от песков Канны...* — Канн — город на юге Франции, неподалеку от которого Наполеон высадился 1 марта 1815 г.

[7] *...Иллирийскому ли мужику или потомку Флавианского дома.* — Со времен Геродота «иллирийцами» называли большую группу неразвитых племен, заселявших восточное побережье Адриатики; с III в. н. э. некоторые римские императоры происходили из Иллирии (Диоклетиан, Юстиниан и др.); Флавии — римское родовое имя, известное по двум императорским династиям, одна из которых (Веспасиан, Тит, Домициан) правила в 69—96 гг., вторая (от Константина I до Юлиана) — с 293 по 363 г.

[8] *...Монтань сказал...* — Мишель Монтень (1533—1592), французский мыслитель и писатель; далее приведена фраза из его «Опытов» («Essays»).

[9] *...Альфиери давно уже начертал...* — Далее — цитата из комедии Витторио Альфиери «Единственный» (акт 2, сцена 4), посвященной сатирическому изображению тирании как формы правления.

[10] *...английские Катоны...* — Римские политические деятели и трибуны Марк Порций Катон Старший (234—149 до н. э.) и Марк Порций Катон Младший (95—46 до н. э.) прославились тем, что были ярыми противниками имперской формы правления и сторонниками демократии.

[11] *Испания, обязанная злейшим врагам своим, Годою (принцу де ла Пас) и французам...* — Испанский политический деятель Манюэль де Годой Альварец де Фария (1767—1851), будучи министром иностранных дел, повел «антианглийскую» политику, заключил в 1795 г. Базельский мир с Францией (отсюда его прозвище: «князь мира»), вследствие чего Испания проиграла Англии войну, ее флот был разбит в Трафальгарской битве, а Наполеон вступил с войсками в страну; это вызвало народное восстание, во время которого Годой едва спасся бегством.

[12] *...или бы императору Фридерику II удалось привести мысль свою в исполнение...* — Римско-германский император Фридрих II (1194—1250), организатор успешного крестового похода, ведший многолетнюю борьбу с ломбардскими городами и с римскими папами.

[13] *Отечество Леонида и Аристида...* — Леонид, в 488—480 до н. э. царь Спарты, командовал союзным войском в битве при Фермопилах; Аристид (ум. ок. 468 до н. э.), политический деятель в Афинах, один из стратегов в Марафонской битве.

[14] *Ты забыла бессмертного певца Воклюзы...* — Воклюз — село во Франции, в котором в течение шестнадцати лет жил Франческо Петрарка (1300—1374).

[15] *Virtù, contro al furore...* — Из CXXVIII канцоны Петрарки.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Сельская жизнь

СО. 185. Ч. 24. № 36. С. 119—141.

[1] *O Rus! quando ego te aspiciam!..* — *Гораций.* «Сатиры». II. 6, 60—62. Возможно, что этот эпиграф послужил в свою очередь источником знаменитого эпиграфа ко второй главе «Евгения Онегина» Пушкина.

[2] *Жилища сельские! когда я вас узрю!* — Представленный Муравьевым-Апостолом перевод М. Н. Муравьева датирован 1789 годом.

[3] *Едучи на долгих...* — Так называлась езда на «своих» лошадях, которых не меняли на почтовых станциях, давая им отдохнуть.

[4] *Hic vivimus ambitiosa...* — *Ювенал.* «Сатиры». III. 185.

[5] *...тогда как на Пахре...* — Пахра — приток реки Москвы.

[6] *...поборнику Метастазов надобно было устоять в своем и доказать, что Метастаз и он правы...* — Игра слов: *метастаз* — развитие болезни на месте, отделенном от ее источника, и Метастазио (1698—1782), итальянский поэт, знаменитый оперный либреттист.

[7] *...к Бристольским водам.* — Бристоль, город на юго-западе Англии, известный своими минеральными источниками.

[8] *«Человек яко трава...»* — Псалом 102, 15—17. Ср. в синодальном переводе: «Дни человека, как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЕМ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПИСЬМО I

Вестник Европы (далее — ВЕ). 1824. № 2. С. 121—142. Разд. «Изящная словесность».

В этот период слава Муравьева-Апостола достигла апогея, и в ВЕ в январе—феврале 1824 г. появляются две показательные публикации: помимо продолжения «Писем»,

продолжение «Путешествия по Тавриде» — Отрывки из «Путешествия по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола в 1820 г. (1824. № 3. С. 174—205). Возможно, автор собирался действительно продолжить свои замыслы, но намерение это, в связи с начавшейся его службой в Сенате, было, вероятно, оставлено, и никаких следов его позднейшего обращения к «Письмам» до нас не дошло.

*

[1] *Это храмы сельских божков, Пана, Сильвана, Нимф.* — Пан—греческий бог-защитник пастухов, изобретший пастушью свирель, лесной демон, представлявшийся в виде получеловека с ногами козла. Сильван — италийский бог лесов, лугов, усадеб и садов, отождествлявшийся с греческим Паном. Нимфы — низшие божества, дочери Зевса, олицетворявшие силы природы.

[2] *...с огромными воротами, украшенными египетскими Кариатидами...* — Кариатида — скульптурное изображение задрапированной женской фигуры, которое использовалось вместо колонны.

[3] *Слушав предпочтительно Гейне...* — Кристиан Готтлоб Гейне (1729—1812), профессор Геттингенского университета, специалист по классической филологии, издатель и комментатор древних памятников античной словесности, стремившийся рассматривать античную культуру в ее историческом развитии.

[4] *Комендант стал выхвалять Фридриха II...* — Фридрих II Великий (1712—1789), король Пруссии, прославившийся своими завоеваниями и организацией военного дела.

[5] *...вопреки ему, превозносил Ксенофона...* — Ксенофонт Афинский (ок. 430—355 до н. э.), историк и писатель, участвовавший в походах и написавший ряд военно-стратегических и исторических сочинений.

[6] *...тот ставил выше всех сражение Кагульское...* — Сражение русских войск под командованием П. А. Румянцева с турецкими при реке Кагул (Молдавия) 12 июня 1770 г.

[7] *...отдавал справедливость баталионам-кареям...* — Каре — тактический прием построения пехоты четырехугольником для отражения атак кавалерии; применялся древними римлянами.

[8] *...превосходному устройству легионов в битве Фарсальской...* — Имеется в виду битва между Цезарем и Помпеем (48 до н. э.) возле города Фарсал; воспета римским поэтом Луканом в эпосе «Фарсалия».

[9] *...читал и Энея Тактика...* — Эней Тактик, малоизвестный политический деятель и полководец Аркадийского союза в 367 г. до н. э., один из древнегреческих военных писателей; из его книг сохранились лишь фрагменты труда об осадном деле.

[10] *...trahit sua quemque voluptas...* — *Вергилий.* «Буколики». II. 65.

[11] *...знал об одном Энее, именно о малороссийском наизнанку...* — Комендант путает Энея Тактика с мифологическим Энеем, ставшим героем поэмы Вергилия «Энеида»; поэма эта в свою очередь стала объектом ряда травестийных переделок, в частности, «Энеиды» И. П. Котляревского (1798, 1809), в которой в образах троянцев, карфагенян и латинян автор вывел украинцев с их бытом, языком и общественными отношениями.

[12] *...Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni...* — *Лукан.* «Фарсалии». I. 128.

[13] *...Cedand arma togae!* — Высказывание принадлежит Цицерону; *тога* здесь — атрибут мирного времени.

[14] *...преобразованный в наместническую тогу...* — Наместник — представитель верховной власти в римских провинциях; тога — в Древнем Риме мужская верхняя накидка из белой шерсти, ставшая «официальной» одеждой для должностных лиц.

[15] *...у него в голове были иустиниановы институты...* — Юстиниан I (482—565), император Восточной Римской империи; стремясь к экономической и политической стабилизации государства, провел, в частности, собрание и кодификацию законов действовавшего римского права.

[16] *...возвратился от антиподов в Кронштат...* — Антиподы (греч.), люди, живущие на противоположной стороне земного шара.

[17] *...человеку, который беспрестанно видит у себя на левом боку орудие, которым слишком часто заглаживаются оскорбления...* — Имеется в виду шпага — символ дворянской чести.

[18] *...беспокойный зуд части, которая называется одним именем с парламентом, бывшим в Англии по смерти Кромвеля...* — Оливер Кромвель (1599—1659), лорд-протектор Англии, после смерти которого был создан парламент, иронически названный Ramp (огузок, нижняя часть спины).

[19] *Quosque tandem!..* — Начало знаменитой первой речи Цицерона против Катилины, которая изучалась во всех гимназиях и изучается до сих пор как пример энергичности и выразительности латинского языка.

[20] *...она находится в Тите Петронии Арбитре.* — Петроний Арбитр, Тит (по другим сведениям — Гай), придворный Нерона, заколовшийся в 66 г. по приказу императора за предполагаемое участие в заговоре Пизона; автор сохранившегося в отрывках сатирического романа «Сатирикон».

[21] *...весьма забавную трагедию «Титово милосердие»...* — Имеется в виду первая русская музыкальная трагедия «Титово милосердие» (1777; автор стихов Я. Б. Княжнин, автор музыки Е. И. Фомин), представлявшая собою переработку французской трагедии П. Л. Бюирета де Беллуа «Тит» и итальянской оперы П. А. Д. Метастизио «Титово милосердие». Русская музыкальная трагедия, представлявшая апологию сильной государственной власти, была очень популярным театральным представлением в конце XVIII—начале XIX в.

[22] *...и там лишь спросили о Тите, Петронии и Арбитре...* — Вопрос обличает невежество судей, не имеющих понятия о том, что имена римских патрициев состояли из трех частей: имени собственного, родового и прозвищного.

[23] *...Петроний, о коем вопрошаете, есть треклятый язычник...* — Возмущение старца связано прежде всего с содержанием романа Петрония «Сатирикон», в котором даны правдивые зарисовки нравов эпохи империи, отражены ее пороки, прежде всего грубая эротика и извращения.

[24] *Однако же, как говорит Санчо, нет ничего на свете, что бы как-нибудь да не кончилось...* — Санчо Панса, персонаж романа Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский» (ч. 1, гл. 10).

[25] *Здесь он пашет по Исиоду и Виргилию...* — Имеется в виду эпическая поэма Гесиода «Труды и дни», прославляющая честный крестьянский труд и житейскую мудрость, и дидактическая поэма Вергилия «Георгики» («О сельском хозяйстве»).

[26] *Здесь завел псовую охоту по наставлениям Ксенофона...* — Ксенофонт Афинский, помимо исторических и политических трудов, оставил ряд бытовых трактатов, в их числе трактат «Об охоте» («Kynegetikos»), подлинность которого оспаривается учеными.

[27] *...собакам своим дал имена из 7 гл. Кинигенетики...* — В 7-й главе трактата «Об охоте» («Kynegetikos») приведены советы по называнию охотничьих собак.

[28] *Сельское хозяйство его заведено по Колумелле и Варрону...* — Имеются в виду трактаты крупнейших римских ученых-агрономов Луция Юния Модерата Колумеллы (I в. н. э.) «О сельском хозяйстве» («De re rustica») и Марка Теренция Варрона (116—27 до н. э.) под тем же заглавием.

[29] *...один хутор устроен в точности по правилам Катона.* — Римский политический деятель Марк Порций Цензорий Катон Старший (234—149 до н. э.) для своего сына писал учебники по самым разным отраслям наук; из этих учебников полностью сохранился лишь труд «О сельском хозяйстве» («De agri cultura»).

[30] *...советуется не столько с поваром своим, как с Афинеем.* — Афиней (ок. 200 н. э.), греческий грамматик, автор сочинения «Пирующие ученые», где рисуется застольная трапеза ученых мужей, беседующих о различных областях искусства, культуры, литературы и грамматики.

ДОПОЛНЕНИЯ

ПЕРЕВОД ГОРАЦИЕВОЙ ОДЫ (К ГРОСФУ НА СПОКОЙСТВИЕ)

ВЕ. 1809. Ч. 47. № 20. С. 272—274.

Перевод предварялся обширным «Письмом к Издателю „Вестника Европы" от Профессора Буле» (там же. С. 267—272):

«Приемлю смелость, милостивый государь, послать вам одну из прекраснейших Од Горациевых, в одежде русской поэзии, и если ваше мнение, как надеюсь, будет согласно с моим, я прошу поместить оную в вашем для всех занимательном издании. Это шестаянадесять Ода из второй книги к *Гросфу* о беспечности и спокойствии, к коим стремится всякий смертный, так, как к цели желаний. Она переведена с латинского верно и — что больше показывает искусство переводчика и возвышает цену труда его — приведена в надлежащую меру и приноровлена вообще к гению новейшей поэзии, и в особенности российской.

Как! — подумаете вы, качая головою. — Российский перевод Горациевой Оды стихами, от иностранца! Мог ли он понимать Горация и чувствовать красоты его, и кто в России станет слушать, когда ему в голову придет греметь Горациевы тоны на российской лире? — В самом деле, вы имеете право так думать; но переводчик сей Оды не я; я же, будучи иностранец, приемлю осторожность не доверять нимало своему мнению о достоинстве сего перевода в отношении к русской поэзии. Всякое произведение делает честь автору само собою, если имеет право на одобрение Публики.

Переводчик сей Оды — ваш соотечественник, его превосходительство Муравьев-Апостол, бывший Российско-Императорский посланник в Мадрите, а ныне в сельской тишине живущий для наук и искусств изящных. Он преимущественно занимается творе-

ниями великого римского поэта, в коих собрано все богатство опытов, обширная философия жизни и совершенство поэзии в такой степени, какой мы не видим ни в одном новейшем, ни древнем стихотворце.

Сей перевод доказывает, как глубоко г. Муравьев-Апостол проникнул в дух и смысл сего поэта в образе перемен, коих требовал вообще вкус новейшей поэзии, и в особенности свойство языка русского. Г. Переводчик сделал мне честь, желая, чтобы я дал мой суд пред публикою о его переводе, особенно в том, удалось ли ему, несмотря на все трудности, кои должен был преодолеть, изобразить дух и смысл оригинала в мыслях и выражениях. В сем, кажется, я могу говорить, как иностранец, которому русской язык не вовсе чужд, который с юных лет почитал Горация любимым своим поэтом и большую часть жизни занимался вообще изучением древней словесности.

Если вы, милостивый государь, в этом со мною согласны и можете гораздо больше ценить русского поэта в Муравьеве-Апостоле, нежели я, то тем больше смею надеяться, что и вся образованная публика будет желать согласно с нами, чтобы г. Переводчик обогатил некогда русскую словесность подобными переводами Од Горациевых.

Еще два замечания: одно о самой переведенной Оде, другое о правописании, наблюдаемом г. Переводчиком. Славный английский критик *Гом* (Elements of Criticism. I, 37) замечает, будто в сей Оде недостает легкой, натуральной связи в мыслях; но он в сем случае судил о лирическом поэте по правилам, предписанным для логического прозаика. — Связь очень ощутительна; стоит только представить главные мысли стихотворца в следующем порядке: „Всякой стремится к счастливой, беззаботной жизни, так, как к предмету желаний; но весьма редкие находят стезю, ведущую к сей цели. Многие думают достигнуть ее посредством почестей и богатства; но меж тем как с ненасытною жадностью к ним стремятся, они расстроивают здоровье беспрерывными и неизбежными заботами. Один только тот наслаждается прямым спокойствием в жизни, кто без разбору доволен всякою участью; он не забывает, что боги отказали смертным в совершенном блаженстве и что человек, какими бы ни наслаждался благами, должен чувствовать нужду в том, что дано в удел другому". Гораций оживляет сии мысли, воспоминая о Титоне и Ахиллесе и приводя в пример Гросфа и себя самого.

В правописании г. Муравьев-Апостол с намерением употребляет *Т* вместо *Ѳ* в словах, принятых с греческого. Он пишет *Тракияне* вместо *Ѳракияне*. Сообразуясь с его желанием, прошу вас, м. г., удержать сию орфографию в переведенной им Горациевой Оде. По его мнению, буква *Ѳ* — сколь ни нужно отличать ее от *Т* и *Ф*, как знак, имеющий *особенное* произношение, — не находится ни в одном собственно русском слове; однако ж, вероятно, греки произносили *Ѳ* иным образом, нежели *Ф*; иначе на что бы употреблять два разных знака для одного и того же звука. Можно думать, что и новейшие греки по той же причине удержали *Ѳ* в тех словах, в коих древний выговор давно потерян, хотя сами они произносят ее теперь как *Ф*; но русские не имеют никакой нужды писать *Ѳеос*, *Ѳедор* вместо *Феос*, *Феодор*, ибо ни мало чрез то не ошибаются в выговоре *Ѳ*. Никто не говорит *Ѳеатр*, *Эсѳетика*, *Ѳеория*. Для чего ж совсем не исключить буквы *Ѳ* из русского правописания и не довольствоваться буквами *Ф* и *Т*, если они действительно соответствуют правильному русскому выговору? Честь имею быть и проч.

Сент. дня 1809 года. *Ив. Теоф. Буле»*.

Перевод оды XVI из второй книги «Од» Горация представляет собою попытку Муравьева-Апостола передать содержание классического римского стихотворения (с сохранением всех античных деталей и имен) в границах собственно русского стиха: четырехстопный ямб, одическая строфа, лексика и поэтические образы, принятые в одах и посланиях Г. Р. Державина («Похвала сельской жизни», «Капнисту» и др.). Эта попытка осталась в творчестве Муравьева-Апостола единственной: позднее произведения античной лирики он представлял только в виде прозаических переводов.

[1] *К Гросфу...* — Помпей Гросф, римский всадник, богатый сицилийский землевладелец.

[2] *Богатств Атталовых стяжанье...* — Аттал — имя нескольких пергамских царей (Атталиды); здесь имеется в виду Аттал II Филометор: в 133 г. до н. э. он назначил римлян наследниками своих земель, из которых была организована римская провинция Азия.

[3] *И ликторов препровожанье...* — Ликторы, должностные лица при высших магистратах: вооруженные фасциями, они шли впереди сопровождаемого ими важного чиновника.

[4] *Солонка дедовска одна...* — Серебряная родовая солонка, из которой высыпали жертву богам, была традиционной принадлежностью патриархального римского дома.

[5] *Скорее Эвра мрак несуща...* — Эвр — восточный ветер.

[6] *Титона дряхлость иссушила...* — Тифон, возлюбленный богини зари Эос (Авроры), которая выпросила ему у Зевса бессмертие, но позабыла испросить и вечную юность; в старости он настолько высох, что был превращен в кузнечика.

[7] *В червец, которым Тир гордится, / Двукратно волна погрузится...* — Имеется в виду пурпурная ткань, крашенная дважды: в Древнем Риме такие ткани ценились особенно высоко.

КРАТКОЕ РАССУЖДЕНИЕ О ГОРАЦИИ

Прочитано автором 22 апреля 1811 г. во втором заседании «Беседы любителей российского слова». Об этом чтении Батюшков спрашивал Гнедича в письме от 6 мая 1811 г.: «У вас еще было заседание в *Беседе*? Бога ради, отпиши мне об этом ⟨...⟩ Муравьев-Апостол читал „Жизнь Горация"? — Я бьюсь об заклад, что это было хорошо» (*Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 167).

Чтения в «Беседе любителей российского слова» (далее — ЧБ). 1811. Кн. 2. С. 15—25. Непосредственно после «Краткого рассуждения...» в книжке следует латинский текст «Сатиры I» Горация с параллельным прозаическим переводом Муравьева-Апостола (там же. С. 26—41) и его же обширные «Примечания на I сатиру» (там же. С. 42—96), имеющие «учебный» характер и популярно объясняющие перевод того или иного выражения. В настоящем издании они опускаются.

Публикация этого историко-литературного эссе в «Чтениях...» выделялась по своему качеству из всего состава книжки, что подметил тот же Батюшков (письмо к Гнедичу от 27 ноября—5 декабря 1811): «Зачем хочешь печатать в *Беседе*? По крайней мере, я не советую: надобно иметь характер и золота в навоз не бросать, истинно в навоз, ибо, кроме Горация Мур⟨авьева⟩ и Крылова басен, там ничего путного я не видел ⟨...⟩

Ни слогу, ни мыслей, ни стихов! Всё площадное, вялое! ⟨...⟩ Нет! Я им слуга покорный! — „Вестник Европы" худ или хорош, а всё лучше их мараний. Не печатай в *Беседе*, не стыди себя!» (*Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 195).

[1] ...*как соревнователь Пиндара...* — Пиндар (522—446 до н. э.), греческий поэт-лирик, прославившийся похвальными песнопениями (эпиникии), в изысканной торжественной величавости стиха которых мифологическая основа соединялась с афористической мудростью.

[2] ...*веселым голосом Анакреонта...* — Анакреонт из Теоса, греческий лирик, живший в середине VI в. до н. э.; в своих грациозных стихотворениях воспевал мирские наслаждения: любовь, вино, пиры.

[3] ...*сладким пением на ладу Лезвийской певицы...* — Сапфо из Лесбоса, выдающаяся поэтесса античности, жившая в VI в. до н. э.; прославилась лирическими стихотворениями и свадебными песнями (эпиталамии); создатель особой «сапфической» строфы (лада).

[4] ...*как говорит о нем Персий...* — Авл Персий Флакк (34—62), римский поэт, подражатель Горация; в своих сатирах пересказал стоическую жизненную мудрость, изложенную в соответствии с искусством популярного наставления.

[5] ...*кроме Сократа, никому не уступает пальму философии.* — Сократ (470—399 до н. э.), греческий философ, не оставивший после себя письменных трудов, но сохранивший свою оригинальную систему в воспоминаниях учеников.

[6] ...*где бы ни встречал их, в саду ли Эпикура или Академии.* — Эпикур (342—271 до н. э.), греческий философ, основатель оригинальной философской школы, противостоявшей платоновской Академии (388—270 до н. э.).

[7] ...*пристал к Бруту и Кассию...* — Марк Юний Брут (85—42 до н. э.) и Гай Кассий участвовали в заговоре против Юлия Цезаря, направленном на сохранение республиканской власти Сената; Гораций принимал участие в разразившейся гражданской войне как военный трибун.

[8] ...*по разбитии оных на полях Филиппийских...* — В западной Фракии, возле города Филиппы, в 42 г. до н. э. произошла битва, в которой Октавиан и Антоний одержали победу над республиканцами под предводительством Брута и Кассия.

[9] ...*в отправлении должности Квесторского писаря.* — Квестор — финансовый магистрат в Древнем Риме, в котором Гораций зарабатывал средства к существованию в качестве писца.

[10] ...*с Меценатом познакомился.* — Цильний Меценат (ум. в 8 до н. э.), богатый римский всадник; не занимал государственных должностей, но как приближенный императора Августа, которому в свое время оказал поддержку в борьбе за единовластие, был весьма влиятелен; покровительствовал молодым поэтам (Вергилию, Горацию, Проперцию), поддерживал их материально, стремясь использовать их творчество для поддержки политической системы Августа.

[11] ...*любимец Октавия...* — Гай Октавий (63 до н. э.—14 н. э.), внучатый племянник Юлия Цезаря, ставший впоследствии (с 27 до н. э.) императором Августом.

[12] ...*достоин был бы жить вместе с Сципионом и Камиллом.* — Публий Корнелий Сципион Африканский (235—183 до н. э.), римский полководец и консул, решивший исход 2-й Пунической войны; Марк Фурий Камилл (ум. в 364 до н. э.), полководец, восстановитель Рима после разгрома его этрусками.

[13] *...Блажен, кто в тихой, низкой доле...* — Муравьев-Апостол цитирует собственный стихотворный перевод оды XVI Горация из II книги (см. выше).

[14] *...разделяя свободные часы с Вергилием, Варрием, Горацием...* — Публий Вергилий Марон (70—19 до н. э.), крупнейший римский поэт-лирик; Руф Варий, римский поэт I в. до н. э., издатель «Энеиды» Вергилия.

[15] *В рыцарском состоянии я родился...* — Меценат происходил из рода этрусских царей.

РАССУЖДЕНИЕ О ПРИЧИНАХ, ПОБУДИВШИХ ГОРАЦИЯ НАПИСАТЬ САТИРУ 3-ю ПЕРВОЙ КНИГИ

ЧБ. 1812. Кн. 6. С. 71—88. Вслед за «Рассуждением...» напечатан (без латинского текста и лингвистических примечаний) прозаический перевод «Сатиры» III (там же. С. 89—99), в настоящем издании опущенный.

[1] *...не искали у Августа ни эдильства, ни преторства...* — Эдилы и преторы — титулы высших должностных лиц Рима.

[2] *...давая паразитам сим чувствовать свое презрение.* — Первоначально слово «парасит» (от греч. parasitos — сотрапезник) употреблялось без унизительного оттенка.

[3] *...et dulcis moriens reminiscitur Argos.* — См.: *Вергилий.* «Энеида». X. 782.

[4] *...предпочтение мое к Горацию извинительнее, чем Бребефово к Лукану...* — Марк Антей Лукан (39—65), самый значительный после Вергилия представитель эпической поэзии в римской литературе; участник заговора против императора Нерона, покончивший по его приказу самоубийством; из многочисленных поэтических произведений его сохранилась лишь поэма «Фарсалия», посвященная войне между Цезарем и Помпеем.

[5] *...подобно баснословному Протею...* — Протей, божество из греческой мифологии, мудрец и пророк, умевший принимать облик змея, воды, дерева и проч.

[6] *...или умереть Катоном, или жить Горацием.* — Марк Порций Катон Младший (95—46 до н. э.), трибун, последовательный и яростный поборник Римской республики; после поражения от Цезаря решился на добровольную смерть, бросившись на собственный меч.

[7] *...во дни Персея до Ахейского союза...* — Персей — царь Македонии в 179—168 гг. до н. э.; во время своего правления стремился противостоять римской экспансии на Восток; однако римской дипломатии удалось его изолировать, несмотря на то что он заключил союзы с другими греческими государствами.

[8] *...на полях Маратонских и при Саламине...* — На Марафонской равнине афинское войско под командованием Мильтиада в 490 г. до н. э. разгромило персидскую армию; в 480 г. до н. э. в проливе возле острова Саламин произошла знаменитая морская битва, завершившаяся победой греческого флота над персидским.

[9] *Вотще угрюмый ценсор Катон...* — Марк Порций Цензорий Катон (234—149 до н. э.), консервативный римский политический деятель, стремившийся к стабилизации власти Рима и призывавший к разрушению Карфагена.

[10] *...посольство Карнеадово...* — Карнеад из Кириены (214—129 до н. э.), греческий философ, представитель академического скептицизма; в 155 г. до н. э. принимал

участие в посольстве трех афинских философов в Рим, где пленил слушателей своим красноречием.

[11] *...Зенонова школа...* — Зенон из Катиона (ок. 335—ок. 262 до н. э.), греческий философ, основатель стоической школы.

[12] *...честь века своего — Канта.* — Иммануил Кант (1724—1804), представитель немецкой классической философии, в своем учении о дуализме мира явлений и мира идей представил вариант платоновского учения о двух мирах.

[13] *...возобновитель Антисфенова космополитизма...* — Антисфен (ок. 444—366 до н. э.), греческий философ, основатель школы киников.

[14] *...восстановитель Аристиппова эгоизма...* — Аристипп Старший из Кирены (ок. 435—355 до н. э.), греческий философ, основатель школы киренаиков.

[15] *...доколе Антиох и Митридат угрожали безопасности империй...* — Антиох — имя сирийских царей, боровшихся с Грецией и Римом; Митридат — имя царей династии, правившей в Северном Причерноморье (Понт).

[16] *...распрей между Антонием и младым Октавианом.* — Марк Антоний (82—30 до н. э.), римский политический деятель и полководец; после убийства Цезаря он попытался стать его преемником, но поссорившись с Октавианом (впоследствии — Августом), вступил с последним в войну, в ходе которой потерпел поражение.

[17] *...есть в Афинах какие-то Врата...* — Имеются в виду Пропилеи Афинского акрополя, построенные в 437—431 гг. до н. э. архитектором Мнесиклом; они состояли из 5 ворот, имеющих с обеих сторон шестиколонные залы и боковые сооружения, среди них — пинакотека, собрание картин.

[18] *...ужасный век Калигулы, Нерона и Домициана.* — Калигула (Гай Цезарь Германик, 12—41), Клавдий Друз Германик Цезарь Нерон (37—68), Тит Флавий Домициан (51—96) — римские императоры I в. н. э., правление которых отличалось деспотическим произволом, разбазариванием государственных средств, притеснениями населения и т. д.

[19] *...muhi res, non me rebus subjungere...*См.: *Гораций.* «Послания». I. 1, 19.

[20] *...о последователях Хрисиппа...* — Хрисипп (ок. 280—ок. 204), греческий философ, стоик; путем систематизации и совершенствования учения своих предшественников (Зенона, Клеанфа) придал стоической философии ее общераспространенный образ.

[21] *...несколько слов о музыканте Тигеллии...* — Хлебосол Тигеллий из Сардинии был модным певцом; ему покровительствовали Юлий Цезарь и Клеопатра, а потом и Октавиан. Как свидетельствуют письма Цицерона, влияния этого певца боялся даже проконсул (см.: Письма Марка Туллия Цицерона. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 199, 212 и др.).

[22] *...Sardi venales, alius alio nequor...* — Пословица встречается в письмах Цицерона («Письма к близким». VII. 24, 2).

ПИСЬМО К ПРИЯТЕЛЮ

Впервые: «Русский архив» (далее — РА). 1887. Кн. 1. С. 39—46. Опубликовано П. И. Бартеневым по автографу из бумаг М. И. Муравьева-Апостола, предоставленному А. П. Сазонович. Датируется концом 1816-го—началом 1817 г. — временем, когда

решались дела по наследству подполковника Михаила Даниловича Апостола, умершего 20 августа 1816 г., а за 15 лет перед тем завещавшего все свое имение И. М. Муравьеву (см. статью — с. 193). Обстоятельства возникшей тяжбы Муравьев-Апостол изложил в письме к Д. М. Полторацкому от 6 сентября 1816 г.: «Апостол умер; и злодеи, окружавшие его, водили полумертвую руку его *за 3 часа до смерти* по выдуманной ими духовной, в которой от имени меня отдает все имение свое племяннице своей Синельниковой. В преступление мне вменяется: что бы Вы думали? — Продажа 500 душ брату Вашему. Я обо всем обстоятельно пишу к Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому. А как я знаю, что Вы с ним довольно коротки, то прошу Вас, любезный Дмитрий Маркович, напомнить ему обо мне. Он был виновник и орудие моего усыновления в род Апостола; никто лучше его не знает справедливости моего дела: и так, я ему и поручаю судьбу мою и детей моих. То, что государь утвердил, государь один может и отменить: неужели после этого я сделаюсь жертвою подлой алчности мерзавцев?» (Российская национальная библиотека. Ф. 603 Полторацкого. Ед. хр. 308).

Публикуемое письмо, помимо «частного» интереса, должно было иметь в глазах Муравьева-Апостола еще и «общий» интерес, поэтому адресат его (возможно, тот же Д. П. Трощинский, сенатор и член Государственного Совета, бывший в 1814—1817 гг. министром юстиции) на сохранившейся копии письма не обозначен. Оно написано, вероятно, вскоре после появления положения Комитета министров, заседавшего специально по этому делу 22 февраля 1817 г. и решившего тяжбу в пользу Муравьева-Апостола (см.: Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. XXXIV. С. 80—82) «в назидание» другим людям, могущим попасть в подобную ситуацию.

Ситуация эта, кстати, вызвала оживленное обсуждение в кругу посвященных в нее людей. Так, К. Н. Батюшков, живший в 1816 г. в московском доме Ивана Матвеевича, писал сестре Александре (17 сентября): «Здесь мелькнул Иван Матвеевич Апостол, урожденный Муравьев. Ты слышала о деле его. Кажется, он прав. Что у вас говорят законники? Желаю душевно ему успеху» (Соч. Т. 2. С. 404). О том же — в письме Батюшкова к Е. Ф. Муравьевой от конца сентября 1816 г.: «Иван Матвеевич приезжал сюда на несколько часов. Вы, конечно, знаете его дело. Он писал здесь письма и немедленно возвратился. Желаю душевно успеха в его предприятии» (там же. С. 407).

[1] *...от яйца, из которого вылупилась Елена, толиких бед виновница!* — Елена Прекрасная, в греческих сказаниях и в «Илиаде» Гомера прекраснейшая из женщин, дочь Зевса и Леды, вылупившаяся из яйца; она была обручена с Менелаем; но в споре трех богинь за яблоко Эриды была обещана Афродитой Парису и увезена им в Трою; верные клятве, все греческие цари и герои участвовали в Троянской войне, чтобы вернуть Елену. Муравьев-Апостол иронически соотносит эту мифологическую «историю» с крылатым латинским изречением: ab ovo usque ad mala («от яиц до яблок»), на самом деле связанным не с Еленой, а с порядком обеда у древних римлян (см.: *Гораций.* «Сатиры». Кн. 1. Сат. 3, 6—7).

[2] *...мне посчастливилось представить дело его в настоящем виде некоторым особам, тогда делами рода сего управлявшим.* — В 1801 г. главным действующим лицом в управлении делами был Н. П. Панин, покровитель Муравьева; Д. П. Трощинский тогда был министром уделов.

[3] *...вдобавок к тому быть заключенным в монастыре...* — М. Д. Апостол, прожив 13 лет в браке с Елизаветой Николаевной (урожденной Чорба), прогнал ее, а вслед за тем увел жену от своего соседа, коллежского асессора Лизогуба. Павел I обязал его выдавать изгнанной жене по 2500 руб. ежегодно, а по жалобе Лизогуба Апостола заключали на три года в Лубенский монастырь на покаяние. Иван Матвеевич, благодаря своим связям, сумел избавить его от этого.

[4] *...он имеет родственников, которые хотя по крови к нему и не ближе меня...* — У М. Д. Апостола была сестра, некая Селецкая; ее дочь, М. А. Синельникова, затеяла тяжбу с Муравьевым-Апостолом о наследстве.

[5] *...будучи лишен, от самого рождения моего, удела, принадлежащего матери моей...* — Елена Петровна Апостол (1731—1768) вышла замуж за М. А. Муравьева, вопреки желанию отца, и была лишена приданого; умерла сразу же после рождения Ивана Матвеевича.

[6] *...то есть по конституции, которая в силе в Малороссии...* — Имеется в виду так называемый Литовский статут, кодекс законов, составленный в XVI в. и послуживший источником особых законов, принятых в России на территории Полтавской и Черниговской губерний.

[7] *...графы Строгановы, отец и сын...* — Александр Сергеевич Строганов (1733—1811), президент Академии Художеств, директор Публичной библиотеки; Павел Александрович Строганов (1774—1817), член дружественного триумвирата или Негласного комитета при Александре I.

[8] *Чем кончится осада, не знаю...* — Тяжба о наследстве Апостола продолжалась и после решения Комитета министров. В конце концов Муравьев-Апостол должен был, по соглашению, состоявшемуся 15 января 1821 г., благодаря посредничеству генерал-губернатора Малороссии князя Н. Г. Репнина-Волконского, уступить часть обширного гетманского имения Синельниковой, а вдове М. Д. Апостола, прогнанной некогда мужем, уплатить 160 тысяч руб.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «С⟨ЫНА⟩ О⟨ТЕЧЕСТВА⟩»

СО. 1817. Ч. 38. № 22. С. 113—115 (раздел «Смесь»).

Представляет собою иронический выпад против А. Ф. Воейкова, известного переводчика с латыни, использовавшего в качестве «посредников» французские тексты («толкователь Вергилия по Делилю»). Неожиданная литературная «маска» преподавателя Череповецкого благородного пансиона (такового в маленьком уездном городке Череповце не могло быть) связана с тем, что неподалеку от Череповца располагалось имение К. Н. Батюшкова Хантоново, в котором он жил с января по август 1817 г., составляя «Опыты в стихах и прозе» (Ч. 1—2. СПб., 1817). Непосредственно перед этим Батюшков весь 1816 г. прожил в Москве в доме И. М. Муравьева-Апостола и в непосредственном общении с ним. Прочитав эту заметку, Батюшков в письме к Гнедичу от начала июля 1817 г. спрашивал: «Кто писал статьи из Череповца на Воейкова? Верно, Иван Матвеевич? Ему теперь сполагоря шутить и на меня грехи свои сваливать» (*Батюшков К. Н.* Соч. Т. 2. С. 449).

Сам Воейков тоже не замедлил с ответом, и в этом ответе (ВЕ. 1817. Ч. 96. № 22. С. 155—157) напал не только на Муравьева-Апостола, но и на Батюшкова. Муравьеву-

Апостолу посвящена следующая рацея: «Ныне в проезд мой через Новгород узнав, что помещик Череповской округи, ученый г. Вакх Страбоновский скончался 19 октября от несварения латинских вокабул и вновь открывшейся в голове его старой водяной болезни, в припадках которой еще в 1809 году разводил он водою стихи Горация, спешу уведомить почтенных читателей „Вестника Европы", что обе важные погрешности, замеченные покойным любителем древности, ничто иное как *типографские погрешности*».

Вместе с тем, на всякий случай, здесь же содержатся намеки на Батюшкова, «помещика Череповской округи». На субтильную фигуру Батюшков указывает, например, следующий пассаж: «...в голове людей *известного сложения* может расти плесень и тина...»; намеком на недостаточно «классическое» образование его является риторический вопрос: «Уж не *притворялся ли* наш любитель древней литературы в знании языка латинского?»; а в финале Воейков допускал прямой и неприличный намек, касавшийся только что вышедшего сборника Батюшкова: «Г. Вакха Страбоновского нет на свете: вечная ему память! Слова и вопли мои умирают в воздухе, а творения его в книжных лавках: вечная им память!».

1 *...что Эней создал Лациум.* — Приведенный в примечании стих из перевода Воейкова находится в самом начале его перевода первой песни «Энеиды»:

Битвы и мужа пою, который от берега Трои
Роком повсюду гóнимый, пристал в Италии первый
К брегу Латинскому; долго бросаем по суше и морю
Силой богов, на него ополченных; местью Юноны;
Много в войне пострадал он, *прежде чем Лациум создал*,
Прежде чем внес он Пенатов в сей град, отколе Латины...

(ВЕ. 1817. Ч. 92. № 7. С. 161).

Лациум (Лаций), древняя область в Средней Италии, сравнительно поздно заселенная латинянами, но при завоевании Италии Римом ставшая главенствующей.

2 *...сам толкователь Вергилия по Делилю.* — Жак Делиль (1738—1813), французский поэт и профессор латинской словесности; получил известность своим комментированным переводом «Георгик» Вергилия (1769), за который сразу же был избран во Французскую академию.

3 *Некто есть Полиандров.* — Фамилия мифического преподавателя ботаники произведена от греческого «полиандрия» — многомужество (форма брака, при которой женщина имела несколько мужей).

4 *...в переводе первой Вергилиевой «Георгики».* — Воейков А. Ф. Отрывок из Вергилиевых Георгик («Пою земледельцев работы, благоприятные нивам...») // ВЕ. 1815. Ч. 82. № 16. С. 241—250.

5 *...более с Линнеем, нежели с Вергилием знакомый...* — Карл Линней (1707—1778), знаменитый шведский естествоиспытатель, создатель системы описания и классификации растений.

6 *...«Nonne vides, croceos ut Tmolus odores».*

⟨«Разве не видишь, как Тмол расточает ароматы шафрана»⟩ — Тмол — гора в Лидии.

7 *Вакх Страбоновский.* — Условный псевдоним «преподавателя» образован от прозвища бога вина Диониса с присоединением фамилии, происходящей от имени греческого географа и историка Страбона (ок. 64 до н. э.—ок. 20 н. э.).

⟨РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:⟩ *ПОЭЗИЯ ЭЛЛИНСКОГО ЯЗЫКА, ИЛИ ГРЕЧЕСКАЯ ПРОСОДИЯ* ⟨...⟩

СО. 1817. Ч. 40. № 38. С. 230—234 (раздел «Современная русская библиография»).

1 *...Герман со всею ученостью...* — Готфрид Герман (1772—1848), профессор в Лейпциге, крупнейший представитель эстетико-формального понимания филологии; занимался систематизацией античной грамматики и метрики.

2 *...в прозодиях Веллера, Крузия Лясического и других.* — Речь идет о немецких филологах-классиках XVIII в. Курте Веллере и Оттоне Крузиусе.

3 *...если верить одному из моих соседей, человеку весьма ученому, то греки за искусство слагать стихи обязаны едва ли не нашим предкам.* — Имеется в виду В. В. Капнист, сосед Муравьева-Апостола по имению; в 1814 г. Капнист выступил в заседании «Беседы...» со статьей «Краткое изыскание о гипербореанах. О коренном российском стихосложении» (опубл.: Чтения в «Беседе...». 1815. № 18; см. также: *Капнист В. В.* Собр. соч. В 2 т. М.; Л., 1960. Т. 2. С. 165—185). В этой статье ставился вопрос о происхождении славян и о древнейших истоках русского языка и русской поэзии. И народ, и язык, и поэзию славян Капнист возводил к культуре упоминаемых в античных памятниках «гиперборейцев». Сколько можно судить из данного упоминания Муравьева-Апостола, он считал эту гипотезу несостоятельной. Ср. в черновике Капниста: «Толь важное открытие сообщил я некоторым просвещенным приятелям моим, и они сочли оное бредом!» (Там же. С. 563).

4 *...гремели Златоусты и великие учители Церкви христианской.* — Иоанн Златоуст (ок. 344—407), величайший из отцов Восточной церкви, один из трех ее «вселенских учителей»; прославился неудержимым темпераментом и блестящим даром витийства; оставил после себя множество трактатов, писем, проповедей и бесед.

ВЗГЛЯД НА ЗАГОВОР КАТИЛИНЫ

СО. 1818. Ч. 46. № 21. С. 41—59; № 22. С. 81—100; № 23. С. 121—135. Раздел «Древняя история».

Судя по примечанию издателя (Н. И. Греча), эта статья являлась предварительной журнальной публикацией из предполагавшейся, но не вышедшей в свет книги писем Цицерона, подготовленной Муравьевым-Апостолом. Издатель указал, что публикуемое рассуждение является авторским комментарием, написанным «для заполнения двухлетнего промежутка между 11 и 12 письмами Цицерона», т. е. между его письмом к Титу Помпонию Аттику от июля 65 г. до н. э. и письмом к Квинту Цецилию Метеллу Целеру от конца января—начала февраля 62 г. н. э. Между этими датами находится самый активный период политической деятельности знаменитого римского оратора — период его консульства (63 до н. э.), во время которого Цицерон добился крупнейшего триумфа благодаря подавлению заговора Луция Сергия Катилины (108—62 до н. э.), римского патриция, ставившего целью свержение правящей олигархии и овладение единоличной властью.

Основными историческими источниками Муравьева-Апостола являются, помимо писем Цицерона, знаменитый труд Саллюстия «Заговор Катилины» («Coniuratio Catilinae») и «Сравнительные жизнеописания» («Bioi parallеloi») Плутарха. Историософские выводы, которые предлагает автор, оригинальны и принадлежат самому Муравьеву-Апостолу.

[1] *В промежутке двух последних Пунических войн...* — Пунические войны — войны Рима против Карфагена; их считается три. После первой (264—241 до н. э.) Карфаген потерял все свои владения в Сицилии и Сардинии и должен был заплатить крупную контрибуцию. В ходе 2-й Пунической войны (218—201 до н. э.) Ганнибал едва не завоевал Италию, но после потери Капуи, Сиракуз, Тарента и Испании вынужден был вернуться в Африку. В 3-й Пунической войне (149—146 до н. э.) Карфаген был разрушен, а его жители стали рабами Рима.

[2] *Братья Гракхи, Тиберий и Кайй...* — Братья Тиберий Семпроний Гракх (162—133 до н. э.) и Гай Семпроний Гракх (153—121 до н. э.), народные трибуны в условиях нестабильного положения в стране, встали на защиту малоимущего крестьянства и пытались провести в жизнь ряд законов, облегчавших положение простого народа; деятельность Гракхов была крупнейшим демократическим движением в римской истории и положила начало веку социально-политической борьбы за перемены в общественной структуре.

[3] *...Югурта, пример вероломства, чудовище...* — Югурта (ок. 160—104 до н. э.), царь Нумидии, прославившийся множеством зверств: убийством родственников, претендовавших на престол, подкупом полководцев, войной; был казнен в Риме. Автор приводит цитату из книги Саллюстия «Война с Югуртой».

[4] *Марий и Силла, честолюбием, враждою, мщением довели республику до краха гибели...* — Гай Марий (156—87 до н. э.), римский полководец и политический деятель. Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.), римский полководец и политический деятель. В гражданской войне между оптиматами и популярами возглавили воюющие стороны; сама эта война положила начало кризису республиканского строя и открыла путь к установлению единоличной власти. В 83 г. до н. э. Сулла, победивший в этой войне, объявил себя диктатором, но через несколько лет признал, что не достиг своих целей, сложил полномочия и вернулся к частной жизни.

[5] *Период сей в Риме являет позорище, подобное тому, которое недавно представлялось в Париже при Робеспьере.* — Имеется в виду якобинская диктатура 1793 г.

[6] *...нашел себе доносчика, Клодия Пульхера...* — Катилина был обвинен Публием Клодием в хищениях во время проконсульства в Африке; Цицерон, как свидетельствует его письмо к Помпонию Аттику от июля 65 г. до н. э., собирался защищать его в суде.

[7] *...приобщил Пизона и Автрония...* — Гай Кальпурний Писон и Публий Автроний Пет, богатые римские патриции.

[8] *...умертвить обоих консулов (Манлия Торквата и Аврелия Котту)...* — Луций Манлий Торкват (ок. 108—ок. 54 до н. э.) и Луций Аврелий Котта, консулы в 65 г. до н. э., противники Катилины.

[9] *...находились Марк Красс и Юлий Цезарь.* — Марк Лициний Красс Дивес (ок. 115—53 до н. э.), римский полководец, дважды консул; Гай Юлий Цезарь (100—44 до н. э.), римский диктатор, полководец и завоеватель.

[10] *...Цицерон вместе с Антонием Ибридою...* — Гай Антоний Гибрида, сенатор, коллега Цицерона по консульству.

[11] *...чего, может быть, не помыслил бы и сам Аннибал, если бы после Каннской битвы овладел Римом...* — Ганнибал (246—183 до н. э.), главнокомандующий войсками Карфагена; во время 2-й Пунической войны нанес ряд поражений римской армии; после победы при Каннах (216 до н. э.) вторгся в Италию.

[12] *...в числе злоумышленников находился Курий.* — Квинт Курий, сторонник Катилины, выдавший планы заговорщиков.

[13] *...Сатрия в Пицен, Юлия в Апулию, главного, Маллия, в Этрурию...* — Гай Манлий, сторонник Катилины, организатор вооруженного выступления в Этрурии.

[14] *Один Катон, опираясь на общую молву...* — Марк Порций Катон (Младший) (95—46 до н. э.), народный трибун, оратор, один из идейных вождей сенатской аристократии.

[15] *Марцелл и Метелль Сципион...* — Марк Клавдий Марцелл (?—45 до н. э.), сенатор, сторонник аристократической партии; Квинт Цецилий Метелл (?—54 до н. э.), полководец, представитель сенатской олигархии.

[16] *...К. Марций, бывший претор...* — Квинт Марций Рекс (?—ок. 63 до н. э.), военачальник, консул, противник Катилины.

[17] *...отказ от Метелла Целера...* — Гай Цецилий Метелл Целер (?—ок. 59 до н. э.), претор, консул, сторонник аристократической партии в Сенате.

[18] *...Лентул, от природы ленивый...* — Публий Корнелий Лентул Сура (?—63 до н. э.), консул, участник заговора Катилины, казненный по приговору Сената.

[19] *...Сенат собрался в храме Юпитера Статора...* — Храм Юпитера, верховного божества римлян, стоял на Капитолии; в нем совершались важнейшие акты государственной жизни: жертвоприношения, отправление полководцев на войну, присяга новых консулов, первое заседание Сената и т. д.

[20] *Quousque tandem etc...* — Речь Цицерона против Катилины, начинающаяся этим восклицанием, стала образцом ораторского красноречия; изучение ее практиковалось в гимназиях на уроках латинского языка.

[21] *...Катулл получил от него письмо...* — Квинт Лутаций Катулл (ок. 121—61 до н. э.), сенатор, понтифик, один из вождей аристократической партии в Сенате.

[22] *...послы аллоброгов.* — Аллоброги, кельтский народ, завоеванный римлянами; их территория (между Изерой и Роной) была включена в провинцию Нарбоннская Галлия.

[23] *...движения мятежников в обеих Галлиях, в Пицене, в Бруттии и Апулии.* — Галлия — земля галлов, расположенная на территории современной Франции, Швейцарии и Бельгии; в I в. до н. э. выделялись две Галлии: Ближняя (или Нарбоннская) Галлия и Дальняя (или Косматая) Галлия. Пицен — область, населенная италийским племенем пиценов, расположенная на восточном побережье Италии, на склоне Апеннин. Бруттия — ныне Калабрия на юго-западе Апеннинского полуострова; в середине I в. до н. э. населялась умбрийско-сабинским племенем бруттиев. Апулия — область на юго-востоке Италии, населенная иллирийскими племенами.

[24] *...Мурена, легат в ближней Галлии.* — Луций Лициний Мурена (ок. 105—? до н. э.), консул, сторонник Цицерона.

[25] *...во время Сатурновых праздников...* — Сатурналии, римские празднества, призванные напомнить о золотом веке, когда правил Сатурн; во время сатурналий как

бы снималась разница между рабом и господином, а по своей атмосфере они напоминали карнавалы.

[26] *...не щадя никого, кроме детей Помпеевых...* — Гней Помпей Великий (106—48 до н. э.), римский полководец, вождь оптиматов.

[27] *...кроме одного Кассия...* — Гай Кассий Лонгин (?—42 до н. э.), народный трибун, впоследствии один из организаторов заговора против Юлия Цезаря.

[28] *Силан, как назначенный консул...* — Децим Юний Силан (ок. 107—ок. 60 до н. э.), консул, понтифик.

[29] *...Манлий Торкват не поколебался осудить на смерть родного сына своего...* — Луций Манлий Торкват (ок. 108—ок. 54 до н. э.), консул, друг Аттика, противник Катилины.

[30] *...Тасс имел в виду Саллюстиевы слова о Катилине...* — Финальные фразы трактата Саллюстия «О заговоре Катилины» (гл. 61).

[31] *Трибун народный Непос, брат Метелла Целера...* — Квинт Цецилий Метелл Непот (?—ок. 55 до н. э.), народный трибун, консул, позднее — сторонник и легат Помпея.

ПИСЬМО ОТ ЦИЦЕРОНА К ПОМПОНИЮ АТТИКУ...

СО. 1819. Ч. 52. № 8. С. 69—78 (Раздел «Древняя словесность»).

Издание писем Цицерона в переводах Муравьева-Апостола и с его примечаниями, о котором сообщается в примечании, так и не появилось.

Опубликованное в «Сыне Отечества» письмо к Титу Помпонию Аттику в Афины от 1 января 61 г. до н. э. — 17-е по современной кодификации писем Цицерона; современный перевод см.: Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 48—49.

[1] *От Троянки толку не добиться...* — Муравьев-Апостол полагает, что «Троянкой» Цезарь называл Гая Антония, своего наместника в Македонии, его легата. Однако намек Цицерона допускает и другие толкования: возможно, имеется в виду какая-либо из родственниц, бывшая посредницей в переговорах между Цицероном и Антонием. Последнему грозило отозвание из Македонии в суд по обвинению в вымогательстве; он просил Цицерона добиваться продления срока его наместничества или защищать его в суде.

[2] *...к Консидию, Акцию или Селицию...* — Имеются в виду ростовщики.

[3] *...о Сецилии же нечего и помышлять: он с отца родного сдерет по двенадцати процентов.* — Имеется в виду предельно допустимая по римским законам плата за ссуду (в подлиннике — одна сотая доля в месяц); переводчик в данном случае русифицировал и осовременил высказывание.

[4] *...Валерий-переводчик...* — Обязанностью переводчика было переводить заявления иностранных послов.

[5] *...и то же самое пишет Хилий...* — Фиилл, поэт и друг Цицерона, упоминаемый в его переписке.

[6] *...ссылается на Кв. Планция...* — Гней Планций, римский всадник, в то время военный трибун в провинции Македония, друг и подзащитный Цицерона.

[7] *Развод его с Муцием...* — Муция, дочь Муция Сцеволы Понтифика (ок. 140—82 до н. э.), выдающегося юриста и оратора, жена Гнея Помпея Великого (106—48 до н. э.), римского полководца и политического деятеля. Поведение Муции во время отсутствия Помпея не было безупречным.

[8] *Foecunda culpae saecula nuptas...* См.: *Гораций.* «Оды». III. 6, 17—20.

[9] *Добрая богиня, сия Bona Dea...* — Бона деа, италийское божество плодородия, покровительница женщин, богиня врачевания, сестра или жена Фавна (бог плодородия и покровитель скотоводства, соответствовавший греческому Пану). Ежегодно в начале декабря в честь Боны деа устраивалось в доме консула (претора) ночное торжество, в котором участвовали только женщины.

МНЕНИЯ ЧЛЕНА ГЛАВНОГО УЧИЛИЩ ПРАВЛЕНИЯ СЕНАТОРА МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА

9 августа 1824 г. сенатор И. М. Муравьев-Апостол был, по ходатайству А. С. Шишкова, назначен членом Главного правления училищ при Министерстве народного просвещения. На этой должности он проявил себя как независимый и умный полемист, боровшийся против рутины и косности. Его служебные записки («мнения») в некоторой степени отражают эту деятельность законотворца. Эти, не предназначавшиеся к печати, «мнения» активно расходились в списках и получили широкий общественный резонанс. Три сохранившихся «мнения» были впоследствии опубликованы: Чтения в Московском Обществе истории и древностей российских. 1859. Т. 4. Смесь. С. 37—42 (публ. А. Н. Попова); *Сухомлинов М. И.* Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 1. С. 484—487; Литература и история (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей XVIII—XX вв.). СПб., 1992. С. 287—293 (публ. В. А. Кошелева).

По делу д⟨ействительного⟩ с⟨татского⟩ с⟨оветника⟩ Попова о цензуре. Выступление в заседании Сената в защиту директора Департамента народного просвещения Василия Михайловича Попова (1771—1842). В 1824 г. Попов решил самолично исправить погрешности в переводе книги католического патера Иоганна Госнера «Дух жизни и учение Иисуса Христа». Книга вызвала обвинение в «ереси»; переводчики, издатели и цензоры были отрешены от должности и преданы суду (см. статью).

О запрещении профессорам выписывать иностранные книги. Это и следующее «мнение» связаны с рядом многочисленных дел, возникших как отголосок известного «университетского разгрома» 1821 г., когда обскурантским нападкам подверглись многие передовые профессора университетов. См.: *Сухомлинов М. И.* Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I // Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889. Т. 1. С. 239—397.

[1] *...астроном Струве потребует Лаланда.* — Струве Василий Яковлевич (Фридрих Георг Вильгельм, 1793—1864), русский астроном; с 1818 г. директор обсерватории в Дерптском университете; с 1839 г. директор им же устроенной Пулковской обсер-

ватории. Жозеф-Жером-Франсуа де Лаланд (1732—1807), французский астроном, автор многих капитальных трудов.

2 *...много похожего на систему Эпикура или отголоски его — Лукреция.* — Эпикур (342—271 до н. э.), греческий философ, продолжатель учения об атомах Левкиппа и Демокрита, создавший цельную систему атомистической философии. Тит Лукреций Кар (ок. 96—55 до н. э.), римский философ-материалист, последователь учения Эпикура, наиболее выдающийся представитель теории атомистики в Древнем Риме; автор поэмы «О природе вещей» («De rerum natura»), написанной в традициях дидактического эпоса.

О преподавании философии. «Мнение» сохранилось в копии из Остафьевского архива Вяземских: Российский гос. архив литературы и искусства. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 5455.

3 *Tantum religio potiut...* — Цитата из поэмы Лукреция «О природе вещей». В копии, по которой печатается текст «мнения», латинские цитаты отсутствуют (для них оставлено соответствующее место). Подобраны нами по аналогии с «Письмами из Москвы в Нижний Новгород»: употребление крылатых латинских изречений было излюбленным риторическим приемом Муравьева-Апостола.

4 *...канун Варфоломеева дня, или позор человечества...* — Имеется в виду Варфоломеевская ночь (парижская кровавая свадьба): ночь на 24 августа (день Св. Варфоломея) 1572 г., когда в Париже было истреблено более двух тысяч гугенотов, собравшихся на свадьбу Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа.

5 *...гонителей, каковы были Филипп II Испанский и достойная супруга его Мария Великобританская...* — Филипп Второй Испанский (1527—1598), король, проводивший политику абсолютизма и восстановления всемирного владычества католической церкви; усилил гнет в Нидерландах, активно поддерживал инквизицию; был женат на Марии Португальской, сын которой Дон Карлос умер в тюрьме; затем на Марии Английской. Оценочные характеристики Муравьева-Апостола прямо совпадают с оценками из драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос».

6 *Бредни Руссо и подобных ему Софистов...* — Ср. оценку философии Ж.-Ж. Руссо, представленную в очерке К. Н. Батюшкова «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815) (*Батюшков К. Н.* Соч. Т. 1. С. 159—160).

7 *...равняться может с Сганарелевыми доказательствами в Мольере.* — Сганарель, комедийный персонаж, слуга Дон Жуана в комедии Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость».

8 *...с определением Мограса о Кантовой философии...* — Имеется в виду «Cours de philosophie redige par Maugras», рекомендованный в качестве основного источника для изучения нравоучительной философии в Санкт-Петербургском учебном округе.

9 *...а всё лучше Кондильякова Человека...* — Книга Э. Б. Кондильяка «Трактат об ощущениях», в которой все знания и духовные способности человека выводятся из его ощущений.

10 *...я разумею Вольфовой философии, или, лучше сказать, эннтомотора его Баумейстера.* — Христиан Вольф (1679—1754), немецкий философ-рационалист, идеолог раннего Просвещения. «Баумейстер» — здесь Александр Готлиб Баумгартен (1714—1762), немецкий философ школы Вольфа. Муравьев-Апостол именует его «энн-

томотором» Вольфа — от понятия «энтелнехия»: нахождение в состоянии полной завершенности.

11 *...к обвинениям, здесь произнесенным против г. Давыдова...* — Иван Иванович Давыдов (1794—1863) был с 1822 г. профессором Московского университета; недовольство Главного правления училищ вызвала его ранняя статья «Афоризмы из нравственного любомудрия» («Вестник Европы». 1822. № 11—12), в которой весьма неудачно использовалась терминология немецкой идеалистической философии.

12 *...отдавая всю справедливость искренности побуждений г. Казанского попечителя...* — Михаил Леонтьевич Магницкий (1778—1835), занимавший в 1819—1826 гг. пост попечителя Казанского учебного округа, прославился серией гонений на университет и обскурантских преобразований.

13 *...не могу согласиться видеть в г. Куницыне «орудие врага Божия...»* — Имеется в виду книга Александра Петровича Куницына (1783—1841) «Право естественное» (1818), неоднократно подвергавшаяся гонениям и запретам.

14 *Auream quisquis mediocritatem...* — См.: *Гораций.* «Оды». Кн. 2. Ода 10.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

---

* В указатель не включены имена, упоминаемые только в разделе «Приложения».

СОДЕРЖАНИЕ

ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ В НИЖНИЙ НОВГОРОД

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

И. М. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ

«ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ В НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства *А. Ф. Варустина*
Художник *Л. А. Яценко*
Технический редактор *Е. И. Егорова, Е. Г. Коленова*
Корректоры *О. М. Бобылева, Н. И. Журавлева* и *М. П. Корнакова*
Компьютерная верстка *О. В. Никитиной*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Сдано в набор 23.01.02.
Подписано к печати 27.05.02. Формат 70 × 90 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 19.9. Уч.-изд. л. 17.3. Тираж 3000 экз. Тип. зак. № 3250. С 96

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1
main@nauka.nw.ru

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9-я лин., 12

ISBN 5-02-028512-9



